

---

## В НОМЕРЕ

### *Проза*

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| <b>Елена КРЮКОВА</b><br>ВЕРА И РАССТРИГА . . . . .      | 4  |
| <b>Олег РЯБОВ</b><br>ЧУДО С «ИСТОРИЕЙ» ПЛИНИЯ . . . . . | 21 |
| АРИФМЕТИКА . . . . .                                    | 26 |
| <b>Олег ПОГАСИЙ</b><br>ТРЕК . . . . .                   | 31 |
| <b>Рустам МАВЛИХАНОВ</b><br>ДЕНЬ ВЫБОРА . . . . .       | 42 |

### *Поэзия*

|                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Геннадий ИВАНОВ</b><br>...И ПАХАРЬ ЗДЕСЬ СИНОНИМ ЧЕЛОВЕКА . . . . .                   | 47 |
| <b>Галина БУЛАТОВА</b><br>Я ОТЫСКАЛА ПЕРВОСЛОВО<br>У СТЕН МАКАРЬЕВСКОГО ХРАМА... . . . . | 52 |
| <b>Никита БРАГИН</b><br>ОБМОЛВКИ ЛЮБВИ . . . . .                                         | 57 |
| <b>Павел КЛИМЕШОВ</b><br>...И ДАЛЬ ВРЕМЁН, КОТОРОЙ НЕТ КОНЦА . . . . .                   | 62 |

### *Проза*

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| <b>Владимир ЛЕБЕДЕВ</b><br>БОГ В ПОМОЩЬ! . . . . .   | 67 |
| <b>Надежда ГУСЕВА</b><br>АМАРИ . . . . .             | 69 |
| <b>Олег МАКОША</b><br>СЛЕДУЮЩЕЕ КИНО . . . . .       | 84 |
| МАМЕНЬКИН СЫНОК . . . . .                            | 87 |
| ЛЮБОВЬ . . . . .                                     | 89 |
| ЮЗА . . . . .                                        | 92 |
| СОБАКА С ГЛАЗАМИ МИШЕЛЯ УЭЛЬБЕКА . . . . .           | 94 |
| <b>Дмитрий БИРМАН</b><br>КОРОНАВИРУС ЛЮБВИ . . . . . | 97 |

### *Поэзия*

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| <b>Юрий КУБЛАНОВСКИЙ</b><br>ХВАЛЫНСКИЕ ЯБЛОКИ . . . . . | 101 |
| <b>Владимир БОЛОХОВ</b><br>ВОЖАТАЯ ПОЭМА . . . . .      | 106 |

|                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Анатолий АВРУТИН</b><br>КОСНИСЬ МЕНЯ ПЕРСТОМ.... . . . .  | 114 |
| <b>Юлия ЕЛГИНА</b><br>ШЛА СУДЬБА ПОХОДКОЙ БЫСТРОЙ... . . . . | 118 |

### *Из будущих книг*

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| <b>Владимир АЛЕЙНИКОВ</b><br>ЗОВ И ЗНАК . . . . . | 123 |
|---------------------------------------------------|-----|

### *Навстречу 800-летию Нижнего Новгорода: эпохи, судьбы, факты*

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Николай БЕНЕДИКТОВ</b><br>«ОЧИЩАТЬ ВНУТРЕННЕГО ЧЕЛОВЕКА»<br>Русский старец Арсений Афонский (1775–1846) . . . . .                                                                                                                                                        | 172 |
| <b>Протоиерей Владимир ГОФМАН</b><br>КУПОЛА, СМОТРЯЩИЕ В НЕБО ( <i>продлжение</i> ) . . . . .                                                                                                                                                                               | 185 |
| <b>Андрей РУДАЛЁВ</b><br>ПРОРОК ВЕЛИКОГО ОБВАЛА . . . . .                                                                                                                                                                                                                   | 190 |
| <b>НИЖЕГОРОДСКИЙ ВЕНОК СОНЕТОВ</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                | 205 |
| <b>Анастасия РОСТОВА, Любовь ХОРЕВА, Надежда КНЯЗЕВА, Лариса БУХВАЛОВА, Наталия ЗАБЕГАЛОВА, Арсений ГЛАЗКОВ, Надежда РУЧКИНА, Екатерина МАРКУС, Юльхен ГЛАЗОВА, Татьяна АРАКЧЕЕВА, Никита ДОРОФЕЕВ, Павел ПИКОВСКИЙ, Юрий ФЕДОТОВ, Анастасия РОСТОВА, Дмитрий ТЕРЕНТЬЕВ</b> |     |

### *Театр*

|                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Алексей ЕВСТРАТОВ</b><br>МАЛЕНЬКАЯ ЖЕНЩИНА, ШЛЯЮЩАЯСЯ ПО МИРУ . . . . . | 212 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|

### *Стихи по кругу*

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| <b>Вероника</b> . . . . .             | 226 |
| <b>Владимир БЕЗДЕНЕЖНЫХ</b> . . . . . | 228 |
| <b>Михаил ВАХТИН</b> . . . . .        | 229 |
| <b>Инна ЛАРИНА</b> . . . . .          | 231 |

### *Литпроцесс*

|                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Станислав АЙДИНЯН</b><br>«СЛОВАРИКОМ, СВЕРКАЮЩИМ ВО ТЬМУ»... . . . . | 232 |
| <b>Сергей НОСОВ</b><br>О ЧУДЕСАХ . . . . .                              | 237 |

## Проза

### Елена КРЮКОВА

Родилась в Самаре. Окончила Московскую государственную консерваторию (фортепиано, орган) и Литературный институт им. Горького.

Автор книг стихов и прозы, куратор и автор художественных проектов в России и за рубежом. Лауреат премии им. М. И. Цветаевой, Кубка мира по русской поэзии, премий журнала «Нева» за лучший роман года («Врата смерти», 2012), им. Горького (2014), им. И. Гончарова (2015), Международной литературной премии имени А. Куприна (2016), Международной премии им. Э. Хемингуэя (2017).

Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

### ВЕРА И РАССТРИГА

Вера добралась до метро, долго ехала под землей, потом пересела на автобус и опять ехала долго, протяжно, чуть с тоски не умерла. «Когда уже это Шереметьево будет?» Аэропорт, его серые мрачные здания появились внезапно, Вера бы никогда не подумала, что это Шереметьево, если бы не дикий самолетный гул. Самолеты взлетали и садились кучно, густо, как жуки или стрекозы. Вера подивилась: как это они друг на друга не натолкнутся в воздухе! Люди сошли с автобуса, шли вперед, она вместе со всеми.

Вытащила заграничный паспорт, развернула его, долго разглядывала бумаги. Поняла так: одна бумага на самолет до Одессы, другая – бронь на паром Одесса – Хайфа. А потом из Хайфы как, до Иерусалима? «Ничего, там близко уже, доберусь». Вчитывалась; сообразила, что от приземления самолета до отплытия на пароме ждать ей пять дней. Ух, как долго! Пять дней... Деньги, рубли и доллары, лежали у нее на груди, в лифчике, а мелочь на дорожные расходы – в кармане длинной юбки. Перед отъездом она ее тщательно выстирала и высушила на кухне, на веревке над плитой.

Она впервые в жизни летела самолетом. Да, ей было страшно, но не настолько, чтобы паниковать. Когда самолет загудел и стал набирать скорость, она вцепилась в подлокотники кресла; когда взлетел, она разжала руки, глубоко вздохнула и заткнула пальцами уши – гул показался ей невыносимым. Потом привыкла. Самолет нырял в воздушные ямы, Веру тошнило. Она изо всех сил подавляла приступы рвоты. Стюардесса подошла к ней и сладким голоском спросила, чего ей надо. Ничего

не надо, замотала Вера головой, спасибо. Стюардесса быстро убежала по ковровой дорожке и быстро прибежала, с подносом в руках; склонилась перед Верой, будто перед шахиней, и быстро щебетала – угощала. Вера протянула руку и смущенно взяла с подноса тарталетку с красной икрой и толстопузый бокал; ей почудилось, в бокале сок. Поднесла бокал к губам, в нос ударил мощный спиртовой дух. Это оказался коньяк. Вера никогда не пила коньяк, только водку и вино. Она осторожно втянула запах ноздрями, нюхала долго, пьянела от запаха, улыбалась. Чуть пригубила, держала бокал на коленях, обнимая обеими руками, грела ладонями. Она не знала, что именно так, в ладонях, греют коньяк.

...черный крест... самолет...

...красный плот...

...красный крест... нет мест... норд-ост, зюйд-вест...

...красный крест. Он горит. Я баба, я должна его вышить. Тогда... еще можно выжить. Но я не рукодельница. Я моей жизни мельница. Лечу. Слетаю с ума. Я лучше тем крестом стану сама. Раскину руки... будто обнять... я – мать... всеобщая мать... Железный гроб в небесах. Я лечу. Я дух. Я прах. Свечой – свечу.

...крыла... я – в небо ушла...

Откусила от тарталетки, чмокала, наслаждаясь, ну, красную икру она ела в Сибири не раз, чаще в гостях, а когда распродажа, задешево и сама покупала; прихлебывала коньяк, так потихоньку и выпила все, до дна, захмелела, развеселилась. Спать захотелось. Вера уснула, и бокал вывалился у нее из рук и покатился по проходу салона. Ранец ее торчал из-под сиденья: ей разрешили пронести с собою ручную кладь.

Когда она проснулась, она услышала рядом разговоры других людей. Люди беседовали о чем угодно: о здоровье, о еде, о войне и о мире. Вера поняла, что все боялись близкой войны и только о ней и говорили, а если даже не о ней говорили вначале, то на нее все равно сбивались. Она прислушивалась. Толстый, как сдобный пирог, мужчина, шикарно одетый, с золотым, с алмазом, перстнем на безымянном пальце, громко вещал кудрявой болонке-соседке о том, что он скоро уезжает в Канаду на пээмжэ. Вера думала, Пээмжэ – это такой город в Канаде, и может, даже курорт, с лечебными ваннами и спа-процедурами, а потом догадалась: это постоянное место жительства. «Дура ты и есть дура», – презрительно подумала о себе. Толстяк возглашал:

– Да вы знаете, сударыня, сейчас все отовсюду бегут! Украинцы бегут в Америку, в Канаду. Азиаты – в Европу. Тучами наваливаются, роями! Германия вот точно скоро потонет в турках! Там в школах, знаете ли, учатся одни турецкие дети! Немчиков раз-два и обчелся! Наши евреи бегут, миль пардон, в Израиль! Вся моя родня – давно в Израиле! В Яффо, в Тель-Авиве, в Хайфе! Хайфа, о, знаете, сударыня, это такой красивый город! Красивейший! Одесса-мама ну просто отдыхает!

Вера не расслышала толком, что ответила дама. Кажется, она возразила и стала защищать Одессу. Толстяк поморщился.

– А чего в Одессе такого уж эффектного?! Оперный театр?! Потемкинская лестница?! Ланжерон?! О, Господи... Ланжерон... Сколько я там ракушек очаровательных находил когда-то... Сейчас, перед Канадой, вот тоже, знаете, хочу по Ланжерону побродить, ракушку, черт возьми, поискать... черт меня возьми совсем... да...

Он повернул жирное блестящее лицо к Вере, тройной подбородок дрогнул, и Вера вытащила из кармана носовой платок и протянула толстяку.

– Вот... вытритеесь...  
 Толстяк оттолкнул ее руку.  
 – Фу! Какую грязь вы мне предлагаете! Вытирайтесь сами!  
 – Он чистый, – растерянно возразила Вера, – я стирала...  
 Толстяк вынул из кармана свой платок и утер глаза, рот и подбородок. А слезы все мелко, градом, катились, лились ему за шиворот, под крахмальный воротничок.  
 Стюардесса подкатила тележку на колесах. Сначала по-иностранному спросила, потом по-украински, потом наконец по-русски:  
 – Обед желаете? Курочка с рисом, салат, сок, вода, коньяк?  
 – Коньяк, – сказала Вера и протянула руку.  
 Толстяк захохотал, и подбородки его затряслись.  
 – Ишь, какая лизоблюдоchка! А закуски к коньяку? Давайте, милочка, давайте все, что там у вас есть!  
 – Не все, что есть, – строго сказала стюардесса, продолжая мило улыбаться, – а то, что полагается.  
 Откинула раскладные столики, расставила бумажные тарелочки с яствами, бокалы с коньяком, улыбнулась до ушей, унеслась, катя тележку перед собой.  
 Толстяк заинтересованно глядел на бедно одетую Веру.  
 – А вы, сударыня, смею полюбопытствовать, к кому в Одессе? К родне?  
 Вера держала бокал в руке и весело глядела на толстяка. Глаза ее, широко, по-коровьи расставленные, чуть раскосые, серым жемчугом блестели.  
 – Или Одесса для вас перевалочный пункт? Хм, ну, транзитом поедете?  
 Хмельная Вера сощурила глаз и посмотрела на толстяка сквозь прозрачную толщу коньяка.  
 – Транзитом. Я – в Иерусалим еду.  
 – О! – закатил глаза толстяк. – На Святую Землю! Недурно, сударыня, недурно. Паломница?  
 Опять окинул насмешливым взглядом ее бедный наряд.  
 Вера поежилась, собрала пальцами на груди воротник темной кофты на мелких пуговицах.  
 Бокал с коньяком дрожал в ее другой руке.  
 – Да. – Врать так врать. – Паломница.  
 – Хм, святое дело. – Толстяк тоскливо вздохнул. – А я вот... в город детства. Может, там, на пляже, вместо ракушек... свое детство найду! Выпьем?  
 Соседка-болонка обиженно кашлянула. Она привлекала к себе внимание.  
 Толстяк поправил в кармане роскошного пиджака белый торчащий уголок платка. Помял шелковый узел галстука. Вдруг рванул галстук, стащил его, бросил на пол самолета. Сложил губы в улыбку, и на Веру изо рта его блеснул старинный золотой зуб. «Как у бандита», – подумала Вера. Толстяк взял с раскладного столика бокал и двинул им о бокал Веры.  
 – За наше детство, – сказал, задыхаясь. – Ой, нет! Давайте лучше за...  
 – За любовь! – задушенно, высоким журавлиным голосом, крикнула кудрявая соседка. И ближе подсунула к ним свой бокал.  
 – Елочки же палочки! – выдохнул толстяк. – Конечно, за нее, родимую! Со мной, в этом же самолете, летит моя любовь. Девушка моей

мечты! О, если бы вы видели мою девушку! Ну, в Одессе по трапу будем сходить, увидите! Принцесса!  
 – А где она? – спросила Вера.  
 – В бизнес-классе! Со всем шиком! А я тут! В эконо-дерьме! Я – ближе к народу! Потому что я сам народ! Выпьем!  
 Они выпили. У Веры загудело в голове. Она опять вся и вдруг стала музыкой, звучала, вибрировала – звучали пальцы, дрожали плечи, тихо пели ноги, шелестели губы, звенели волосы, развиваясь, выпадая из пучка, похожего на кукиш. Вера косилась на толстяка и думала: «Вот, у такого жиряги и девушка-красотка есть, ну, небось она за деньги замуж вышла, а может, и не замуж, а так, а может, он добрый хороший человек, а может, он мужик хороший, ну, в постели, даром что жирный», – и пугалась своих грубых, циничных мыслей, как пугаются летящего под откос поезда. Кудрявая болонка улыбалась толстяку коралловыми крашеными губами, поправляла на морщинистой шее ослепительно сверкающее кольцо. «Драгоценности все на себе везет, и не боится, что сорвут с груди».  
 – Вот вы, паломница, – толстяк отпивал коньяк из бокала медленно, вкусно, – а коньяк пьете!.. вы вот скажите мне: каково это, верить в Бога?.. Ну, какое у вас чувство, ну, что вы верите. Я вот не верю, мне интересно. Как вы... ну... Его – чувствуете? Или никак? Нет, как-то ведь чувствуете все равно. Без чувства веры нет. Чувство... это... это ведь как любовь! Вот я люблю мою девушку. О!.. очень. Так люблю, так!.. жизнь за нее отдам. Я ей и так все состояние свое отписал! Все – ей – завещал! Кожу с себя готов содрать – и ей отдать!.. А вера... вера... что она такое? Ну, что вы... да, вот вы... паломница... ощущаете, когда губами к иконе прикасаетесь? Или вот в Иерусалиме пойдете ко Гробу Господню? Или там... в Вифлееме поедете, туда, где Иисус в яслях лежал, с коровами и овцами?.. А?.. Благоговение... или что другое?.. что... другое...  
 Самолет внезапно накренился на один бок, перекатился на другой, чуть не сделал «бочку», с трудом выровнял полет, потом его сильно, мощно потрянуло, и он задрожал крупной противной дрожью – так, что зазвенели все его стальные сочлененья, кольца и винты.  
 – Трясет как в преисподней! – сказал толстяк.  
 Коньяк выплеснулся из бокала ему на штаны.  
 Самолет клюнул носом воздух и стал падать. Люди в салоне завизжали. Спящие дети проснулись и громко, пронзительно заплакали.  
 – Мы умрем! Умрем!  
 Кудрявая болонка поднесла оба кулака ко рту и кусала их, и орала как резаная.  
 Вера ни на кого не смотрела. Она смотрела вперед.  
 «Ну вот и все. Как все просто! Какая же простая и маленькая жизнь! Сколько ни живи, а все будет мало. Как все вопят! А вокруг нас, в небе, какая тишина! Никому нет дела до людей, что орут в самолете. И даже Богу до нас дела нет! Падаешь – и падай! И не плачь, потому что никому и незачем плакать! Зачем они все так страшно кричат?»  
 До нее донесся дикий голос:  
 – Люди! Люди! Я поганец! Я людей убивал! Люди! Каюсь! Боже! Если Ты есть! Прости меня! Люди! Простите! Простите! Я не хочу так просто уйти! Непрошенным! Простите!  
 Голос поодаль закричал с надсадом:  
 – Да простили тут давно все тебя! И Господь простил!  
 Вера глядела прямо перед собой и не видела, как торопливо, истерично, мелко дрожащей рукою крестится толстяк. По толстому лицу

тек пот вперемешку со слезами. Толстые, вывернутые по-негритянски губы бормотали:

– Люсенька... Люсенька... я тебя... не увижу... не обниму... где ты, крошечка моя... красавица...

Опять на одно крыло, на другое перекатился железный бочонок. Люди плакали. Крики бились о стены салона. Кудрявая болонка низко нагнулась, приблизила лоб к согнутым коленям и обхватила ноги руками. Как кошка, она пыталась свернуться в клубок, чтобы спастись.

Вера сидела деревянно, пристегнутая ремнем. Мысли сначала еще жили в ней, потом враз все умерли. Во рту у нее пересохло. «Питья, – подумала она жестоко и жестко, – на том свете уж точно не поднесут». Стюардесса металась по салону, потом не удержала равновесия и упала, и поползла, хватаясь руками с намазанными лиловым лаком ногтями за кресла, за ковер, за подлокотники.

– Уважаемые пассажиры!.. господа!.. гос... по...

Она еще пыталась быть вежливой. Ее выучили правильно.

– Эй! – крикнул толстяк Вере в ухо.

Она обернула к нему невидящее лицо.

– Увидимся на том свете?!

Что ей было делать?

Надо было говорить ему правду.

Или – солгать.

Беда была в том, что она не знала ни лжи, ни правды.

Ничего не знала.

– Увидимся! – крикнула она ему в ответ сквозь вой в салоне и людские вопли.

И сама заплакала, оттого, что человеку перед смертью неправду сказала.

\* \* \*

Самолет будто провалился в вату. Выровнял полет. Гудел ровно и мерно. Больше не трясло.

Все изумленно оглядывались, смотрели друг на друга, смотрели и не верили тому, что живы. Что все кончилось. Кончился страх и ужас.

Стюардесса, стыдась, одергивая задранный юбку, медленно поднималась с пола. Поправила волосы. Заученно улыбнулась. Сверкнули зубы. Она стала говорить, и ее голос напоминал голос сломанной куклы, заведенной сломанным позолоченным ключом.

– Уважа... емые!.. пассажи... ры. Мы попали в зону... тур... тур... бу... лентности... и теперь вышли из нее. Мы!.. продолжаем наш полет. Просьба всем... кто не... пристегнуть ремни... а кто... не... отстегивать... до посадки... и полной остановки самолета. Мы!.. скоро!.. прибываем в аэропорт города...

– Одессы, – хрипло закончил за стюардессу толстяк. Она нашел пухлой, как подушка, рукой руку Веры и сжал ее тепло, больно и отчаянно. И Вера ответила на пожатие.

– Просьба всем оставаться на... местах!.. до полной остановки... двигателей...

Самолет начал снижаться. Это уже не было падением. Он снижался по глиссаде, в иллюминаторах вспыхивал облачный туман. Когда шасси коснулось земли, Вера прикусила зубами губу, потекла кровь. Когда самолет встал на месте и затих, толстяк отстегнул ремень, уткнул лицо в ладони и затрясся в неудержных, совсем бабьих рыданиях.

\* \* \*

Спускались по трапу. Ноги подгибались от слабости. Кого-то неукротимо рвало прямо на асфальт летного поля. Вера все-таки увидела девушку богатого толстяка. Она была и вправду красавица. Толстая русая коса, жемчуг в розовых маленьких ушах, брови вразлет, талия тоньше, чем у пчелы. От пережитого ужаса ее лицо было цвета молока. В небесных огромных глазах стояла влага. Она поджидала своего толстяка внизу, у трапа. Когда он спустился, девушка схватила его за руку и капризно прокричала:

– Яник! Ну и рейс! Поганцы пилоты! Я чуть не родила на борту!

Вера перевела взгляд на живот девушки. Под обтягивающим платьем живот предательски выпирал, торчал дыней. У Веры стало горячо под лопатками. Наблюдая чужую беременность, она опять почувствовала себя высохшим старым деревом. «Как это в Евангелии: высохшая смоковница, как там про смоковницу?.. эх, забыла. Надо прочитать».

– Не нужна ли вам врачебная помощь? – подскочил к Вере мальчик в белой шапке и в белом халате.

– Нет, не нужна, – помотала Вера головой, – спасибо.

Рядом кричали:

– Такой божевільний політ був, просто жаж!

Вера вошла в здание аэропорта, колени ее подкосились, и она рухнула на пол. Мир крутился вокруг нее, а она была веретеном. Голоса лепетали и вспыхивали рядом:

– Допоможіть, допоможіть жінці!

– У кого є нашатир?.. дайте скоріше!

– Бідна, вона з того самого рейсу?.. так?..

Ее жалели, вели под локти, усаживали на скамью. Подносили воды, заставляли проглотить неизвестные таблетки. Она послушно делала все, что ей предлагали. Ее трясли за плечи: «Вас встретят?.. Нет?! У вас паспорт с собой?! Где вы остановитесь?!» Наконец ее оставили в покое.

\* \* \*

Она не хотела ни есть, ни пить. Она очень хотела спать. В брюхе большого белого, как белый ленивый кит, вонючего автобуса она доехала до старого центра Одессы. «Где тут пляж Ланжерон?» – робко спрашивала прохожих. Ей отвечали бойко, любезно, весело: «Та вот туточки!.. Остановочка!.. Сідайте ось на цей автобус, миттю доведе куди треба!»

Вышла. Ветер с моря дул в лицо, в грудь. Море катило под ветром серые, в бело-желтых барашках, мелкие волны. Тучи налетали с запада. Вере захотелось содрать с себя все одежонки и залезть в эту холодную, соленую воду. Омыться. Просолиться. «Купальника же нет у меня, как же я голая-то полезу. Никак». Стояла, ловила ветер ноздрями. Пошла по сырой кромке песка, у самой воды. Море лизало ей сапожки. Натекало перед нею на песок. Отхлынет, и опять дышит вода, вздыхает и поднимает соленую грудь. Медленно, вдавливая ноги в песок, шла Вера, и в каждый отпечаток ее ступни за ее спиной мгновенно текло море, и быстро, моментально ее следы на песке становились морем, серой водой в разводах водорослей, как будто и не было ни узких следов, ни ее самой.

Она не оглядывалась.

Все шла и шла, сама не зная, куда, зачем. «Пять дней до паромы, – повторяла себе как заклинание, – пять дней, пять дней». Как-то надо было прожить эти пять дней. «Ничего, – шептала, – проживу. Переплыву». И правда, эти дни представлялись ей морским заливом, такой вот серой, дрожащей под холодным ветром бухтой; догола или в одежде, все равно, но надо было зайти в воду по колено, потом по пояс, потом по шею – и, взмахнув руками, плыть, ну ведь плавала ж она в ледяном Енисее, и ничего, и здесь тоже окунется и поплывет. Делов-то!

Накатывала на берег холодная волна, Вера шла, и ей казалось, вечно она так будет идти. И от этого становилось холодно спине и радостно сердцу. Она на одно мгновение ощущала себя ангелом, только без крыльев; крылья еще должны были вырасти. Она выпрямляла спину и сдвигала лопатки, и смеялась сама себе, своему безудержному детству. Одна, на морском берегу, она стала ребенком. Она теперь поняла толстяка, что хотел найти на пляже, на песке, свое утраченное, милое детство. Себя, мальчишку.

Вдруг Вера поняла, что продрогла. Болеть нельзя! Согреться, где? Повела глазами. Вдали маячил дом, похожий на кафе. Она побрела по песку туда, и ноги ее вязли в песке, и она беззвучно смеялась. Иногда наклонялась и вынимала из песка ракушки. Складывала их в карман. Они звенели.

Все ближе подходила она к домишку на берегу, и да, это было крохотное приморское кафе; смеркалось, и в полумгле оранжево, лимонно горел и переливался дьявольский неон в неуклюжих буквах над крышей: «КАВЯРНЯ». Ветер выдул из Веры последние остатки тепла. Дрожа, вошла она в кофейню, поднесла ко рту руки, дышала в ладони, даже пососала грязные пальцы, как леденцы.

– Ви продрогли? Погрійтеся! – Бармен, с полотенцем через запястье, склонился перед ней в радушном поклоне. – Сідайте, пані, ось вільний столик!.. Чашку кави бажаєте, або чого міцніше?..

Она села, стащила со спины ранец, затолкала его под стол и щупала ногами, чтобы не украли; ей принесли на подносе кофе и в блюдечке – темный коричневый сахар. Она впервые грызла такой сахар. Фруктовый?.. медовый?.. Окунала кусок сахара в кофе, пила вприкуску. Блаженствовала. Как ей было хорошо! Забылась. Забыла, кто она, куда и зачем движется по земле. В зал вошел человек. Она сперва не заметила его. Такой он был серый, как мышь, незаметный. Низкорослый, худой. Будто невесомый. За его плечами болтался то ли старьевный мешок, то ли старый рюкзак. То ли бродяга, то ли прокуренный рокер, то ли несчастный бомж, то ли тайный наркоман, неприкаянный, неслышный, он прокрался сквозь столы, выбрал Верин стол и сел за него, ощупывая странную суровую женщину глазами, будто то была нарядная рождественская елка.

– Можно мне с вами?

Бродяга говорил по-русски.

Вера вздрогнула, и ее глаза стали опять видеть.

– Да. Конечно.

– Добрый вечер.

– Добрый.

К бродяге тут же подскочил официант; судя по всему, его тут хорошо знали.

Он уже отхлебывал из огромной чашки кофе, и уже курил, ссылая пепел в пепельницу, не глядя; и уже улыбался Вере беззубым жалким

ртом, и уже говорил, и болтал, слово за слово, а Вера хранила молчание, как хранит его холодное море.

– Вы тут одна сидите!.. я и думаю, развлеку. И сам развлекусь. Знаете, тяжело мне жить. Несладкая моя жизнь!.. а у кого она сладкая?.. сладкой, ее просто нет. Все мы, блин, сладкоежки!.. а надо мясо грызть, мясо, и крепкими зубами. Вы знаете, я ведь гений. Ну да, не делайте круглые глаза!.. Не думайте, я не псих. Я настоящий гений! Чистой воды. Алмаз «Шах». Или там «Орлов». Без примесей. Играю на солнце! А меня – в грязь, в грязь! Да сапогом, сапогом! И булыжником – вдребезги!.. да я привык. Я написал гениальную книгу!.. да!.. подобную Псалтыри!.. новую, не побоюсь так сказать, Псалтырь, да у меня рукопись утащили. Да, так просто, взяли – и украли! А у вас что, никогда ничего не крали? И даже деньги?.. и даже губную помаду из сумочки?.. ну да, вы не краситесь... вы – без макияжа, ах... это тоже сейчас модно, мода такая, голое лицо... Я плакал! Дико, страшно плакал! Потому что рукопись моя была в тетради, никакая не виртуальная! А потом, знаете... больно говорить, да... – Отхлебнул горячего кофе. Закрыв глаза. Вера глядела на его впалые щеки, на его щетину и морщины, длинными стрелами через все лицо. – Ну как не сказать... У меня жена ушла... и унесла с собой ребенка... моего ребенка... но это полбеда... она... она... убила меня.

Вера думала: «Господи, да воистину сумасшедший».

Но слушала молча, терпеливо.

– Что, думаете, безумец я? – Бродяга криво усмехнулся. Грел руки о чашку. – Думайте на здоровье. Это ваше право. Жена ударила меня ножом. Вот он след! – Бродяга внезапно со звоном отставил чашку и потянул вверх рубаху и полу куртки, под рубахой мелькнули полоски тельняшки, он бесстыдно обнажил ребра, через ксилофон тощих ребер тянулся длинный белый, грубый шрам. – Хороший след мне жена оставила?.. да, знатный. На всю оставшуюся... да ладно, это бы еще полбеда. Знаете, что потом-то было?.. а?.. не знаете. А потом она себе по ребрам тем ножом полоснула, да так, шутиливо, чтобы только поцарапать... а рукоять ножичка сухо-насухо вытерла... и мне в руку всунула... чтобы мои пальчики отпечатались. Лежу на полу, в кровище, нож у меня в руке, сжимаю его, да все я понял тогда сразу, а куда бежать, кровью истекаю, сознание уходит!.. она убежала, стервь. И дочку, дочку унесла... так орала дочка... как поросенок под ножом... Коро-че... женщина... и вы женщина, и она – женщина... в тюрьму меня-таки посадили!..

– В тюрьму, – эхом повторила за бродягой Вера.

Кофе в чашках остывал.

Она не могла оторвать глаз от его лица: оно светилось.

– И – отсидел!.. еще как отсидел... оттрубил... тика в тик... десятку... адвокат как ни бился, чтобы до пятерки скостить, не смог... И – вышел! И... в монастырь двинул!.. вот куда. Монастырь, счастье мое и проклятье мое. Оказался я там, в келье – и что?.. одинок, матушка. Одинок! Впору меня самого свечой у аналая жечь. Так и сгореть хотел, такой свечой. Тосковал!.. выл. Ночами – выл! Вслух Псалтырь читал. И Евангелие – читал. И, пока читал, знаете?.. много постиг. Главное – постиг!

Вера дрогнула бескрылой спиной. Под лопатками заболело, заныло.

Что это такое он главное-то постиг?

Любопытство разобрало ее. Боль прошла вдоль хребта, вспыхнула и умерла в горячо бьющемся сердце.

– Вокруг меня стали, знаете, монахи толпиться. А я им – свои мысли излагал! И вроде как мое учение это было. Не смейтесь! А впрочем, можете и смеяться. Я не запрещаю. Смешно, да, смешно все, что я вам тут болтаю. Жизнь вообще смешная штука. Монахи меня слушали, раскрыв рты!

И тут Вера раскрыла рот.

Она не могла удержаться.

– А о чем... вы им говорили?

– О чем?! – Бродяга хитро прищурился. – А вам так хочется знать?.. Извольте!.. расскажу. Пока нас отсюда никто не гонит. Кавярня эта не круглосуточная, но до двенадцати ночи мы точно посидим. Не попрут. Меня тут любят. Я тут все починяю. И электропроводку... и полки прибиваю... и люстры прикручиваю... и... О чем?! О том! Делай что хочешь, да, только потом будь готов, что придется отвечать. За все, что сделал. И не обязательно на небе. И на земле – ответишь! Обманываешь? Тебя тоже обманут, и еще как! Своруешь?! Тебя обворуют, да всего обчистят, до нитки! Изобьешь кого втихаря?.. не взыщи: тебя так отделают, маму родную не узнаешь. Исхлещут всего, в кровь, до кости!

Вера цапнула бродягу за локоть. Ее затрясло.

– Так, значит... – Она дрожала все сильнее. – Вот Христос! Вот его избили... ну, мучили Его... в тюрьме, когда Иуда Его поцеловал и Его в тюрьму солдаты забрали. Били Его солдаты! Смертным боем били! Мне старуха Расстегай говорила. А потом я и сама прочитала. В Евангелии! Истязали! К столбу привяжут и бьют! В смерть бьют! Без пощады! И что же?! Что ж это значит, а?.. что Христос кого-то, значит, сам когда-то избил... над кем-то надругался... а теперь – Его самого пытаются?! Так, выходит?! Не понимаю. В этом твоя истина, что ли?! Ошибаешься ты!

– Нет! Не ошибаюсь! – Бродяга тоже кричал. – Все – так! Все! Кроме – Христа! Он ведь за нас за всех муку принял, ни одному живому существу не причинив зла! На то Он и Бог! Поэтому – Бог! А все мы – грешники!

– Господа-товарищи, – по-русски, презрительно бросил бармен от уставленной бутылками стойки, – пожалуйста, потише... у нас посетители, неудобно... Алешенька, ты-то что разорался на ночь глядя...

– Прошу прощения, – бродяга прижал ладонь ко груди и поклонился в сторону бара, – больше ни-ни...

– Тяпнул, что ли, уже где?

Бармен сердито протирал полотенцем бокалы.

– Нет, нетушки... ни в одном глазу... я трезв как стекло...

Вера заглянула в чашку. Черная кофейная гуща стояла на дне чашки нефтяным озером.

Бродяга вздохнул раз, другой тяжело, длинно.

– Жизнь... жизнь... Я говорил монахам: не бойтесь любить! Вы боитесь даже другу, соседу услужить, доброе слово сказать. Что толку, что вы молитесь? Вы делами – молитесь! Делами – Бога славьте! Я учил: есть люди, совсем не верящие в Бога, они даже над Богом смеются, атеисты, глухие к Богу и слепые, и обижают Его, оскорбляют... Но они так живут... так!.. что они – самые подлинные, настоящие христиане! И людей любят. И им помогают. И слабого – жалеют. И все строят, создают, и бескорыстно, не за мзду! И милость к врагам даже имеют! И четко – по Христу! – после удара по правой щеке – левую смиренно подставляют! И смеются над мучителем! И живут полной жизнью, и снова любят, любят! Ближнего – любят! И что? Что после этого ты скажешь? Что они – не во

Христе живут?.. Еще как во Христе! Еще какие они христиане! Самые наилучшие! Честнейшие! Только что – лоб не крестят! И их-то надо уважать, и приветствовать, и любить, потому как они – наиглавнейшие дети Христа! А не те, что в монастырьках за трапезой сидят да к обедне гуськом тянутся! И вот так... вот так я монахов-то там, в монастырьке моем, и учил... А игумен пришел как-то раз... перед дверью стоял – и все подслушал... и меня после за шкуру схватил!.. и орет: ересь глаголешь, ересь! Вон, кричит, из монастыря! Мирской ты человек, и топтать ты тут нашу монастырскую травку, и сажать монастырскую капустку не должен, и кондаки и ирмосы с нами распевать – опять же не должен!.. ничего ты тут не должен... И – никому... И – жми отсюда... чеши к едрене-фене...

– К едрене... – Вера смешливо прижала ладонь к губам, – так прямо... и сказал?..

– Ну, там я дословно не помню... но смысл такой... Короче, собрал я манатки... не ко двору я пришелся. Да там послушник был один. Молоденький! Совсем юный. Ко мне так привязался! Я ему как брат был. Родной. Он мне все услужить старался. Помочь. Я там, в монастыре, руку сломал. Ремонт у нас был, я белить стену известью полез, на леса взобрался, люльку со мной стали на ремнях поднимать, ремень оборвался, ну, и я упал. Об пол шмякнулся. Рука – хрясь! Так тот послушник сам гипс раздобыл, сам лангетку наложил. Руку мне забинтовал, как младенчика. Все спрашивал: больно? больно? Заботливый. И вот, когда я уходил... ну, разжалованный уже, расстриженный... послушничек этот как метнется ко мне! Как обнимет! Крепко-крепко! И зарыдал у меня на плече. Как, знаешь, Давид с Ионафаном обнялись... и рыдаем оба... ну, он мальчишка, слабодушный... а я, взрослый мужик, и чего реву?

– Давид... – морщила лоб Вера, – Давид... это царь Давид, что ли? Который – Псалтырь сочинил?

– Сочинил... – Бродяга, вроде Веры, в чашку свою заглянул. – Такие книги, знаешь, не сочиняют. Они – богодухновенные. Тебя как звать?

Вера не заметила, как, когда они перешли на «ты».

– Вера.

– Хорошее имя. Крепкое. Такое... – Бродяга сжал кулак и потряс им. – А я...

– Ты Алешенька.

Бродяга изумленно воззрился на Веру.

– Откуда ты знаешь?!

– Я слышала. Тебя называли так.

Кивнула на бармена. Бармен сидел на круглом высоком стуле и медленно, важно курил. Алешенька откозырял ему, как офицер генералу.

– Точно. Алешенька я. Неприкаянный. Да вот, Вера, в путь я собрался. В неблизкий.

– В путь?

– В путь.

Вера вздохнула.

– И я тоже в пути.

Алешенька улыбнулся ей так светло, будто среди ночи солнце взошло.

– Значит, мы с тобой оба путники.

– Да. Путники.

Ей понравилось слово «путники». «Путники, путники», – неслышно вышептывала она горячими губами. Сцепила чашку рабочими крепкими пальцами. Подняла. Стукнула чашкой о чашку Алешеньки.

– Давай допьем. Выпьем. Кофе. За нас.

Опрокинули чашки себе во рты. Проглотили холодный кофе и засмеялись.

– Кофе – за здоровье! Ну мы даем! А может, Вера, чего покрепче? Глянь, у них полно тут чего покрепче. Заказывай.

– А у тебя деньги есть?

– Есть. Не вопрос. Что берем?

Взяли пузатую бутылку местного, одесского коньяка. Бармен принес, откупорил, поставил бокалы, нарезал тонкими ломтями яблоко, в розетке поставил на стол маслины и сыр. Алешенька поблагодарил бармена гордым царским кивком.

– Потом рассчитаемся, Жорик.

– Я много не буду, – тихо сказала Вера, глядя на пузатую, как тот толстяк в самолете, бутылку. Алешенька усмехнулся.

– И мало тоже. Прозит, как говорится!

– Что, что?

– Темнота. Твое, типа, здоровье!

Вера больше нюхала коньяк, чем пила. Алешенька пил много, забрасывал в рот маслины, веселел, розовел. Его торчащие скулы пылали, как в жару. Пьянел он быстро и радостно.

– А-а-ах, Верчик! Хорошая ты баба. А куда стопы направляешь? Из нашей милой, славной... Одессы-мамы? Одесса-мама, Ростов-папа! Снимите шляпу!.. Одинокая? Или замужем?.. да мне-то что, мне плевать. Разные у нас дорожки!.. тришки-ешки!..

– А ты куда?

Вера уткнула нос в бокал. Коньяк пах черносливом и шоколадом, а еще немного дорогим табаком.

– Я-то? Я – в Хайфу. Паром мой через пять дней. Надо обождать. С тоски помру!

– Я тоже в Хайфу, – сказала Вера, искоса, через стол, глядя на монаха-расстригу.

– И ты в Хайфу?! Вот так да! – Алешенька расплылся в широкой улыбке. – Промысел Божий! Вместе поплывем! И молиться, – он сглотнул и восторженно поглядел на коньяк, – будем вместе...

– А ты зачем в Хайфу? – Вера захотела блеснуть знанием. – На пээмжэ?

Алешенька захохотал. Оборвал хохот.

– Вроде того. У меня билет в один конец. Я там... Вера... в монастырек тамошний хочу попроситься. И... остаться. И чтобы укрыли. Там... там хочу. Хочу... На Святой Земле. Я тут, на грешной-то, хлебнул горячего!.. я не все тебе рассказал, не-е-е-ет. Не все! Я – грешник! Грешник великий. Отмолить грех свой хочу! А он у меня такой... такой...

Согнулся. Выгнул спину. Бессильными руками лицо закрыл. Пьяно заплакал. Стал раскачиваться за столом, чуть со стула не упал. В край стола вцепился, изругался шепотом.

– Какой? – тоже шепотом спросила Вера.

Спохватилась:

– Не надо. Не рассказывай.

– Не... буду... – всхлипывал Алешенька. – А впрочем, скажу... В двух словах... Ты – поймешь... Ты же Вера... Я обуреваем дьяволом был... в компашке тут одной мы собрались... Это уже на Украине произошло. Да... тут... под Одессой... за городом... хуторок на берегу... море такое славное, ласковое... и девочка... девчонка эта... Короче... еще короче...

– Я поняла, не надо! – тихо вскрикнула Вера.

Алешенька не слышал ее.

– Дочка хозяев... лет десять ей... банька там у них, во дворе... прибой в камни бьет... Гости орут: баню хотим! Баню – растопили... девочка эта – нам веники несет. Березовые... Паримся, хлещемся... и тут... собутыльники мои делись куда-то... я – один... за стенкой, на улице, на ветру – голосок... песню поет... Я вышел, сгреб ее в охапку, в баню внес... дьявол это, Вера, дьявол... Он – везде... вот он за тобой сейчас следит! Подсматривает! И только ищет удобного момента... ждет... выжидает... маленькая девочка... беленькая, как вареная курочка... глаза такие у нее были... я ей рот рукой зажал... она мне всю руку искусала... всю...

Вера оттолкнула от себя бокал. Он скользко проехался по столу и упал на пол. Нагнулась, подхватила из-под стола ранец и побежала к двери.

– А платить?! – кричал вслед бармен.

Алешенька кинул на барную стойку купюру и, заплетая ногами, ринулся за Верой.

Догнал ее на ветру. Ветер крутил и мотал перед ее лицом ее жесткие волосы. Она сжимала руки в кулаки. Шла быстро, да ноги вязли в песке. Шла вдоль берега. Море плело дикие, разбойничьи кружева прибою. Алешенька пьяно костылял за ней, протягивал руки к ней, будто ей молился, а она была икона, и ожила, и навек уходила от него.

– Вера!.. Вера!.. Ну что ты!.. брось!.. я пошутил!.. Я все придумал!.. чтобы тебя – напугать!..

Вера шла, в нитку сжав губы.

Алешенька забежал вперед. Раскинул руки. Вера остановилась, тяжело дышала.

– Пусти!

Она плюнула на песок. Ночное небо сияло кучей малой крупных и мелких, бешеных звезд.

Ветер крутил Верину юбку и редкие сивые волосенки Алешеньки на его голой голове.

– Ты как мать игуменя! Ну, накажи меня! Расстриги меня вдругорядь! Чтобы неповадно мне было! Епитимью на меня наложи! Кирпи-чи меня... заставь... всю жизнь таскать! Или... воду из моря черпать! И в пригоршне – на берег носить! Всякую чушь делать буду! Только... не... уходи!

Крикнул отчаянно, хрипло:

– Не покидай!

Вера дрожала. Ей было отвратительно и больно. Боль рвала ее на части, раздирала. Ее будто кто-то огромный ломал на части, как жареную курицу, рвал, терзал, вцеплялся в нее зубами. Будто звезды небесные превратились в острые зубы и грызли, жевали ее, перемалывали. Ветер налетел, мощный его порыв толкнул Веру в грудь и чуть не уронил ее на песок. Алешенька упал перед ней на колени.

– Я чудовище! Я дерьмо! Но я хочу... снова стать человеком! Я хочу... Вера... к Богу! К Богу вернуться! Меня же к Нему уже звали! Много званых, Вера, да мало избранных! Помоги!

Его руки обняли ее, его лицо уткнулось ей в живот.

Она, сама не понимая, зачем и почему, гладила его по затылку, как ребенка.

– Не плачь...

Его руки сжимали ее все крепче.

– Вера! Прости меня! Я пьянь, я дрянь... Но я тебе все рассказал! Как на духу! Ты – моя священница! Ты – исповедь у меня приняла! Так отпусти! – Он хрипел из последних сил. Ветер забивал ему глотку, пере-крикивал его воем и свистом. – Отпусти мне грех! Не могу я с ним жить! – Встань! – крикнула Вера. – Песок сырой!

Алешенька не мог встать. Он крепко запьянел. Вера подала ему руку и стала тянуть его вверх. Все вверх и вверх. И он вставал, поднимался, все вверх и вверх, все вставал и вставал, и все никак не мог встать.

Встал наконец, не вровень с ней, а ниже ее – маленький, щуплый. Жалкий.

– Где мы будем жить?

Ветер перекрывал тихий голос Веры.

– А разве мы... будем жить?..

Вера улыбнулась. Мимо ее глаз осеннее море текло белой суровой нитью прибоя, нить под ветром то и дело рвалась, и сыпались, печально осыпались крупные и мелкие, дальние и ближние, бедные звезды белыми тыквенными семечками в соленую пену.

– А как же... еще как будем... Ну где-то нам... надо... пять суток пере-ждать... не на вокзале же... а можно и на вокзале...

– Нет... на вокзале не надо...

Уже оба друг другу улыбались. И губы их дрожали. Алешенька дышал хрипло, потом закашлялся, и кашлял надсадно, и вынул из кармана платок, и Вера, в свете звезд, увидала на платке красное пятно.

Алешенька быстро спрятал платок в карман, затравленно глянул на Веру и зло, резко спросил:

– Ну что зыришь?... да, болен я... а помирать хочу там... там... у Христа... поняла?!

– Поняла, – сказала Вера.

Она взяла Алешеньку под локоть и повела. Потом он вырвал руку и взял под локоть ее.

Они шли по берегу и не знали, куда и зачем шли.

Шли, чтобы идти.

И в этом был весь смысл; и все чудо; и все наказание; и все прощенье.

\* \* \*

У бродяги Алешеньки в карманах, как выяснилось, водилось много разномастных денег: и гривны, и доллары, и евро, и русские рубли, и даже почему-то дерзко затесались среди прочих купюр мексиканские песо. Они сняли в дешевой гостинице на отшибе номер на двоих. Гостиница притулилась у самого моря, ее стены сотрясал ветер, ветер выл в трубах, срывал с веревок на балконах белье постояльцев. Море грохотало, как в бубен. Алешенька смеялся над потрепанным ранцем Веры: «Какой детский сад, старшая группа!» Вера хохотала над рюкзаком Алешеньки: ну надо же, столько валюты с собой, а рюкзакишко весь штопанный-перештопанный!

Ели в гостиничном буфете. Все просто: бутерброды, сосиски, чай. Буфетчица бойко сыпала и сыпала перед ними дробной чечеткой украинську мову. Вера пожимала плечами. Она иногда ловила в россыпи чужого языка знакомые слова. Алешенька важно, изысканно говорил по-украински, вел с буфетчицей душещипательные беседы: о детях, о моде, о загранице. Хохлушечка с метельной кружевной наколкой в пышных черных волосах уже знала, что они оба на днях уплывают на

пароме в Израиль. «Які ви обидва щасливі, ви побачите Святу Землю! Я так заздрю вам!»

Буфетчица думала, что они семейная пара.

Кровати в номере стояли сдвинутые, они их растащили по разным углам. Когда Вера раздевалась, Алешенька выходил покурить. Курил он редко, и Вере казалось, он делает вид, что курит. «Тебе же нельзя!» – сказала она, намекая ему на его плохой, кровавый кашель. «Мне теперь все можно», – мрачно и твердо ответил он и подбросил на ладони пачку сигарет, и поймал, как жонглер в цирке.

Дни текли, накатывал прибой, бил в просоленные валуны, ласкал темный, серый сырой песок, и Вера с балкона глядела на море долго и нежно, слезно, – так глядят на возлюбленного, которого покидаешь навсегда. Приближалась зима, и не было у Веры теплой одежды, подарила она ее птичке в столичной больничке, ну да ладно, это ничего, успокаивала она себя, на юг же еду, там зимы не бывает. Алешенька сказал ей, что в Израиле два раза в году снимают урожай апельсинов. Она дивилась, ахала. «Апельсинов с тобой наедемся до отвала!» – кричал он, а потом сгибался в три погибели и кашлял – надсадно, страшно. И кровь текла по его подбородку. И он утирал ее ладонью и страшно ругался. И Вера шептала: «Ты же бывший монах, и будущий тоже, тебе нельзя так скверно выражаться».

Алешенька брал ее руку в свои обе и погружал лицо свое в ее ладонь, как в теплую воду.

И так сидел, долго, не шевелясь.

Дни протекли, время отбило склянки стеклянным ледяным прибо-ем. В назначенное время прибыли они оба в одесский порт, там уже у пристани стоял громадный, как айсберг, паром, и по трапу на него всходили люди, и веселые и грустные. Веселые люди говорили громко, шумели, восклицали, обнимались. Грустные люди молчали.

Вера и Алешенька перешли по трапу с пристани на паром, его покачивало на волнах. Веру замутило. Она смущенно посмотрела на Алешеньку.

– Меня тошнит.

– Ничего! – Алешенька поправлял лямки рюкзака на одном плече, на другом. – С Божьей помощью!

– Это хуже, чем самолет, я чувствую.

– Море, матушка, море...

Их несло вверх и вперед в толпе пассажиров, у Веры было чувство, что случилась революция, восстание или же война, и всех зовут собирать ополчение, и всем надо быстро сбиться в строй и дружно, гневно идти на врага, а где враг, не знает никто, – Алешенька тянул ее за руку и все повторял: «Вера, у нас четырехместная каюта, это же просто роскошь, курорт, с видом на море, мы будем видеть море, Верчик, будем видеть воду и солнце!» – они шли по коридорам и переходам, между сдвинутых стульев и между тесно прижатых друг машин, и искали номер каюты, и наконец нашли, но располагаться там не стали: «Еще успеем налегаться!.. пошли море смотреть, и как отплываем!..» – и паром медленно, тяжело отвалил от пристани, переваливался на волнах, как чудовищная железная утка, волнение усиливалось, ветер дул с северо-востока, продувал насквозь, выдувал из людей все тепло, и Вера пряталась за тщедушного Алешеньку, а он обнимал ее, от ветра и холода спасая. Брызги летели в лицо, и Вера слизывала с губ соль.

Они оба смотрели на угрюмое море.

– Как бы бора не началась, – пробормотал Алешенька.  
 – Что? – не поняла Вера.  
 – Бора. Ветер такой. Сильный, ледяной. Паром обледенеет. И его может перевернуть.  
 Вера нервно засмеялась.  
 – Знаешь что, не пугай меня! Я пуганая.  
 – Да. Стреляная ты воробыха.  
 Взялись за руки, как дети. Так стояли, обдуваемые ветром.  
 Паром набирал ход.  
 – Ты есть хочешь?  
 – Не особенно. Я бы выпил.  
 – Губа не дура.  
 – Я и сам не дурак.  
 – Холодно? Может, в каюту пойдем?  
 – А давай еще немного постоим? Ветер такой... свежий...

\* \* \*

Они оба не поняли, когда начался настоящий шторм.  
 Бора налетела быстро, никто и пикнуть не успел. Море вспучилось, темная зеленая вода вспыхивала зловеще, оживала взорванным малахитом, волны накрывали одна другую и рушились на палубы парома. Громадный и царственный возле пристани, в порту, он немедленно сделался белой нищей скорлупкой посреди безумия соли, ветра и льда. Релинги мгновенно обледенели. С капитанского мостика разнесся зычный ор, усиленный мегафоном: «Всем уйти с палубы в каюты! Всем быстро в каюты! Держитесь за релинги! Держитесь...» Голос оборвался. Гул ветра заглушал крики людей. Паром раскачивало так, что Вера подумала: «Сейчас, вот сейчас перевернемся!» Они еще держались за руки, когда огромная, с целый дом, волна накрыла их.

Вере удалось уцепиться за железный выступ. Бешеная вода оторвала Алешеньку от нее и потащила вниз, все вниз и вниз по наклоненной палубе. Он катился, все вниз и вниз, и пучина уже была под ним, темно светилась рядом, и Вера, сцепив зубы, видела, как он скатился в море, – волна смысла его с палубы, быстро и просто, смерть выглядела очень просто, как всегда и везде: вода, и ветер, и назначенный срок. Вера смотрела, как Алешенька скользит все вниз и вниз, как палуба все круче наклоняется, кренится страшным последним креном, и вот уже человек бьется в волнах, еще ударяет руками, ладонями по соленой бешеной влаге, ловит соленую воду ртом, он еще пытается плыть, да вода слишком холодна, в такой долго не продержишься, – не проживешь. Алешенькина голова моталась над водой. Вера глядела, как он умирает: то погружается в воду, то всплывает опять, живой поплавок, – опять тонет. Вынырнул опять! Она поймала глазами его глаза. А он – ее. Он смотрел на нее безотрывно, смотрел навек. Навсегда. Он кричал ей глазами: не забудь меня! Не забудь! Прости хоть ты меня! Прости!

Его рот дрогнул, губы раскрылись, он закричал, Вера по губам его прочитала: «Ве-ра!» Он звал ее. Сейчас он нырнет и больше не вынырнет. Она схватила зрачками его последний взгляд. Он странно высветился последней, яростной радостью. Будто он встал за столом, за мощным пиршеством, и поднял над роскошью жизни бокал, этот свой любимый одесский коньяк, пять звездочек, и заорал: «За жизнь!» И Верины глаза вспыхнули, они вспыхнули слезами и ужасом, но она не видела этого.

Зеркала же не было рядом. Не моталось никакое зеркало перед лицом. Мотались и прыгали, и сшибались, и разлетались, как зеленые камни, волны. Орал с верхней палубы все тот же гулкий голос. Навалилась волна, окатила Веру с головы до ног слезами и солью. Море плакало и ярилось. Голову Алешеньки захлестнула вода, она еще мелькнула, дернулась, поторчала живым поплавком и исчезла. Вера вцепилась в крашеную железку другой рукой. Обеими руками держалась за железо. За жизнь.

\* \* \*

Не помнила, как буря утихла. Бора, дикая зверица, перестала терзать ледяными когтями зеленую шкуру моря. А ветер все не умирал. Вера, как привидение, пробралась в каюту. Там уже дрожали, сидя на жесткой койке, как воробы на стрехе, плотно прижавшись друг к другу, два парня, юные, почти подростки – а просто, должно быть, зверски худые. Они были очень похожи. Братья, видать. Светлые кудри вокруг тощих, с впалыми щеками, остроугольных лиц. И глаза ледяные, прозрачные, дно видно, зрачки будто режут тебя ножами.

Вера уселась напротив. Юнцы не заговаривали с ней. Они дрожали и молчали. Глядя на них, начала дрожать и Вера. Паром беспощадно, жестоко мотало на волнах. До штиля было еще далеко. В животе у Веры заурчало. Она вспомнила тот кофе в кавярне, и тот крепкий, царапающий глоток, как наждак, одесский коньяк. Ее одновременно и тошнило, и есть она хотела, и плакать, слезы уже лились, она их не вытирала, и сквозь слезы все смотрела, прямо смотрела в лица этим братьям, должно, близнецам, что сидели напротив.

Один из братьев не выдержал первым.

– Вам плохо?

Вера сплела пальцы на коленях. Удерживала внутри себя дурноту.

– Нет. Нормально.

Другой юноша вынул из кармана джинсов железную коробочку. В ней лежали, пересыпанные сахарным песком, аккуратно нарезанные лимонные дольки.

– Возьмите. Пососите. Лимон помогает.

Оба парня говорили по-русски с акцентом.

Вера осторожно, как живого жука, взяла двумя пальцами из коробочки кусок лимона, засунула в рот, сосала. Кислота бросилась ей в голову, не хуже коньяка.

– Спасибо.

– Прошоме, – ответил первый отрок.

Вера долго не думала.

– Вы русские?

– Литовцы, – сказал второй.

– В Израиль... – Хотела спросить: «на пээмже», да смех сквозь слезы ее разобрал. – В гости?

– Visiems laikams, – сказал первый. – Навсегда.

Вера проглотила лимон. Он рыбкой проскользнул по ее потрохам.

– У вас там... родители?

– Никого, – сказал второй. Воткнул пятерню в растрепанные светлые кудри. – Но нас встретят.

– У нас там, – сказал первый, – эक्лесия.

– Что? – спросила Вера. – Кто?

Во рту было кисло. Тошнота отступила.

А может, просто море разгладилось под серым утюгом неба.

– Экклесия, – настойчиво, терпеливо повторил первый. – Цер-ковь.

Вера вспыхнула. Ощутила себя девчонкой, ребенком несмышленым; и вроде как ее за ручку ведут во храм, а она не знает, что такое храм и что у него внутри, и как там надо себя вести, жарко там или холодно, и горят ли свечи, и все ли там прощают, все ли грехи.

– Православная?

Второй улыбнулся. Зубы во рту у него стояли кривым частоколом, как кривой, покосившийся забор.

– Не-е-е-ет. Нет-нет! Это не наше. Это – чужое. У нас – своя.

Первый вытянул шею, как гусь:

– Да! У нас – истинная. Наш владыка – наместник Бога на земле! О нем мало кто знает, но придет время, и все узнают!

Перекрестился странно: обе руки сначала положил на лоб, потом на живот, потом развел в стороны, потом прижал к сердцу. И так сидел, блаженно закрыв глаза.

– О нем уже тысячи знают, – сладким голосом выпел второй мальчик. – Миллионы! О блаженном Андрее! Он незримо летает над землей и приходят к людям, невидимый, и сердцем их благословляет! Он – благовестник! Он несет великую любовь! Превышенебесную! Он – помазанник!

– И помазует всех нас, грешных, – первый сидел, все так же закрыв глаза, – сей любовью, как святым миром из золотого сосуда...

Во рту Веры стояла кислятина. Она дернула мокрым подбородком. Скосила глаза в иллюминатор: море укладывалось длинными, спокойными зелено-болотными пластами. Выглянуло солнце. Залило водный простор веселым изумрудным свеченьем.

Как и не было бури и смерти.

Слезы все лились и текли ей в рот. Она глотала их, как лимонный сок.

– Вы плачете? – участливо спросил второй юноша. – Чем помочь?

– Ничем, – шмыгнула носом Вера и утерла лицо ладонью. – У меня погиб... – Она не постеснялась вранья. – Муж.

Второй открыл глаза.

– Как?! Вот сейчас? В шторм?

– Его смыла с палубы волна, – с трудом сказала Вера.

Оба подростка поднялись. Потом опустились на колени. Так же странно, широко, смешно, будто обнимали кого-то после долгой разлуки, обеими руками перекрестясь, запели:

Блаженный Андрей, святой апостол грешной земли!

Приди, возлюби, исцели!

Святое солнце во тьме, апостол Андрей!

Прими в объятия ты грешную душу скорей!

Вера хотела им подпеть и не смогла. Горло перехватило. Она задохнулась в слезах. Мальчики вскочили с колен, сняли с нее ранец и уложили ее на каютную койку, привинченную к стене громадными железными болтами. Она отвернулась к стене и так лежала, молча, с мокрыми щеками.

## Олег РЯБОВ

Поэт и прозаик. Родился в 1948 году в Горьком. Окончил Горьковский политехнический институт имени А.А. Жданова. Работал в Научно-исследовательском радиофизическом институте (занимался проблемами поиска внеземных цивилизаций), облкниготорге, издательстве «Нижполиграф».

В настоящее время – директор издательства «Книги». Член «Российского Союза антикваров», «Национального Союза библиофилов». Главный редактор журнала «Нижний Новгород», редактор-издатель альманаха «Земляки».

Член Союза писателей России. Живёт в Нижнем Новгороде.

## ЧУДО С «ИСТОРИЕЙ» ПЛИНИЯ

Сколько лет, да нет – столетий: пять столетий и больше дарю людям возможность радоваться мудрости великого Гая Секунда Плиния Старшего, делюсь, благотворю. Меня благодарят, гладят, берегут, отсылают ко мне как к ответственному хранителю истины и мудрости. Ко мне обращались властители судеб и сумасшедшие монахи, наследники престолов и папские нунции, меня воровали и дарили, я была свидетелем бурь и пожаров, войн и революций и даже всемирных катастроф. За пять столетий я поменяла в качестве местопребывания немало замков и дворцов, дубовых шкафов в высоких кабинетах и пыльных стеллажей в заброшенных сараях – все перипетии моей судьбы невозможно перечислить в один присест, и ни разу мне не хотелось добавить ни слова к тем мудрым мыслям, которые я храню. А впрочем, и возможности не было.

Обратиться к печатному слову, которое заложено во мне так давно, как мало в ком на свете, заставило меня слегка переполнявшее уже изрядное время, но жарко вспыхнувшее лишь недавно желание разыскать сподвижников. Эти сподвижники или соучастники должны, по моим представлениям, разделить мою радость и восторг по поводу случившегося события; его трудно было бы вообразить даже с больной головой – такое бывает только наяву.

Когда в течение нескольких столетий, а это не важно – одного, двух, трёх, – всё равно долго! Так вот – когда долго живёшь на одном месте, прикипаешь к нему и начинает казаться, что все предметы вокруг родные: и книги, и посуда, и люди, и окна, и вид из окна. А книжный шкаф – так это вовсе твой родной дом.

Жизнь у такой рядовой в наше время безделицы, как книга, не вечна, а точнее – конечна. Хотя, безусловно, эта сентенция и не должна иметь отношения к таким артефактам, как я.

А я, как и полторы сотни таких же горемык, томящихся в специальных коробах, – мы уже не рассчитывали на благоприятный исход в своей судьбе, когда были брошены, а точнее, просто кем-то потеряны в опломбированном почтовом вагоне на богом забытом полустанке со сказочным названием Толоконцево. Кроме этого десятка коробок с уникальными изданиями, такими, что могут лишь присниться хранителям крупнейших библиотек мира: инкунабулами, эльзевирами и альдинами в кожаных и сафьяновых, марокеновых и пергаментных переплётках, в вагоне были забыты ещё тридцать ящиков с охотничьими ружьями самых-пресамых великих мастеров. Перде, Холланд-Холланд, Ланкастер, Антон Лебеда – эти звуки пьянят слух охотников-коллекционеров всего мира; всё оружие было старательно упаковано в специально сшитые чехлы и заколочено в ящики из бакелитовой влагостойкой фанеры.

Кто их отправлял, эти сокровища, в 1945 году из поверженной и заливающей раны Европы и кому они предназначались в заволжских лесных краях – не важно. Хотя когда-нибудь для публики будет обнаружено имя спасителя и озвучено будет имя того, кто сохранил для будущих поколений эти реликвии – какой-нибудь капитан Егоров или сержант Бубликов. А нам, обитателям этих коробок и ящиков, хотя и любопытно, но неизвестно, кто планировал стать хозяином вроде бы обычных военных трофеев, да только не получилось. Никто уже не мог получить по документам свои ценности и разгрузить вагон на маленьком заволжском, таёжном полустанке Толоконцево. А потому и стоял он бесхозный, загнанный в коротенький тупичок, начиная быстро ржаветь и гнить, скрытый под огромными лапами вековых сосен.

Если бы не мальчишки...

Конечно, мальчишки спасли все эти богатства.

Как это всегда у мальчишек бывает: давай проверим? давай посмотрим? а может, нам это надо? И вот уже через пару недель во всех деревнях округи все мужики, что на зверовый промысел в лес ходят, стали обладателями лучших в мире охотничьих ружей, да таких, что «Зауэр три кольца» с оптическим прицелом с просветлённой оптикой считался чем-то не больно уж и раритетным. Я про всё это узнала уже позже, когда успокоилась на своем новом месте в областной научной библиотеке, в отделе рукописей и редких книг.

Наш отдел тогда посещали только избранные читатели, и такого здесь иной раз слушаешься, что лучше бы и не слышать. А у наших академиков и писателей, хирургов и художников только охотничьи интересы и пересекаются – так я и проведала про этот секрет с пропавшими ружьями из нашего вагона. По разговорам, было всё это оружие частью коллекции Геринга. Хотя, по-моему, почти все замки по всей Европе к определённому времени были записаны на Геринга, чтобы на этот счёт даже не задумываться. А заодно и всё, что было в замках, на него было переписано: картины, книги, посуда, серебро, бронза, мебель, коллекции, собаки, лошади – всё на Геринга!

Но вот если коллекцию охотничьих ружей ждала печальная судьба – ну что такое оказаться в руках деревенских охотников-промысловиков? Это как гвозди заколачивать логарифмической линейкой! Нам, книгам, повезло в этом плане куда больше – повезло тем, что самый любопытный мальчишка, раздракотивший первую коробку с европейскими ин-

кунабулами и вытащивший оттуда меня, пухленький томик с латинской надписью на титуле, выведенной извилистой нечитаемой готической вязью: «Естественная история Плиния Старшего», изданный в Венеции в 1499 году, обладал настоящей мальчишеской фантазией. Не только мой, цвета слоновой кости, матовый пергаментный переплёт ввел в трепет юного похитителя книг, заставив отнести завораживающий раритет к своему школьному учителю, но и та же самая фантазия его сразу занесла в далёкое Средневековье, откуда и действительно была я родом. А если ещё прибавить, что для мальчишки возможные разгадки рыцарских дворцовых интриг таятся под моими крышками... Понятно, что учитель истории мог стать проводником в мир средневековой Европы для любопытного мальчика.

Нас спасали в декабре, когда мороз уже сковал реки и озёра. Несколько сотен коллекционных стволов, побывавших на многих королевских охотах, а может, и побывав в руках самого рейхсмаршала Геринга, моментально разбежались по окрестным заволжским деревням и были до поры до времени старательно припрятаны местными мужиками в маленьких баньках, занесённых по самые крыши сугробами. А вот десять коробок с эльзевирами, альдинами и прочими книжными раритетами из венгерского городка Шарошпатак, из библиотеки местного замка, служившего в течение столетий родовым гнездом князей Ракоци, владетельных правителей Венгрии, были аккуратно уложены на сани и конной тягой отправлены в центр, в областную научную библиотеку. Это было действительно спасение: ведь не только для картин или для мебели страшны перепады температур и повышенная влажность – перезимовать в вагоне, в лесу, посреди болот, было бы гибелью для такой коллекции, частью которой являлась и я.

Мы, исторические артефакты с возрастом не в одну сотню лет, очень чувствительны к окружающей ауре. Потому, пока мы несколько месяцев находились в вагоне, нам была неясна дальнейшая судьба: либо влажность, грибок и гибель, либо нас спасают. Спасли! И наконец-то появилась надежда на будущее, потому что книгохранилище наше новое располагалось в корпусе, которому, судя по витающим в нём флюидам, тоже было немало лет. И в течение последних ста лет в этих стенах не в карты играли и не шампанское пили, а размышляли о будущем человечества: композитор Милий Балакирев и историк Бестужев-Рюмин, философ Герман Лопатин и поэт Анатолий Мариенгоф. Да мало ли их, замечательных людей, побывало в этих стенах, а благородные мысли в серьёзных количествах иногда определённым образом материализуются и всегда ощущаются долгожителями.

Мы с подругами, книгами из венгерского вагона, расположились в четырёх книжных шкафах, и пусть соседи и соседки наши были в большинстве своем на церковнославянском языке, но тоже порядочные старухи, хотя и не ровня мне; и они были уверены в своем будущем, а тем успокаивали нас. Было понятно, что мы попали в депозитарий и отсюда нас уже вряд ли кто-то выковырнет.

Больше всего меня беспокоило в последние полгода, с тех пор как мы расстались с замком Шарошпатак и находились в безвестности в опломбированном вагоне, то, что рядом со мной нет практически моей родной сестры, книги «Комедий» Аристофана, изданной и напечатанной великим Альдом Мануцием в той же Венеции, но на год раньше меня, в 1498-м. Что нас роднило? Нет, не тексты – тут родства не было и в помине, а то, что переплетали нас в одной мастерской и один мастер,

но средневековые мастера часто оставались анонимами. Это я его помню, да, может, ещё пара-тройка таких же престарелых дам, как я – и его мозолистые подагрические пальцы, и кленовый верстак, и массивный, уютный пресс. Мастер готовил мой переплёт на века и не ошибся!

Пергамент, в который меня обернул переплётчик, был выделан из кожи телёнка и стоил немалых денег. И всё же это копейки, если представить, что до того, как книги начали печатать на бумаге, их переписывали вручную и на изготовление только материала для одной такой уники уходило до ста телячьих шкур, выделанных до белизны. Выделяли пергамент и из кож овец, и из козьих кож – только из ослиных шкур не получался подходящий пергамент. Может, потому из средневековья и тянется примета, что осёл и книжная мудрость вещи несовместимые.

Так вот, мастер переплетал нас двоих: меня и книгу «Комедий». И судьба нас очень редко и очень ненадолго разводила за эти почти четыре с лишним века. Мы не то что сроднились с ней – мы почти срослись, и очень неуютно чувствовала я себя, когда кто-то снимал эту книгу Аристофана с полки: холодно становилось и одиноко. Хотя таких случаев, помнится мне, было не больше, чем с десятков раз, а за последние двести лет и ни разу. И, если каждый из этих случаев достоин отдельного рассказа, то про один из них я всё же упомяну.

Самый знаменитый европейский авантюрист и проходимец Сен-Жермен имел несчастье явиться на белый свет в нашем замечательном и удивительном замке Шарошпатак. И если про матушку его никто и никогда не вспоминал, то вполне возможно, что его реальным физиологическим отцом был великий князь Ракоци-второй. По крайней мере, он такой заботой окружил мальчика, что грех было бы кому-то попенять на невнимание к нему. Мальчик воспитывался как наследник самого высокого и значительного дома Европы, и никаких претензий к учителям его не могло быть даже в помине. Мальчик не только был, как и любой дворянин эпохи, обучен придворным манерам, но и фехтованию, выездке, охотничьим хитростям; в совершенстве он овладел и всеми европейскими языками, и арабским. Вот кто стал главным читателем библиотеки замка Шарошпатак, и он, безусловно, был гениальным мальчиком, что и подтвердилось в будущем. Я хорошо помню его тонкие и ласковые пальчики.

Однако в десятилетнем возрасте по неведомым мне причинам был он отдан на воспитание и попечение в дом герцога Джованни ди Медичи во Флоренцию с потерей имени и титула. Всё, что позволено ему было с собой взять, это часть книг из любимой его замковой библиотеки. Так сто томов, а в том числе и я, и другие древние римляне и греки, были сняты с полок и старательно упакованы и подготовлены к отправке. Но что-то в планах необъяснимое произошло, и спустя месяц мы вновь оказались на старом месте, на родных стеллажах. Да, может, оно и к лучшему: путешествия не идут на пользу великим артефактам.

Пока в фанерных ящиках мы колесили по Европе, пока в ржавом вагоне нас прятали в тиши сосновых заволжских лесов, у меня ещё теплилась какая-то надежда – что моя родная, почти единоутробная (переплётчица-то у нас из одного телёнка!) найдётся в каком-нибудь другом, таком же заблудившемся вагоне и встанем мы снова с ней бок о бок.

И жизненный опыт мне такую надежду подавал.

Мне хочется забыть, как два писателя привели к нам однажды в хранилище человека с фамилией Ракоци, так мне послышалось, но это был

Матиас Ракоши; а я всё равно подумала, что он – наследник великих князей, истинных моих хозяев. Но нет – хотя этот человек и был некоторое время диктатором и хозяином Венгрии, а тут, в этом русском провинциальном городе, находился в заслуженной ссылке. Он брезгливо рассмотрел корешки переплёттов, но даже не попросил открыть книжный шкаф. Да и фамилия его настоящая оказалась на самом деле не Ракоши, а совсем другая – и не выговоришь. Он и фамилию-то эту звонкую, которую знала когда-то вся Европа, присвоил.

Я не буду в подробностях описывать, как один из руководителей депозитария однажды распорядился составить список трёхсот наиболее ценных изданий, хранящихся в библиотеке, и я была в этом списке, а цель... Цель была очевидна! После произошедшего у них в стране переворота легко осваивалось общенародное добро. Но старая-старая старуха, которая, как и многие другие старухи на свете, верила в справедливость и светлое будущее (её все сотрудники уже бабой Надей звали), набралась смелости и лично отправилась к представителю самого главного органа безопасности страны, который мог решить все проблемы, и этого временного директора библиотеки убрали.

Был и прорыв отопления, когда чуть не погибли в подвале офорты великого Рембрандта, но нас это не коснулось. Были и крысы, которым, слава богу, – не удалось попасть в наш дубовый, особо охраняемый шкаф.

А потом произошло то, во что трудно поверить: нас всех, всю коллекцию, почти полторы сотни томов, по списку упаковали, да так старательно, как детей новорожденных пеленают, и отправили в Венгрию, в наш родной замок Шарошпатак. Кто и с кем договаривался об этом возврате – не знаю. Кто, и кому, и какие деньги заплатил – не знаю. С кем и когда там президенты шампанское пили, и кому и какие ордена и медали вручали, и что они обещали друг другу – не знаю. Правда, здание библиотеки, в котором мы полвека прожили, подлаталось неплохо на том возврате; и реконструкцию, и переоборудование полное провели в нем.

А вот в замок мы уже не попали, а разместили нас в национальном депозитарии, где и положено нам по статусу современному находиться. Только не к тому я всю эту историю рассказываю. Просто моё место в шкафу на полке оказалось, как никто не мог бы никогда и предвидеть, рядом с сестрой моей, древней альдиной, венецианским изданием «Комедий» Аристофана 1498 года. Как же этот капитан Егоров или сержант Бубликов (не знаю!) по небрежности выронил из рук одну эту книжечку да и запихнул её сапогом злобно под шкаф, где она и провалялась чуть ли не с год, пока её не вытащили оттуда и не определили на должное место!

Как мы с ней обнимались и целовались, если фигурально выражаться, по-человечески. И вспоминаем мы с ней теперь вместе лишь детство наше: в старости детство положено вспоминать.

Так вот – чудеса не только в сказках случаются.

## АРИФМЕТИКА

Иван Спиридонович Стулов был человеком непростым – ох, не прост человек любой. Торговал Стулов на радиорынке, торговал он книгами, и звали его там все просто Сутулый: по фамилии, скорее всего, потому что сам-то он нормальный был, не гнулся. Причин, которые выдерживали его каждый день из дома и вели напрямик на рынок, было несколько. Во-первых, конечно, «общество», как они сами себя называют, персоны, торгующие на этом самом радиорынке: и поделиться невзгодами тут можно, когда все друг друга знают, и обсосать новости городские, и посоветоваться в юридическом или экономическом плане с людьми опытными. Во-вторых, конечно, прибавка к пенсии, пусть и небольшая, но ведь и прожить на простую пенсию теперь непросто, если дети не помогают, а детей и внуков у Стулова уже давно не осталось поблизости, и никого уже не осталось. Было и в-третьих, но не любил Стулов про это «в-третьих» думать, очень боялся он всерьёз озаботиться.

А боялся Сутулов Иван Спиридонович озаботиться судьбой Женьки-солдата, который вот уже с год как прилип к нему и не отходит от него буквально ни на шаг, и ведь это почти каждый день. Женька-солдат, а фамилия его Бунтов, парень и хороший, и добрый, и услужливый – хотя это он для Стулова парень, а вообще-то он уже армию отслужил, хотя и не до конца: комиссовали его после того, как на учениях гранатомёт почти над ухом у него взорвался. С тех пор глаз у него один косит, и голова иногда дёргается, а иной раз и с рукой правой неполадки – тянет её куда-то в сторону. Вот этот Женька-солдат каждый день помогает ему и книжки на столике разложить, и после торговли до дому их дотащить, а если надо куда-то ненадолго от рабочего места отлучиться, то он и постоять за Ивана Спиридоновича и постеречь книжки может. Живет Женька-солдат в детском саду, точнее в кочегарке при нем, ибо работает он ночным сторожем в этом учреждении и одновременно дворником ещё. Там, в детском саду, прямо и ночует: то в кочегарке на столе, то у директора в кабинете на диване. Женька не пьет, не курит, и это хорошо, а вот то, что он жениться не собирается и к женскому полу относится просто с отвращением, это волнует Стулова. С другой стороны, чего волноваться – миллионы нормальных мужиков на свете не охваченными женским полом живут. Ну, и кроме этого недостатка, было в Женьке ещё что-то ущербное. Правда, одевается Женька поприличнее Стулова: Стулов-то сам всегда в шобонье каком-то затрапезном, старом да с чужого плеча, а иной раз и заштопанном. Женька-солдат и зимой, и летом в берцах спецназовских, в тельняшке, в бушлате матросском новом, а на голове или шапочка вязаная, или пилотка со звёздочкой – в общем, понятно, что «солдат».

Книжники на радиорынке целый ряд занимают, торгуют: у кого – детективы с фантастикой из мусорных ящиков да из вторсырья, у друго-

го – всяческие справочники по ремонту автомобилей и телевизоров, у третьего – брошюры по медицине. У Ивана Спиридоновича – детские книжки. Это ходовой товар – «Конька-горбунка» да стихи Маршака с рисунками Лебедева всегда покупать будут. Каждой мамаше кажется, что в её детстве книжки были в сто раз лучше и интереснее, чем те, что в магазинах нынче продают, или те, которые какому-нибудь там Александру Блоку ещё маленькому сто лет назад читали. Вот и ищет эта мамаша для своего деточки ту книжку с теми картинками, которая была у неё у самой когда-то давным-давно. А у кого такую книжку найти, кроме как у Ивана Спиридоновича! То, что Иван Спиридонович сам в затрапезном и неухоженном виде всегда на рынке стоит, в зачёт не идёт, и покупатель к нему подходить не побрезгует; зато книжечки у него всегда на подбор: и сохранность уникальная и издание такое, что лучше нет, и историю про эту книгу расскажет.

Но был у Ивана Спиридоновича и ещё один тайный бизнес.

Это сейчас ему восемьдесят, а пятьдесят лет назад был он преподавателем в педагогическом институте, науки общественные студентам преподавал. Бес попутал – подписал он когда-то коллективное письмо вместе с глупыми студентами «Руки прочь от Чехословакии», где требовал от правительства Советского Союза вывести танки из оккупированной Праги. Студентов-то из института повыгоняли, а Стулова вызвали куда следует и объяснили там в кабинете очень даже громко и вслух (а официально – вроде как негласно), что учить детей он больше никогда и нигде не будет, велели сидеть ниже травы и тише воды, потому что предупреждений ему тоже больше не будет, а будет наказание. Слава богу, разрешили ему киоскером работать от книжного магазина «Знание», и стал он книгами торговать в вестибюле родного пединститута.

А вот уважение к себе в определённых кругах этой историей он заработал: официальный статус его упал до предела, а социальный – ой как вырос. Около его киоска можно было теперь постоянно видеть доцентов, профессоров, которые не только книжки покупали, но и разные умные беседы беседовали. Вот отсюда-то и зародился отдельный тайный бизнес Ивана Спиридоновича – вхож он стал в «сталинские», большущие по тем советским временам, квартиры старой городской профессуры с их богатыми профессорскими библиотеками.

Без зазрения совести мог теперь Иван Спиридонович попросить у какого-нибудь доцента или декана продать ему сборник «Вехи» со статьями Бердяева и Булгакова или рукописную старообрядческую книгу семнадцатого века. Нимб страдальца и диссидента следовал за Стуловым по пятам много лет, и, желая приобщиться к свободомыслию, многие симпатизировали ему. Хотя почему и не симпатизировать – человек он был и порядочный и интересный.

Но вот то, что у Ивана Спиридоновича были не только высокообразованные знакомые с библиотеками, собиравшимися не одно поколение, но и клиенты, продолжавшие собирать библиотеки с уникальными изданиями, в городе мало кто ведал. И был одним из таких клиентов киоскёра Стулова Болеслав Сергеевич Чихир из Донецка, человек тоже замечательной судьбы. Замечательна она была тем, что умудрился он когда-то в тридцать пять лет стать заместителем областного управления торговли. В конце семидесятых, когда проводилась кампания по борьбе с экономическими преступлениями, он честно получил свои семь лет лагерей, но как-то хитро сумел отсидеть только два, сохранив при этом и друзей, и связи, и накопления.

Дочка Чихира училась в том же пединституте, где в качестве киоскера работал Стулов. Почему она так далеко забралась на учёбу от родного Донецка, непонятно, только заезжал батька родной её навещать очень даже регулярно. И познакомился бывший ответственный работник советской торговли с киоскёром Стуловым и сдружился, потому как интерес у них оказался обоюдным: у киоскёра было изрядное количество редких изданий, а Чихир не мелочился и, когда платил, не стеснялся – собирал он петровские издания, то есть первые русские книги гражданской печати, начиная с замечательной «Землеметрии». Конечно, он с удовольствием покупал и книги на церковнославянском языке, но только более ранние и желательно иллюстрированные. Так, сначала Стулов продал Болеславу Сергеевичу рукописный Апокалипсис семнадцатого века с сотней замечательных акварельных рисунков на отдельных листах в тексте, а потом и первое издание «Грамматики» Мелетия Смотрицкого, обе книжки удалось Ивану Спиридоновичу выкупить у вдовы профессора Волжского. Когда нужда подпирала, она сама приходила к киоскеру в институт и просила зайти в гости на чай. Стулов шел и покупал.

Но всегда помнил Стулов, хотя и не заикался из осторожности, то, что где-то в шкафу у покойного профессора Волжского хранится уникальный экземпляр «Арифметики» Леонтия Магницкого 1703 года издания, да ещё с пометками и примечаниями автора. Кто такой Магницкий, рассказывать – время немалое и особое надо: любимчик Петра Первого, предтеча Ломоносова, сам обучился грамоте и математике, а сколько слов нужных он придумал и ввел в русский язык: дроби, делители, множители и так далее, целый словарь! И если самую первую «Арифметику» ещё можно посмотреть и полистать в какой-нибудь солидной библиотеке, то разобраться, что там замечательный русский математик, обласканный царём-реформатором, на полях книжки своей нацарапал, было бы интересно. Интересно самому эти каракули разобрать.

Рассказал Стулов про вдову и про «Арифметику» Магницкого клиенту своему из Донецка совершенно не подумавши: так, болтали о чём-то постороннем, а он и ляпнул про уника, что хранится в доме у вдовы профессора Волжского. А через три часа тот купец донецкий с аккуратно упакованной книгой уже стоял в вестибюле института рядом с киоскёром и как ни в чём не бывало, совсем по-детски и даже по-идиотски улыбался.

– Купил! – сказал Чихир.

– Чего купил? – спросил Стулов.

– Магницкого купил.

– Как купил?

– Да так – пошел и купил. Вы же мне подсказали. Спасибо.

– В смысле? Чего я подсказал? Какое спасибо?

– Ну, спасибо – это я так. Я вам, конечно, заплачу – не обижу. Вы же меня знаете. Всё равно вы же эту книгу для меня хотели приобрести. Так что же время терять. А вы свой процент получите – не волнуйтесь!

– Вы, Болеслав Сергеевич, думаете, что мне, кроме как процента и денег, ничего не интересно и не надо в мире? Так вот, вы ошибаетесь. Это как самому выловить рыбку к столу или в магазине мороженую купить. Существует процесс, а есть и результат. Вот вам результат важен, а мне процесс. А вы всё перепутали и испортили.

– Да ничего я не испортил, сейчас денежки получите и успокоитесь.

– Да, денежки получу, а вот успокоюсь ли – не уверен.

– Да что же за канитель такая, Иван Спиридонович? Я же ничего ни у кого не украл!

– Такая простота хуже воровства! Или вы вообще уже ничего не понимаете?

Расстались сердито: Стулов деньги взял, а руку Болеславу Сергеевичу не пожал. Тридцать лет прошло с той поры, а вот всё тянет там, изнутри, Ивана Спиридоновича какая-то неудовлетворенность, тридцать лет печалит его тот случай. Приезжал к нему тот Чихир где-то через пару месяцев после случая с «Арифметикой», да только не стал Стулов с ним общаться – так и сошла дружба их на нет.

Женька-солдат любил книги. Он любил их по-особому: не читать он их любил, не дома, которого у него не было, по полкам и шкафам расставлять, как многие, а любил он узнавать всё любопытное и интересное, что рядом с книгами случалось. И интересовало его всё про писателей и про издателей, про переплёты и про бумагу, и хотя и не знал он такого слова, как артефакт, но относился к книге как к произведению искусства. Беря в руки книжку, он сразу обращал внимание на шрифты, поля, колонтитулы, форзацы – по этим элементам он определял качество книги, а текст – он и в другом издании будет тем же текстом.

Откуда такое особенное отношение к книгам взялось у Женьки-солдата, не понимал Стулов, но и спрашивать у него про детство и про родителей не отваживался. Хотя именно на этой книжной теме и сошлись они, и сдружились. Знал про книги Стулов Иван Спиридонович много чего интересного, и прикипал Женька-солдат к старику, развесив уши и открыв рот. Второй год они вот так уже дружат: Стулов за столом с разложенными книжками сидит, а Бунтов – на пустом ящике рядом.

Иван Спиридонович педагогический опыт имел, и излагал он для Женьки с любовью свои лекции, как их сам называл. У таких спонтанных лекций могли быть совершенно странные темы: и как резались гравёрные доски на меди или на кипарисе, или как фальшивые футуристические альманахи вроде «Утиног гнёздышка» или «Пощёчины общественному вкусу» в Америке печатали, или про то, как автографы великих писателей и других замечательных деятелей подделываются, или чем сафьяновые переплёты отличаются от марокеновых. Да что там – много чего любопытного знал Стулов.

Однажды рассказывал Иван Спиридонович Женьке про реформу русского языка, которую провёл Петр Первый, и как новый гражданский шрифт ввёл, и как первые русские гражданские литеры отливали для него в Голландии, и как первые книжки новыми шрифтами печатались. А когда он стал Женьке уже отдельно про «Арифметику» Леонтия Магницкого говорить, про первое издание с авторскими правками, и про то, как он не смог её купить, чтобы самому полистать да почитать, что там на полях наш первый математик написал, а купил её некий торговец из Донецка, – Женька вдруг напрягся.

– Иван Спиридонович, а вот не говорил я тебе – а ведь я сам из Донецка!

– Как из Донецка? А здесь у нас чего же ты делаешь?

– Девушка у меня здесь жила, то есть живёт, но она уже как бы и не моя. До армии мы с ней дружили, потом переписывались, а два года назад, когда комиссовали, к ней я приехал, а она уже замуж вышла к тому времени, а сейчас уже и колясочку возит. Что я ей жизнь-то буду портить, под ногами мешаться да напоминать о себе – не хочу. Как раз хотел тебе сказать, что на Донбасс я уезжаю, бабушка у меня там живёт,

вон ведь какая каша там заварилась, надо помогать. Может, и повоюю ещё. Я ведь в армии-то не писарем при штабе был – кое-что умею как солдат. Поговорил тут с журналистом одним, который уже побывал в Донецке в этом году и снова туда собирается. Надо ехать. Так что не поминай меня лихом и спасибо за интересные беседы.

Пожалел Иван Спиридонович первый раз в жизни о том, что нет у него ни мобильного телефона, ни компьютера, когда к нему поздно вечером, спустя пару месяцев после отъезда Женьки, явился незнакомец – молодой парень, вежливый, только что не побритый, и в комнату отказался проходить

– Я на минутку. Меня Игорь Грач зовут, я – журналист. Я от Евгения Бунтова – знаете такого?

– Конечно, знаю, Женьку-солдата.

– Он сказал, что у вас нет ни мобильного телефона, ни компьютера.

– Да вот – нету!

– Как же вы живёте-то?

– Да вот так и живу – не хуже других. Не тани ты – чего там с Женькой?

– С Женькой всё в порядке, раненый он, и не больно сильно, в госпитале лежит, выкарабкается. Через недельку, пожалуй, ходить будет. Просил он вам пару слов передать, очень просил.

– Какие такие два слова?

– Прямо как в детективе про шпионов. Он велел сказать вам так: «Я её нашел, как дважды два! Она у меня!»

– Господи! Вот ведь сумасшедший Женька наш. Войдешь ли, Игорь, хоть чайку попить?

– Нет, нет – я побежал. Мне пора!

## Олег ПОГАСИЙ

Родился в Ленинграде в 1955 году. Окончил Карагандинский политехнический институт. Работал в Ленинграде инженером в строительном тресте. В настоящее время фрилансер. Публиковался в периодических изданиях России, Украины, Литвы, Израиля, в журнале «Дискавери». Живет в Санкт-Петербурге.

## ТРЕК

### 1

Световое табло “fasten belts” погасло; и в салоне впереди сразу кто-то уверенно откашлялся. А в хвосте за шторками как будто передвинули тяжелый шкаф, и что-то задребезжало, и что-то упало... Самолет набрал высоту. Андрей щелкнул застёжкой и отбросил ремни, которые тут же, будто змеи, утащились в норы. «Потом нащупывать, выдерживать их из-под себя, как из-под земли», – кисло усмехнулся и достал из накладного кармана брюк милитари небольшую книжку. Откинул кресло, дожимая спиной до упора. Но почувствовал двоеточие коленей, предупреждающий знак, что мешает, доставляет неудобства. Поелозил по спинке и, опустив плечи, обмяк в кресле. Хотелось стянуть туфли. Рядом никого. Салон полупустой. Но все-таки не один – качнулся назад и опять уткнулся в приговор коленей. Вдохнул, выпрямился, положил книжку на кресло рядом, пропустил три пальца под резинку, стягивающую хвостик белесых волос, и, разжав ладонь, высвободил их. Мотнул головой – волосы приятно пощекотали шею и рассыпались по плечам. Мотнул еще. Собрал волосы в кулак, натащил на них резинку, оттянул ее, перекрутил разок, просунул хвостик. И хлопнул резинкой. Взял книжку, все же сбросил туфли, отвалился на кресло. «Ну и что же там дальше, невероятно всё это... Постояльцы “зоны смерти”?!» – с жаром раскрыл, отыскал страницы и с чувством провел по ним ладонью, да так, что хрустнули косточки у этих так забирающих историй.

«Ник протер покрытое пухом снега стекло циферблата – стрелки часов показывали 3.30. Видимость была превосходной. Редкие лиловые тучки с огненной каймой держались чуть в стороне. Лунный свет заливал всё вокруг. Полная луна висела совсем рядом. “Чего глядишь, – удайся о неё”, – неуверенно поднял голову Ник. “И неудивительно, – сверил он по альтиметру высоту – уже за 7000 метров”. Снег светился. Тьма искала спасения, уползая в расщелины; роилась, клубилась

в пропастях, выглядывая глубоко оттуда из-под своих косматых бровей. На ближних скалах в трещинах блестел зеленоватый лед, застывший водопад. “И если воткнуть в него альпеншток и резко провести вниз – полетят брызги!” – мелькнула у Ника шальная мысль. Но он тут же её отбросил: “Не расслабляться, не расслабляться. Высота нешуточная”. В разреженном воздухе на всем лежит отпечаток сверхреальности. Кажется, и материя – дышит. Почти живая. С ней можно даже, по забывчивости, и заговорить. “Концентрация на шаге, только на шаге, – и ничего постороннего. Всё лишнее – в сторону. Высота нешуточная”, – с ритмом шагов вбивал в себя Ник, поднимаясь из четвертого лагеря в пятый, держась за веревку, на сто пятьдесят футов закрепленную на маршруте. Но не прошло и получаса с начала подъема из лагеря, как он вдруг почувствовал... за ним кто-то идет. “Не поддаваться, не поддаваться на эти провокации ума и шатания нервной системы, ничего лишнего”, – одернул себя, остановился, ступнями выдолбил место на крутом склоне, раздирая кошками лед. Но к его затылку будто приложили руку. По телу разлилось тепло. Но с холодящими душу мурашками. Нику стало не по себе. Он съехался, втянул шею в плечи, слегка покрутил головой и резко обернулся. Позади, футах в ста, держась за ту же веревку, по колени в снегу стояла темная фигура. Ник замер. “Не обманулся, обычно предчувствие – лжет, а здесь – в точку. Как знал! Но что это, или кто?” – крепче сжал веревку Ник и еще раз-другой вонзил кошки в лед. “Двинулась!.. Двинулся!” – Ник инстинктивно дернулся навстречу. “Нет! – показалось, стоит как вкопанный!” – подался Ник назад. “А может, кто-то из команды старается его догнать?” – ухватился за спасительную мысль, как за веревку на отвесном склоне. Стал всматриваться: руки, ноги, человек. “Да, похоже – человек; каска, каска с фонариком, фонарик светит. Нет! – это не фонарик, а звезда, одинокая звездочка в небе”. Ник крикнул: “Э-э-э-эй!” – и махнул рукой. Тишина. Вслушался в тишину. Тишина. Такая глубокая и бесконечная, что будто слышно, как снежинки планируют на комбинезон. Ник повернулся, пристегнул карабин к веревке и медленно полез дальше. Через несколько минут остановился. Повернулся. Темный человек держал дистанцию, не отпустил, увязался следом. Стоял в точности, как и раньше, как в остановившемся кадре. “Ну ладно, ладно, посмотрим, что будет дальше”, – отвернулся Ник и продолжил набирать высоту. Дойдя до громадного камня, вросшего в склон, он опять бросил взгляд назад. Темный преследователь сохранял статус-кво. “Приклеился!” – зажмурился на секунду Ник и нервно покачал головой. Всё это выглядело очень странным: как будто Ник тащил за собой этого темного. Передвигал его вместе с собой. Он идет – тот идет. Он стоит – тот стоит. Впрочем, в следующую раз показалось, что “этот” стал ближе... Но, когда в очередной раз Ник выдохнул в обжигающий горло воздух с отчаянием: “Ну! Что, что там?!” – и развернулся – никого не было. Весь склон просматривался хорошо. Серебристая простыня снега, застелившая весь кулуар до лагеря внизу, разделенная наполовину веревкой, была как на ладони. Ник ощутил блаженную пустоту внутри себя, будто с души свалился камень. Он дернул за веревку. Снежная пыль взметнулась и нырнула в тишину. Темный человек исчез. Словно растворился в лунном свете.

Дойдя к шести утра до палатки, Ник первым делом связался по радиции с четвертым лагерем. На его пространственные расспросы ему сообщили, что ни одна живая душа, кроме него, этой ночью и утром не выходила к пятому лагерю. А значит, человек, которого видел Ник, не был

из их команды. И что тогда остается? Других же команд здесь попросту не было...

Вот что по этому поводу говорит Крис, руководитель британской экспедиции: “Ник находился не так уж высоко, чтобы стать жертвой галлюцинации. У него была хорошая высотная акклиматизация. Кроме того, он отличается аналитическим умом математика.

Я полагаю, что произошел интересный психический феномен: перемещение во времени. Он вдруг стал способен видеть события, произошедшие здесь двумя годами ранее. Тогда шерпа Джанбо работал вместе с Ником, а год спустя на этом же склоне шерпа погиб в лавине, когда поднимался с японскими альпинистами”.

Но у самого Ника на сей счет несколько иное мнение: если на то уж пошло, отчего бы не предположить, что дух погибшего в лавине шерпы хотел по старой памяти о чем-то попросить или даже предупредить его».

– Чай, кофе, сок? – миловидная стюардесса подкатила свою волшебную, опускающую на землю тележку к креслу Андрея и, сделав ямочки на щеках, в ожидании улыбнулась.

– Что? – нахмурился Андрей, и поднял на неё отвлеченный взгляд.

– Чай, кофе, сок? – повторила стюардесса, и, развернув тележку углом к Андрею, капризно надула верхнюю губку.

– Да, да, конечно кофе; только черный, если можно, – спохватился Андрей и отложил книжку в сторону.

– Почему же нельзя? – стюардесса слегка втянула щеки, придав лицу строгости, и, сняв верхний позвонок чашки с длинного столбика чашек, надетых друг на друга, пустила в неё из блестящего кофейника дымящуюся струю и подала. Андрея поблагодарил кивком и, вдохнув кофейный аромат, сделал глоток. Он всё еще находился там, на ледяных безжизненных склонах Эвереста, и вместе с Ником пристально всматривался в преследователя, ломая голову в надежде высветить суть происходящего. Что это? Откуда? И почему? Пролить хотя бы крупицу света в потемки души, если таковая имела у этого субъекта, явившегося ниоткуда и сгинувшего в никуда. Сделав ещё глоток, поставил пластиковую чашку на выдвинутый столик и уткнулся лбом в стекло иллюминатора. За бортом проплывала ночь. Зарницы сигнальных огней срывались с крыла самолета. Но земля была тиха, тиха и задумчива. Ночной океан, и крохотные проблески жизни на самом дне. Андрей ставил себя на место Ника, примерял на себя его шкуру: как бы он, да что бы он? – и это были не романтические грозные облака диванного мечтателя, нет! Он задумал пройти трек к базовому лагерю Эвереста! Один! И вот сейчас летит через Евразийский континент в самое сердце Гималаев. Ему предстоит подняться почти на пять с половиной километров. Миновать стометровые пасти трещин. Пройти узкими тропами по краю бездонных пропастей. Испытать жесточайшие ветра. Пережить кислородное голодание. В непальской путеводной карте этот маршрут заявлен, как extreme trekking. Но большее волнение вызывала в нем мысль о той самой «зоне смерти», откуда и спускаются навстречу альпинистам эти загадочные тени. Это будоражило кровь, от этого перехватывало дыхание. Потусторонний холодок пробрался за воротник рубашки и скользнул по телу. Андрей невольно дернулся, втянул живот, поёжился. Недовольно глянул на панель с кондиционером над собой. «Но во всех этих случаях прослеживаются одни и те же детали;

и пришельцы, вышедшие из небытия, все они схожи, одна и та же пьеса получается, – размышлял он, – но с вариациями от разных авторов». Он бросил крутить сопло кондиционера, отвернул его в сторону и потянулся за книжкой.

«Шерпа Пемба возвращался с вершины Эвереста после успешного восхождения. На высоте 8300 метров он решил задержаться на пару минут, чтобы согреться чаем. “Успею засветло спуститься к Южному седлу”, – бросил шерпа мимолетный взгляд на солнце, похожее на прозрачную льдинку, уже скользящую вниз, и сбросил рюкзак на снег. Из-за недостатка кислорода здесь долго не может находиться ни одно живое существо, и шерпа торопился. Внизу, в долине, у него семья. Он хорошо заработал, прокладывая путь к вершине клиентам своей фирмы. Шерпа ходит быстро. Раза в три быстрее своих клиентов. У него, как говорят европейцы, и состав крови другой. Его предки пришли сюда с Восточного Тибета, из провинции Кхам, триста лет назад. Но и в Тибете, и здесь, в районе Кхумбу, почти вся их жизнь протекает высоко-высоко, над морем облаков; где в отдаленные деревни грузы приходят с караванами длинношерстных яков; где прячутся за камнями, карауля добычу, снежные леопарды; где парят в темно-темно-синем небе коршуны и орлы. И он, Пемба, с молоком матери впитавший этот, как говорят европейцы, «тонкий воздух» высокогорья; он, кто лишь изредка использует на восьмимысячниках искусственный кислород, в пятый раз поднявшийся на вершину Эвереста, после десяти-пятнадцати шагов по этому мертвому снегу, даже он, шерпа Пемба, вынужден останавливаться, чтобы перевести дыхание. Он растегнул рюкзак, вытащил термос, открутил крышку и сделал несколько согревающих глотков. Тепло растеклось по телу, дыхание стало не таким частым и рваным, а сердце уже не выпархивало из-за рта, как птица. Перед тем как продолжить спуск, Пемба еще раз глянул на солнце... Но так и остался стоять, не в силах сдвинуться. В лучах солнца, как в перьях распушенного павлина хвоста... Будто сошедшие с неба, на него надвигались темные силуэты! Пемба бросил термос в рюкзак, закрыл глаза и принялся их тереть ладонями. “Показалось. Высота. Мозг крутит картинки”, – успокоил себя Пемба и посмотрел снова. Но, к его ужасу, два вытянутых силуэта оказались совсем близко и уже нависали над ним. Он попятился.

Из их глазниц бил яркий желтый свет, как будто это были прожекторы. И эти их взоры были направлены на Пембу. Руки были согнуты в локтях. Они будто умоляли Пембу дать им какую-нибудь пищу, поднося кисти рук к дыре на месте рта в темном пятне лица. От них шло беспрерывное гудение. “Как от роя диких пчел”, – заторможенно проплыла мысль Пембы... Но вот они уже касаются его. Пембу передернуло; он отпрянул назад, но усилием воли остановил себя, сделал шаг вперед, схватил рюкзак, закинул за спину, зажал уши ладонями, и, больше никуда не глядя, только себе под ноги, пошел вниз.

Позже, отвечая на вопросы журналистов, Пемба настаивал, что это были души погибших во время восхождения на Эверест. Их тела так и остались лежать на склонах горы, а их души до сих пор бродят там».

В салоне впереди натужно закашляли. В хвосте мелькнула рука по локоть, задерживающая шторы. Андрей отложил книжку и принялся искать пристяжные ремни. Самолет начал снижаться. «Нигде нет», Ощупал сиденье под собой, приподнявшись с кресла. Нет. «Запропас-

тились!» – усмехнулся, заглядывая под кресло. «Разматериализовались на высоте!» – возмутился уже вслух и развел в недоумении руками.

– Ваши? – кольнул его в спину тихий голос. Он обернулся. Светловолосая девушка с двумя серебряными серьгами в мочке левого уха, улыбаясь, протягивала ему ремни.

– Да, должно быть, мои.

Встретился с ней взглядом. Какие глаза! Переливаются мягким светом. Как мозаика на солнце!

– Я вам не очень-то мешал? – вспомнив протест коленей, подавляющих спинку его кресла, спросил Андрей, беря протянутые ему ремни, и смущенно отвел глаза.

## 2

– Далбат? – спросил Андрея хозяин лоджии Yak and Yeti, переминающийся в дверях на жилистых, в узлах мышц ногах; в рубашке на-выпуск, с рукавами, закатанными по локти, и в длинных, до коленей, шортах. Вылитый боксер-легковес.

– Далбат, далбат, – кивнул Андрей и, сдвинув край стола, встал, громыхнув вилками и ложками, висящими на стойке вниз головой, словно летучие мыши из нержавеющей стали; подошел к гудящей огнем железной печке в центре комнаты и приложил ладони к теплой трубе, уходящей в потолок. Синеватый дымок стелился по железу трубы, но Андрей не сторонился. Он сильно продрог. Последний подъем дался тяжело. Мокрые, скользкие камни, по которым он лез вверх, рискуя поскользнуться, переломать ноги и закончить на том свой трек. Облака, обвалы облаков, – и он, как слепой в этой белой тьме, вытянув вперед руку и слегка присев, напрягая икры ног, продолжающий свой путь. Голая ветка протыкала туман, а испещренная скала вдруг оказывалась перед глазами, как каменная книга с руническими знаками. Облака поднимало вверх, и начинал хлестать беспощадный дождь, тут же, в мгновение ока, оборачивающийся беспроектной вьюгой, – и Андрей выпадал из настоящего и летел, летел во времени и пространстве; из октября – в декабрь, с азиатских черных, сырых круч – на заснеженные равнины нашей средней полосы. И где-то тут или где-то там вдруг промелькнули радостные весенние листочки. Он облегченно вздохнул, когда увидел в разрыве тумана поляну желтых цветов и сложенное из плоских камней серое двухэтажное строение.

– Да-а-лбат! – весело вошел в комнату жилистый хозяин и поставил на стол тарелку с рисом и овощами в соусе. Андрей оторвался от печки, стянул с хвостика резинку, потряхнул давно нематыми, сальными волосами и снова ловко перехватил их резинкой. Подвинул к себе тарелку. Снял со стойки вилку и принялся за далбат. Надо сказать, что этот далбат можно есть бесконечно, пока не осоловеют глаза и рис не полезет из ушей и носа, заплатив всего за одну порцию. Волшебный горшочек. Обычай горцев давать ночлег и еду путникам. С развитием туристической индустрии это естественное движение души человека перешло в этикет гостеприимства. Этим с охотой не преминули воспользоваться трекары и альпинисты, наедааясь впрок, экономя деньги. И никуда не деться. Бренд. Непальцы должны держать марку гостеприимных, не-испорченных цивилизацией, наивных и добросердечных аборигенов. Далбат? – Далбат. Горшочек, вари! Далбат? – Далбат. Горшочек, вари!

У дверей на стене висел плакат громадной снежной горы. То был Эверест. По крутым склонам прочерчены красные линии маршрутов

с черными треугольниками лагерей. Андрей перебрал несколько линий и вычленил британский маршрут. Вот пятый лагерь. А вот и Южное седло под самой вершиной. Выше на фоне густой синевы неба фотография шерпы. Портрет в овале. Андрей присмотрелся. Похож, кстати, на хозяина. Хотя для Андрея все они на одно лицо. Сколько раз он терялся, путался, попадал в дурацкое положение, потом корил себя за невнимательность. А шерпы улыбались, говорили, что «нет проблем», и кивали на чью-нибудь спину. Андрей знал, что в Тибете женщин меньше, чем мужчин, и потому у женщины бывает по несколько мужей. А шерпы пришли из Тибета, и им ничто не мешало сохранить эту традицию. Так вот и разбери их – кто есть кто, кто чей, в деревне все родственники.

Перед Андреем вновь вырос хозяин.

– Далбат? – занес он черпак, полный риса, над тарелкой. Но на третий заход Андрея уже никак не хватало.

– Нет, чай, чай, – остановил он хозяина ладонью и, перехватив инициативу, кивнул на фотографию на плакате и спросил: – А это вы?

– Нет, это Аппа. Семь раз был на Эвересте. Дважды без кислородных баллонов. Сильный шерпа. Я – Дава шерпа, был только на Южном седле, поднимал туда грузы. На вершину не ходил.

Дава сидел у печки, что-то тихо напевал и подбрасывал из корзины в топку сушеный ячий навоз. Андрей допивал второй чайник и поглядывал на Даву. Тот чувствовал на себе косые взгляды, совсем сузил в щелочки раскосые глаза, но виду старался не подавать. Мурлыкал свою веселую песенку и подбрасывал навоз. Андрей успел заметить, что шерпы при всей своей простоте и дремучести, оказывается, обладают чувством такта, врожденной культурой общения. Они ненавязчивы. Сами в душу не лезут и к себе не подпустят. Умеют держать дистанцию. Никакого панибратства. Вот позавчера наблюдал такую сцену. Группа шерпов-носильщиков отдыхала, привалив к каменным скамьям, выложенных в местах отдыха на тропе, свои тяжеленные корзины, с верхом набитые мешками риса. Мимо проходили трекары. Один из них, рослый парень, узнав, видно, в шерпе своего хорошего знакомого, окликнул того. Сбросил рюкзак и, раскинув руки, направился к шерпе. Шерпа спрыгнул со скамьи и поспешил навстречу. Он обрадовался встрече, но жарких объятий сторонился: отступая под натиском трекара, одобрительно кивал, похлопывал того по плечу. Да и здороваясь, руку жмут они как-то вскользь, будто боясь, что рукопожатием заберут из их ладони нечто ценное. Но в объятьях зеленого змия видеть шерпов доводилось, и не раз. Однажды у буддийской выбеленной ступы, увитой разноцветными флажками, с молитвенными барабанами в нишах, видел качающегося шерпа, того и гляди готового рухнуть, шедшего не как положено, посолонь, а против. Время было после пуджи, и вся деревня в сопровождении еще и тощих бездомных собак, крутя барабаны, перебирая длинные четки и бормоча мантры, наматывала круги вокруг ступы. На пьяного, потерявшего стороны света, никто не обращал внимания. Его будто и не было вовсе. Бедняга все-таки упал, и никак не получалось у него подняться.

– Хочешь что-то спросить? – вдруг прорезался голос Давы.

«Будто мысли читает», – вздрогнул Андрей и, оставив пустой стакан и немного помявшись, рискнул рассказать пару историй о таинственных духах, вычитанных им из книжки. А затем спросил: не случилось ли с ним подобное, да и что он вообще о всем этом думает?

Дава внимательно выслушал. Подсел к столу. Вытер руки о край рубахи и, странно улыбаясь, сказал, что с ним ничего такого не было. Он поднимался с южной стороны с кислородом. Но его брат, Норбу шерпа, когда шел с севера, со стороны Китая, видел этих самых темных духов. Они сидели на снегу недалеко от треноги, венчающей вершину горы, и что-то там, как успел он заметить, обсуждали между собой. На него даже не взглянули. Это точно не были альпинисты, рассказывал Норбу. Он остановился, засомневался в реальности того ясного, солнечного дня и даже в своей... Но притяжение вершины Эвереста сильнее страха перед духами и даже страха за свою жизнь. А когда Норбу поставил ногу рядом с треногой – никого уже не было. Снег, и никаких следов. Дава на минуту смолк, а потом, важно подняв указательный палец, добавил:

– Когда идешь с кислородом, то считается на километр-полтора ниже.

– Понятно, что ниже. Но я... – Андрей осекся и вопросительно посмотрел на Даву.

– Что я думаю?... Наш лама говорит, что у всего мира, – и Дава, закатив глаза, поднял руки и развел их в стороны, будто желая охватить пространство, – что у всего мира – шесть областей.

Дава опустил руки на стол. Бросил цепкий взгляд на Андрея и стал рассказывать про эти области.

– Наверху живут боги. Они живут долго и купаются в море удовольствий. А в самом низу – место адских мучений; тех, кто туда попадает, ждут страшные пытки. Но это мучения их пробудившейся совести. Это их собственное осуждение.

Дава выдвинул ящик стола, вытащил из него небольшое овальное зеркало и повернул к своему лицу.

– Вот так, как в зеркале свое отражение, они видят свои гнусные дела, совершенные ими в жизни. В зеркале мудрости. Наш лама так говорит, – сказал Дава, посмотрел на Андрея и положил зеркало на стол. – Справа от богов разгуливают титаны, или асуры, опьяненные жадой власти. Они хотят быть первыми всегда и во всем. Они ослеплены борьбой; их мир громаден и невыносимо тяжел, – Дава кивнул в окно: – как Гималаи. Противостоит им мир животных. Но туда, случается так, попадают и люди – умственно недоразвитые. Тупые и упрямые как ослы, ленивые и вялые, как панды. Напротив богов – пространство человека. Это, где мы с тобой сейчас.

Андрей прочитал довольство в лице Давы.

– У нас есть свобода выбора; мы способны многое понять, хотя часто впадаем в заблуждение. Мы можем изменить себя. А боги зависли в праздности; они надолго оплатили счета на проживание в заоблачном пятизвездочном отеле. У них безвариантов. Но у нас много слабостей: мы пойманы в ловушку чувственных удовольствий, погоней за деньгами, славой. Мы как альпинисты, взбирающиеся на пик Гордости, который – тут... – и он постучал себя по груди. – И вот под этим миром – область неисполненных желаний. Изнанка неудовлетворенных страстей, нереализованных... – Дава замолчал и сощурил глаз, подыскивая слово, – амбиций! – выпалил он. – Там шатаются беспокойные духи. Призраки. Преты. Они часто посещают места предыдущих существований. Их тянет туда. Мучимые голодом и жадой, они никогда не могут насытиться. Так вот, я думаю, в этих твоих историях говорится о них...

– Как их?.. – перебил Андрей.  
 – Преты... А кислородное голодание на высоте утончает сознание, обостряется восприятие и дает альпинистам заглянуть в тот мир.  
 Дверь приоткрылась, и в комнату вбежал малыш в вязаной шапке, но босиком. Чумазый и сопливый, он держал в руке очищенный банан.  
 Дава посадил мальчика на колени и, покачивая, поцеловал в лоб.  
 – Сын? – спросил Андрей.  
 – Да... Три годика... Так вот, лама говорит, что мы везде временные. Всё везде временное. Но проверять, даже то, что говорит лама, надо на себе... Вот он был лха, а стал бу пхо, – весело сказал Дава и погладил сына по голове.

Андрей поморщился. Что это за «бхы-пхы»? До этого был худо-бедно, но вполне сносный английский

– Был богом, а стал моим сыном, – Дава растянул рот в улыбке. – Ты помнишь, как был богом? – крикнул он в ухо сыну.

Андрей с подозрением глянул на Даву: уж не выпивший ли?

– Ему надоело быть богом... Тебе надоело быть богом? – опять гаркнул Дава в ухо сыну.

Мальчик бросил банан и заревел.

А Андрей неуверенно спросил:

– Это только здесь, в Гималаях, эти преты... или они вообще?

– Не знаю, лама не говорит, – вставая, ответил Дава; взял своего обиженного, дрыгающего ножками, бу пхо на руки и, пожелав спокойной ночи, удалился.

Пора было идти спать, запереться в спальник. Проходя мимо стола, Андрей взял зеркало. Глянул в него. Ну и физия! За время трека губы обветрились, отросла щетина. Щеки запали. Лицо сморщилось, с кулак стало. Похудел и почернел, обожженный сильным солнцем; а нос шелушится, как молодой картофель. А это что? На белке глаза красное пятнышко... Сосуд лопнул. Высота.

## 3

Высоко ноги не поднимать, идти плавно, размеренно; никаких резких движений. Это Андрей подсмотрел у шерпов. Как они, с тяжеленными корзинами за спиной, будто миноискателем, подошвами своих сланцев (они лезут иногда в сланцах!) ощупывают каждый камень, прежде чем найти точку опоры.

И спокойно – главное, не гнать мысли дальше двух-трех шагов. Вот так... вот так, – а там вроде как грот в скале, будет где отдохнуть; и дальше...

Сейчас его бьет озноб. Жар, изводивший ночью, с рассветом оставил его. Улетел, как птица. Он сидит в каменной пещере, вытянув ноги, накинув на плечи какую-то длинную тряпку, закутавшись в неё. Рассматривает разбитые пальцы на ногах, почерневшие ногти. Поднимает глаза и вглядывается в светлую дымку, в расплывчатую даль, развернутую перед ним, как мираж. Прислушивается. Звуки, там внизу плавают звуки. А он так громадно высоко над этими звуками, что ему иногда кажется – прошел ни день с ночью, и ни годы или столетия, а целая его жизнь. Щемящее чувство утрат мертвит кожу, а острая боль сожаления режет по живому. Вдруг, словно что-то вспомнив, раскрытой ладонью старается он схватить хвостик своих волос. Но ладонь скользит по голому черепу! У него нет волос! На мгновение охватывает ужас. Но

только на мгновение – бурю чувств приглаживает воспоминание, что эта комбинация из заполошного взмаха руки и шока, вызванного отсутствием волос на голове, повторяется каждый вечер. Это как проклятье. От которого не избавиться. Да-да, уже наступает вечер – а значит, он скоро станет прозрачным или – призрачным. Нечувствительным к холоду. Превратится просто в изображение. Или еще тоньше – в мысль о себе. Он отдает себе отчет, что это, всё-таки это, наверное, – разный взгляд на себя, такая вот точка отсчета. Но всё повторяется, идет по кругу; а докапываться: почему и как? – ему вовсе не до этого. Он пытается вспомнить свое имя. Шевелит губами. Распухшими губами. Нет, не от горьких слез, он не рыдал ночью, он жрал камни. Камни своих обид... Он мучительно пытается вспомнить свое имя. На предмет чего оно может быть? Зацепиться за какую-нибудь деталь, или за тень выступа её отрицания... Нет, имя рассыпалось, разлетелось. Имя съел космос, который приходит ночами, бывает, и со звездами.

Сказать, он должен сказать, и как можно быстрее, всё, всё, это важнейшее дело. Пальцы сжимают пластиковую прозрачную папку с синей кнопкой. В папке листы бумаги, исписанные его почерком. Размашистым, но ясным. Ему всерьез верится в то, что в этих листах прописаны судьбы мира. Может быть так, а может быть и этак. И он спешит, спешит к зданию посреди пустыря. Он верит в свою исключительность. Ветер напирал в спину. Он прижимает папку к груди, не дай бог, порыв вырвет из рук. Здание кажется мертвым. Черные голые окна, ни одной занавески. С трудом раскрывает входную дверь, протискивается внутрь. Идет. По коридору гуляет ветер, хлопают двери. Одна, вторая – как будто кричат ему: «И куда ты?!», «И к кому ты?!» – но он не обращает внимания. Нет, не сюда, ему выше. Взбегает по лестнице на второй. Тут тише. Коридор, коридор, двери, двери; шеренга дверей. А вот, это здесь: видит табличку, привинченную к дверному полотну. На черной бархатной бумаге выдавлены бронзовые буквы. Щурится прочесть. Никак. Не понимает смысла. Не может из букв сложить слово. Буквы разбегаются или теснятся в какие-то «дктр», «рдкт»: всплывает "трактор" и «птеродактиль»... Секунду поколебавшись, толкает дверь. Тихий кабинет одет в деревянные мрачные панели с ромбиками в шахматном порядке. Тянет дешевым папиросным дымом. Но паркет натерт. Паркет весел: на нём клин света. От лампы, стоящей на громоздком письменном столе. На лампе колпак, и она похожа на большой светящийся гриб. За столом в лоснящемся пиджаке, черном, как свежевзрытая пашня чернозема... за столом круглолицый человек с вытянутой вперед рукой и раскрытой ладонью. Папку ему. Неужели наконец-то попал по адресу? Папка кладется в ладонь; нет, всовывается... Ну, бери же... Но рука у этого, в черном, как неживая. Папка падает. Рука скрипит. Из рукава вместо запястья показываются мучного цвета шарниры. Протез!.. А глаза?! А глаза – как капли застывшего жира. Да и вообще – перед ним кукла! Ну и ну! Как же он обманулся! Его охватывают растерянность и злость. Он буравит взглядом эту чертову куклу – да так, что пиджак трещит по швам и швы расползаются, лопаются. И по голове будто бритвой – раз и... И на пол вываливаются внутренности. Индюшачий пух, бронзовый и черный. Во рту под губой колкое перышко, и, отступая в замешательстве и злобе от выпотрошенной куклы, безуспешно он пытается сплюнуть...

Наступает вечер, и длинная тень, как стрелка часов, прочерчивает пещеру. Он стоит, прислонившись спиной к ледяным камням, накинув

на плечи всё ту же тряпку; кутается в неё и вглядывается в лучи заходящего солнца, в уплывающую даль. Его охватывает жесточайшая тоска о днях, растаявших в этой предзакатной дымке. Его печаль неизбывна, его надежда мертва. Его ум неприкаян.

Это место притягивало всегда. А он откладывал, доставал из будущего отговорки: «потом», «успею». Но этим вечером решился и нырнул в отвесную темень. Хотя всему свое время. А он заложник, арестант последовательности событий. Светлое пятно глубоко внизу выросло, выросло и вот – выкатилось снежной поляной. Он идет по снегу, идет, идет и видит человека, лежащего ничком, раскинувшего в стороны руки, вцепившегося в смерзшийся снег. На человеке горчичного цвета брюки военного покроя с большими накладными карманами и грязно-серого цвета ветровка. Подходит ближе, склоняется над покрытым ледяной коркой телом. «Живой, нет? – неуверенно мямлит про себя. – Живой, нет?» – и потом глуховатым голосом вопрошает: «Ты живой, ты живой, отзовись, ну что ты там?» – и сам проглатывает, неожиданно для себя тихую, наполненную покоем мысль, простую и очевидную: «Нет, я не живой». «Я – не живой?» Удивляется своему открытию. Как же это так? Поднимается с колен, отходит в сторону, продолжая смотреть на бугор когда-то живых костей. Как же это так? И тут всё вспоминает. Картины проносятся перед ним. Сколько прошло времени: несколько дней, год, десять? Впрочем, все годы можно сложить, как веер, и сжать в руке. В мгновение. Вот он засмотрелся – и у него подворачивается ступня, его бросает в сторону, он старается сохранить равновесие, но тяжелый рюкзак тянет за собой, забирает с собой в пропасть; он взмахивает руками – хватается за воздух... Над ним синее скользкое небо. Блестящее слепое солнце... Над ним тусклая в дымке луна. Бесшумная вязкая ночь... Он переворачивается на живот и пытается ползти, ползти... А дальше разрыв... Черный космос, черный без продыху... Набухает и шумно падает в чудовищную пустоту капля, маслянистая, тяжелая... Бу-у-о-ом... Ледяная пещера... Блуждания по видениям прошедших дней... «Я – н-е-е жи-иво-ой» – гулким эхом отзывается темное ущелье...

И теперь пространства прошлого для него свернулись пергаментным свитком – и он оказался на свежем снегу настоящего. Видит далекую красную точку, как на загроунованном холсте. Ему вспоминается, что будто он видел это и прежде. Но то были смутные видения, плоские образы, как через пленку. Но сейчас как прорвалось – и ему что дотянуться рукой; его взгляд летит в сквозящую холодом перспективу, глаза буквально впиваются в предметы, пульсация зрачка сотрясает его до основ, он сильно взволнован. Медленно, медленно вверх по склону карабкается человек.

Это женщина. Он слышит её тяжелое дыхание. Она поминутно останавливается, растерянно озирается по сторонам. Она потерялась. Сбилась с пути. Сбрасывает с плеч рюкзак, вытаскивает из него фляжку, садится на снег и судорожными глотками пьет. Из-под капюшона выбивается прядь волос и падает на глаза. Она убирает волосы, прилипшие к мокрому от пота и снега лицу, и пьет, пьет... Безвольно роняет флягу из рук на снег, расстегивает красную, как кровь, куртку, пытается глубоко дышать... Наклоняется вперед – её выворачивает рвота и душит кашель. Ей плохо. Её силы на исходе.

Он перебирает, мусолит в памяти всех, всех, кого когда-либо знал, видел. И кто наполнял его сердце теплом надежды или просто вызывал

симпатию. Но это чужой ему человек. Как эта снежинка, по замысловатой траектории пролетающая мимо. Он снова выгребает из памяти и самые незначительные встречи, оставившие в нем хотя бы какой-то отпечаток. Но эта женщина в яркой куртке, она, без всякого сомнения, посторонняя. Последний образ, который вспыхивает в памяти, – девушка с сияющими глазами и с двумя серебряными серьгами в мочке уха. А с этой никогда, никогда их пути не пересекались. И у него не дернется ни один призрачный мускул, не вскипит ни одна капля эфемерной крови, чтобы вытащить ее из этих снегов. Ведь он – проекция, копия с того себя, разделявшего там, на земных дорогах, людей на «своих» – и «чужих», на себя – и всех остальных. Может быть, там и протянул бы руку, но сейчас он... Он как болезненный волдырь самолюбия с желтоватой, липкой жидкостью разочарования. Каждый отвечает за себя. Ей отпущено ровно то, что она заслужила. Как и ему. И ему надо спешить в пещеру.

Но на полпути в нем случается переворот. Это как гром с ясного неба. Коллоид его клейких мыслей неожиданно преобразуется в кристалл света, и от него прежнего не остается ни даже прозрачного намека. Он делает головокружительный разворот и мчится назад. Что послужило тому причиной? Как прервалась безысходность цикла? – вышел срок? – вряд ли, топтаться ему на мерзлых кручах и топтаться. Инициация сил извне? Да, может быть, – неуверенно скользит он взглядом по небесной сфере, как по ледяному катку... И тут его осеняет – это воздух, воздух, прорвы воздуха!.. И его богатое воображение. Сработало! Сдетонировало! Взорвало и разнесло в клочья кишки его мозговых извилин, набитые всяким вздором.

Во-первых, воздух дал ему новое имя. Не звуки звонкие и глухие, долгие и краткие, сложенные в слоги, а – ритм. Ритм нового имени: вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох! И океан воздуха; океаны воздуха! Он вдруг увидел, увидел и осознал бесконечное пространство жизни. Что все мы слеплены из воздуха, всего лишь. И нет ни одной черты разделяющей. Всё едино, всё взаимосвязано. А все имена это только дыхание жизни.

И он увидел, что у всех, всех женщин и девушек сияющие глаза; у всех, всех женщин и девушек по две серьги в мочке левого уха. Может кому-то показаться, что это такой вот перекрут ума, блажь; но можно и поверить, что это приближение к истине.

Его далеко занесло в сторону сильным потоком таких новых открытий. И бурные, грохочущие реки теперь стелились плавным течением; а в зеленых озерах то там, то здесь, сверкая, выныривала рыба. Влажный тропический воздух пьянил, кружил голову.

«Э-э, мне правее, – спохватывается он и, делая крутой вираж, несется к белоснежным вершинам. Он спасет её, покажет верный путь, вытащит из этих снегов. Он будет маячить перед её глазами... Он прирастет там своими условными ногами и будет стоять до посинения... Только бы она увидела его.

## Рустам МАВЛИХАНОВ

Родился в 1978 году в Салавате, Башкортостан. Учился в Башкирском госуниверситете. Работал в заповеднике, сюрвейером в инспекционной конторе, инструктором по туризму в экотуризме.

Публиковался в журналах и альманахах «Журнал Поэтов», «Нижний Новгород», «Бельские просторы», «Балтика», «Сура», «Воскресенье», «Изысканная словесность», «Лифт», еженедельнике «Истоки».

Живет в Салавате.

## ДЕНЬ ВЫБОРА

Врачом я мечтала стать с детства.

Может быть, с тех вечеров, когда обходила с мамой её больных. Или с той ночи, когда сестра привезла из Москвы мою мечту – большую куклу с закрывающимися глазами. Я лежала, крепко прижимая её к себе, и слушала, как с кухни доносится громкий шёпот: мама рассказывала, что в город привезли помидоры в вагонах, не помытых после коров, а у тех вскоре нашли какую-то жуткую болезнь, – и как их, медиков, подняли по тревоге, как они сбились с ног, проверяя дом за домом – с милицией, дружинниками, солдатами... Странно: не помню, чтобы мама надолго пропадала – или это было мне привычно? – но вот тот тихий, под тяжёлый шум дождя, разговор осенью восемьдесят четвёртого почему-то врезался в память. И ещё такое загадочное, как со страниц сказок Гримм, имя: «Сибирская язва».

От эпидемиологии меня, конечно, открестили: Камю дали почитать, «Чуму». Изверги, скажете, ребёнку такое подсовывать? Может, и так. Но разве пичкать подростков Достоевским – не изверги? К тому же Фёдор Михайлович и врачебный цинизм – антонимы, а Альбер Люсьенович пригодился – мужа помог понять. Он у меня с Донбасса; как-то, занимаясь закатками, я сравнила их войну с чумой, которую остаётся только перетерпеть – он даже расчувствовался.

Так что служба моя не опасна – я доктор широкого профиля: гастриты, гаймориты, бронхиты – все старые знакомые, а если что экзотическое... Попалась как-то атипичная ангина – температура, лимфоузлы увеличены, налёта нет, билась с ней, билась – ничего не берёт. Антибиотики – как мёртвому электрофорез. Спасибо тёте Любе, санитарке нашей, – она медсестрой всю жизнь проработала, Брежнева ещё застала, а как на пенсию выгнали, выпросила себе полставки уборщицей – вот тётя Люба и подсказала: «Ларис, ты чего?! У него же дифтерия!»

И правда... А откуда мне было знать? Забытая была болезнь, я её только на картинках видела! А ведь так и чуму пропущу...

С тех пор стала серьёзнее относиться ко всем жертвам советской медицины – даже симптомы оспы на всякий случай выучила.

Поэтому в этот раз я всё сделала правильно. Надо бы сказать отдельное спасибо министерству, оно заботится о нашей квалификации, памятки шлёт пачками про мытьё рук и ношение масок – со всякими благоглупостями, короче; но главное всё же – внимательность к людям.

Это случилось в обычный четверг. Коридор поликлиники в тот день – как, впрочем, в любой другой – был забит: стайки проходящих медосмотр рабочих и бюджетников, очередь бесплатников к соседу на УЗИ, бабушки, пришедшие посудачить и пожаловаться на болячки. Я только что отпустила деда без руки – ему нужна была справка для перепрохождения комиссии на инвалидность, – взглянула на часы (было 12:07), потом в окно, подумала: «Какой чудесный день!» – как за дверью послышалась ругань:

– Куда прёшь?! В очередь!

– Я только спросить!

В кабинет ввалился, вырываясь из цепких женских рук, «только спросить» высокий парень лет двадцати пяти. К лицу он прижимал сложенный вчетверо шарф, поэтому я сразу заметила инъецированность склер – белки глаз были будто покрыты плотной паутиной красных жилок. Наверное, из-за этого, заподозрив мышиную лихорадку, я его не выгнала, когда он выдал несколько фраз, прерываемых сухим кашлем:

– Простите, доктор, я не местный и без полиса... В регистратуре меня посла... отправили домой, но так кости и мышцы ломит, и... вообще очень неважно себя чувствую... Подскажите, куда мне обратиться?

– Ну... хорошо, садитесь, – я указала на стул и протянула термометр. – Давайте пока температуру измерим. На что жалуетесь?

Записала – под непрекращающийся кашель – данные пациента, анамнез: когда почувствовал недомогание, симптомы (миалгия\*, головная боль, подкожные гематомы), спросила, всё ещё надеюсь на старую добрую геморрагическую с почечным синдромом:

– В деревне давно были? Может, семечки ели, погреб подметали?

– Я в городе живу, работаю на химзаводе. У нас там ничего не выживает, – ответил он. И добавил: – Правда, недавно в отпуск ездил.

– Куда?

– В Тай.

И тут меня осенило. Да так, что пот прошиб. Залезла в медицинскую энциклопедию, проверила свои подозрения...

– Верочка, – обратилась к своей медсестре. – Выгляни в коридор: там много народа? – И к больному: – Вы долго сидели в очереди?

– Минут пятнадцать, пока тот дед у вас был.

– Человек двадцать, – сказала Вера.

– У нас есть какой-нибудь хлоргексидин под рукой? – спросила я, заранее зная ответ, и стала писать завполучником по локальной сети: «Такой-то, такого-то года рождения, заболел тогда-то, клиническая картина такая-то, эпиданамнез, предположительный диагноз, оценочное число контактов...»

Пока набирала сообщение, сосредоточилась – и приступ паники отступил: выпрыгнуть в окно расхотелось.

\* Миалгия – мышечная боль.

Все службы сработали достаточно оперативно. Правда, в универсальной укладке на случай ООИ\* оказались просрочены средства экстренной профилактики, а инфекциониста пришлось поискать – после оптимизации остался один-единственный на весь город. Когда он добрался до нас, мы с Верой невольно улыбнулись: из комбинезона третьего класса соорудили импровизированный «противочумный костюм» класса «2+» – добавили очки для плавания и строительный респиратор. Но когда он кивнул, соглашаясь с моим диагнозом, стало не до улыбок: нас вместе со всеми, кто находился на этаже и не догадался улизнуть, закрыли на обсервацию; главврач выставил посты на выходе из поликлиники – записывали каждого, кто покидал здание; проходившие медосмотр мужики, сообразив, что происходит что-то не то, стали вырываться. Пришлось вызвать полицию, но она предпочла держаться на расстоянии. Если бы не отчаянные камикадзе из МЧС, сумевшие навести порядок голыми руками и матом, так бы все и разбежалось.

Я попрощалась с любимой кофтой из чистого кашемира – всю нашу верхнюю одежду замочили в хлорке, взамен выдали халаты и заперли по наспех переоборудованным кабинетам. Первый шок сменился суетой. Позвонил сонолог\*\* («Какого чёрта? Я из-за тебя кучу денег теряю! Нельзя было по-тихому всё сделать?!»), потом – из страховой наехали («Почему вы приняли пациента без полиса?»), и следом до меня снизошёл завгорздравом:

– Меня только что мэр вызывал на ковёр. Ты абсолютно уверена в диагнозе?

«Абсолютно?! Мне бы безумно хотелось ошибаться», – подумала я, но отвечать на глупый вопрос, к счастью, не пришлось – зав продолжил:

– Он спрашивал, какая у тебя квалификация, соответствуешь ли должности... Ты же понимаешь: выборы на носу, а ты тут такую панику развела!

– Но, Василий Андреевич, я следовала протоколу...

– Помолчи! У нас тут город собираются на карантин закрывать! Даже если тревога ложная – пока анализы доедут до округа, пока пятое-десятое – ты хоть понимаешь, в какую копеечку это встанет?

– Но ведь есть экспресс-тесты...

– Я тебя умоляю! В общем, так: если придут отрицательные результаты, напишешь по собственному желанию вчерашним числом. И молись, чтоб чего похуже не вышло!

Что такое «похуже», я поняла скоро. Через пару часов дозвонился муж:

– Тебя тут искали. Представился дознавателем.

– «Искали»? Они что, не знают, где я? Что ему нужно?

– Расспрашивал о твоём прошлом: не замечал ли я чего такого, нет ли подозрительных знакомых. Увлечениями интересовался.

– Что ты ответил?

– Ничего, предложил зайти, посмотреть твои макраме. А он взял и убежал. Что у вас там творится? Чума?

– Нет, ничего страшного... Ты вот что... не ходи никуда. И детей на улицу не пускай.

Это действительно была чума. Но её бациллами оказались не микробы, а люди, в чьих подозрениях и в переходящем в ненависть страхе я увязла, как муха в патоке, пока за дверьми изолятора медленно угасало

всё, во что я верила: человечность, разум, правда. Да, в общем-то, пусть – всё это становилось далёким и незначительным. Важными оставались только здоровье сына с дочерью и опустошающее бессилие от невозможности их защитить. Когда сил рыдать не осталось, мир сузился до размеров этой комнаты с кушеткой, рентгеновским аппаратом и белым потолком с ползущей по нему, отсчитывая безликие дни, тенью. Каша по утрам становилась всё жиже, а снег на улице – грязнее.

Когда снег сошёл, всё кончилось. В итоге выяснилось: переболели многие, но умерло меньше, чем было заготовлено гробов. Грамотой от имени администрации меня всё же наградили, а спустя неделю вызвал главный: «Ты, конечно, умница, но из-за недополученных доходов мы вынуждены оптимизировать штат», – и, чтобы оправдать себя, начал подталкивать меня к самообвинению: столько-то перитонитов из-за запоздалого обнаружения аппендицитов, столько-то инфарктов. Даже к постродовым осложнениям я оказалась причастна.

Да, я умница. Всегда старалась соответствовать этому званию. И сейчас тоже: сразу поняла, что жизни не дадут, и ушла по собственному.

В центре занятости дали две вакансии: охранницей в ЧОП и продавщицей в супермаркет. Выбрала последнюю. Ничего, работа как работа – такое же начальство с тараканами в голове. Правда, с этими ревизиями и недостатками семью вижу редко, и муж, наверное, скоро уйдёт к другой. Ну и ладно.

По старой привычке диагностирую покупателей на глаз: у этой – цирроз печени, у того – застарелый туберкулёз... Но это их проблемы. Я больше не Александр Матросов, на рожон не лезу: тише сидишь – больше пенсию высидишь.

В конце концов, спасти людей найдутся герои, которым за это платят, а жизнь – она ведь как скоротечная лихорадка, и нужно успеть насладиться простыми радостями. Вот сейчас, например, за окном прекрасный денёк, солнце ярко светит, птички поют, на часах 12:07 – значит, смена скоро кончится...

«Дежавю какое-то, – передёргивает меня. – Надо же так всю жизнь было представить наперёд, как будто с мужчиной только что познакомилась».

– Куда прёшь, зараза?! – слышится ругань из-за двери.

В кабинет вваливается молодой человек лет двадцати пяти на вид. Начинает с порога:

– Простите, доктор, я не местный и без полиса... В регистратуре меня посла... отправили домой, но так кости и мышцы ломит, и... – Он надсадно кашляет.

– Вам всё правильно сказали, – пользуясь паузой, перебиваю я. – У вас обычная ОРВИ, сейчас многие болеют, ничего страшного.

– Но у меня температура тридцать девять, я не доеду восемьдесят километров до дома.

– Но до нас же дошли как-то? Обратитесь по месту жительства, – строгим тоном говорю ему. – Я вас принять не могу, меня накажут. Вы работаете?

– Да, на заводе.

– Вот видите, даже больничный вам не открою. – Но жалость перебивает. Я кладу на край стола анальгин с нурофеном: – Выпейте, это снизит жар, и спокойно доберётесь. Остальное – как обычно: постельный режим, обильное питьё...

\* ООИ – особо опасная инфекция.

\*\* Сонолог – специалист по УЗИ.

- Спасибо, доктор...
- Не за что. Выздоровливайте. И сходите к своему врачу!
- Гастарбайтер, что ли? – предположила Вера, когда дверь за мужчиной закрылась. – Как можно без полиса жить? Ещё ходит, кашляет на всех.
- Ну почему сразу гастер? Деревенский, скорей всего, – рассудила я, чувствуя удовлетворение от того, что всё сделала как положено.
- Ты вот что, сходи к старшей медсестре, пусть выделит грамм сто формалина.
- Верочка вернулась через пять минут:
- Вот, спиртовые салфетки в фойе купила. У нас на этаже пусто, а там ужас какое столпотворение!
- Что случилось?
- Да какой-то кандидат подарки раздаёт. Вы, кстати, пойдёте на выборы?
- Не знаю, как погода будет. А кого выбираем?

Погода выдалась слякотная, и выборы, несмотря на малое количество избирателей, дошедших до участков, прошли успешно: выездные комиссии с переносными ящиками и в костюмах первого класса сумели обеспечить хорошую явку.

## Поэзия

### Геннадий ИВАНОВ

Родился в 1950 году в городе Бежецке Тверской области. Детство начиналось в деревне, в полях, в начальную школу ходил в бывший барский дом из имения Слепнёво, где когда-то жили и творили Николай Гумилёв и Анна Ахматова. Потом семья переехала в город Канда拉克шу на Кольский полуостров – там жили в бараке на берегу Белого моря, там окончил школу, оттуда уходил в армию, в арктическое плавание, там работал в районной газете и начал писать стихи.

Окончил Литературный институт имени А.М. Горького. Автор десяти книг стихов. Написал три книги очерков о своей малой родине «Знаменитые и известные бежечане». Лауреат ряда литературных премий, в том числе премии имени Ф.И. Тютчева «Русский путь». Первый секретарь Союза писателей России. Живёт в Москве.

## ...И ПАХАРЬ ЗДЕСЬ СИНОНИМ ЧЕЛОВЕКА

### Молитва

Творец, Создатель, Вседержитель,  
 Всевышний, Всемогуший, Сущий  
 И человеков Утешитель,  
 Не допусти, чтоб червь сосущий  
 Сердца людские обезволил  
 И милосердных обезболил,  
 И память высосал людскую,  
 И жизнь оставил лишь мирскую –  
 Без мира высшего, без Бога,  
 В кривлянье низком, в заблужденье.  
 Взыщи за отступленье строго,  
 Но не оставь без возрожденья.

\* \* \*

Как хорошо, что я не понимаю  
 всех тонкостей и всяких механизмов  
 великого троянского обмана,  
 затейного нынче на Руси.

Куда и как уходят миллиарды  
 и почему и кто тут виноватый...  
 Мы жить привыкли бедно, не вдаваясь

в раздумья о возможностях иных.  
Но вижу я, что родина в ущербе  
таком великом, что и мне понятно.  
А если б знать все тонкости, всю правду,  
то, может, не хватило б силы жить.

Зовут на революцию...  
Не верю  
я больше в революции.  
Не верю.  
Я верить стал в молитвы наших старцев  
и в Божью милость.  
Как и в Божий гнев...

### Достоевский

Кадильный звон как звон кандалный...  
Он в храме нынче, не в тюрьме,  
он – Достоевский гениальный.  
Он будто светится во тьме.

Пройдя расстрел, пройдя страданья  
и через мёртвый дом пройдя,  
на Бога вынес упование.  
Он чисто верит, как дитя.

Он – как писатель – всё разложит  
по полочкам, всё разберёт.  
Читателей сомнение гложет –  
он объяснит, он смысл найдёт...

В дом Божий трудная дорога,  
но всех с надеждой ждёт Отец.  
Писатель трудится для Бога  
и человеческих сердец.

### Два стихотворения

1

Нашу жизнь никто и не заметит.  
Проживём, два серых воробья,  
Где-нибудь на этом белом свете  
Под карнизом шумного жилья.

Только разве в этом суть да дело...  
Суэта – хвала или хула.  
Только б ты не плакала, а пела  
И со мною счастлива была.

1974

2

Любовь, привычка или что?  
Или взаимный плен?..  
Но умереть бы я хотел  
лишь у твоих колен.

Да, у колен моей жены –  
совсем не молодой,  
но мне, такому дураку,  
и верной и родной.

2020

\* \* \*

Ты говоришь мне: дача, дача...  
Но лишь на родине удача.  
Но лишь на родине душа  
Сама себе так хороша.

Поедем, лапушка, в деревню.  
Пойду гулять я по лугам.  
Там корешки мои, коренья...  
Там хорошо моим ногам.

По ним бежит земная сила,  
Бежит по телу жизни дрожь.  
Здесь рифма просится – *могила*.  
Я рифму принимаю, что ж.

В родной земле упокоенье  
Милей, так думается мне.  
Милей там будет воскресение –  
В знакомой, милой стороне.

\* \* \*

«Поехать к Колычеву, что ли...  
На море Белом есть у Коли  
избушка с баней...» –  
черновик  
нашёл среди бумаг и книг.

Теперь уж нет на свете Коли.  
«Поехать к Колычеву, что ли...»  
теперь имеет смысл иной.  
Не беломорский, не земной.

Сживает вирус нас со свету,  
но хочется ещё пожить.  
Туда пока желанья нету  
ни ехать, ни лететь, ни плыть.

\* \* \*

Господь погасит жизнь, как свет в квартире...  
 На всей земле погасит в некий миг...  
 Такое может быть ли в Божьем мире?  
 Бог милосерд, но грех людей велик.

И всё... И где же, где же будет Пушкин,  
 Чайковский, Моцарт, целый мир картин?..  
 Всё это станет никому не нужным?  
 Да, мысли навевает карантин

Печальные. Земля сгорит однажды  
 Иль станет мёртвой в вечной пустоте?..  
 Но всё равно работают отважно  
 Кто призван к слову, к музыке, к мечте.

\* \* \*

*Денису*

Судьба берётся силой, не тоской.  
 И не уныньем, не безвольем нашим.  
 А сила в вере, вечной и родной.  
 И с ней живём, надеемся и пашем.

Ты улыбнёшься: пахарь тоже мне...  
 Да все мы, милый, пахари от века.  
 Мы на земле живём, не на луне,  
 и пахарь здесь синоним человека.

Не унывай. И радость в мире есть,  
 когда ты сильный. Я тебе желаю  
 быть сильным, сын. Молюсь и уповаю.  
 Да каждый день –  
 как радостная весть!

\* \* \*

А бабочке я так же интересен,  
 как и она мне. Вот она летит  
 и закружилась предо мной, и смотрит...  
 Но чем я интересен для тебя?

Наверно, тем, что я ничем не занят,  
 хожу с утра туда-сюда по полю.  
 Себе я тоже этим интересен –  
 в полях я ближе к самому себе.

## Градницы

Окна дома старинного матово  
 И таинственно светят во тьму.  
 В доме этом когда-то Ахматова  
 Тосковала лет сто уж тому...

Старый сад с деревьями высокими  
 И с большими грачами на них...  
 Там от сока – берёзы с подтёками,  
 Там витает ахматовский стих.

В том саду понемногу всё рушится,  
 Доживают свой век дерева...  
 Там всё рушится, травами глушится –  
 Там по пояс в июле трава.

Но однажды разруха там кончится,  
 Запустенье однажды уйдёт,  
 И стихи почитать там захочется,  
 И туда соберётся народ.

Нарисуют Пегаса крылатого,  
 Будет много возвышенных слов –  
 И там вспомнят не только Ахматову,  
 Но и вспомнят, что был Гумилёв...

Может быть, и музей там затеплится.  
 Прикоснётся к душе благодать.  
 Может быть, и лампада засветится –  
 И часовенка будет стоять!

80-е

*P.S. Прошли годы. Теперь там и музей есть, и часовенка.*

## Галина БУЛАТОВА

Родилась в Горьком. Окончила Куйбышевский институт культуры. Работала в системе детских и школьных библиотек г. Тольятти.

Поэт, переводчик. Автор книг «Сильнее меня» (2017) и «Я, Бог, любовь и око» (2019). Публиковалась в журналах «Аргатак. Татарстан», «Нижний Новгород», «Звезда», «День и ночь», «Юность» и других. Стихи переведены на сербский язык.

Редактор-составитель более 20 изданий. Среди них – составленная из писем деда Петра Булатова книга «Письма из Валков», автобиографическая проза матери Нины Булатовой «Записки сельского доктора», книга стихов Рамазана Байтимерова «Ради жизни» (билингва, 2016), книга посвящений стихов Марине Цветаевой «Аве Марина» (2018) и другие. Организатор литературных проектов, учредитель премии «ДИАС», посвящённой казанскому писателю и философу Диасу Валееву. Лауреат ряда литературных конкурсов и премий. Живёт в Казани.

## Я ОТЫСКАЛА ПЕРВОСЛОВО У СТЕН МАКАРЬЕВСКОГО ХРАМА...

### Аве Марина

Где он, Серебряный чародей?  
Только мелькнула пята его.  
Я обронила даму червей,  
Он обронил Цветаеву...

Будто на старом половике,  
Выцвели, стёрлись цвета его.  
А на верёвочном пояске  
Красная нить – Цветаева...

Где он, Серебряный, роковой?  
Намертво сжаты уста его.  
Кто вы такие, – шумит прибой, –  
Чтобы судить Цветаеву?

Где он, Серебряный этот век?  
Канули в Лету лета его?  
Аве, – луна замедляет бег,  
Чтобы по строчкам любимых рек  
Перечитать Цветаеву.

\* \* \*

Ты знаешь, Нижний стоит мессы,  
как возвращения – гнездовье.  
Я полюбила эту местность,  
как птица, первую любовью.

Я отыскала первослово  
у стен Макарьевского храма,  
я полюбила этот говор  
(он до сих пор остался с мамой).

Там бродит время тихой сапой,  
и молоко в подойник брызжет,  
там живы дедушка и папа,  
и тётя Настя с дядей Гришей.

Они идут из комнат, с лестниц,  
глядят с портретов, не мигая,  
они поют, и в этой песне  
Ланцов из замка убегает.

Глухою керженской тропой  
они уходят без оглядки,  
оставив мне нести с собою  
их вздохи, письма и тетрадки.

Всё глубже след и тень длиннее,  
пишу в анкетах: *город Горький*  
и не могу уйти с линейки  
у обелиска на пригорке.

### Чистополь

В этих мальвах – отголоски  
Колоколен давних пор.  
Но опять собор Никольский  
Водит с Камой разговор.

Друг за дружкой ходят скверы  
Вдоль купеческих домов.  
От тюрьмы, считай, до веры –  
Три слезы и пять шагов.

Красный дом. Диванчик узкий.  
И – торжественность перил.  
Здесь Шекспир на чистом русском  
При свече заговорил.

Здесь восток шлифует время,  
А оно – твои слова.

Всё до буковки в поэме  
Перемелют жернова.

День бросается листками  
И рябиною дождит.  
Пастернак не отпускает,  
Возвращайся, говорит.

### Осенняя элегия

Вышел я родом из леса,  
из-под пера топора.  
Чувствую тяжесть железа, —  
так в ожиданье пореза  
отвердевает кора

и раскрываются поры  
свет предпоследний приять.  
Солнце косога пробора,  
прямолинейность укора,  
страха невнятная прядь.

Я сокращён до предела,  
сжат до астрального тела,  
я на прожилках распят.  
В час, как рябина зардела,  
небо уходит назад.

Даром сбиваются в стаи  
братья мои, отлетая,  
даром дрожат на ветру, —  
каждого перелистает  
та, что красна на миру.

Что там осталось? Полешки,  
в беличьих дуплах орешки,  
исповедь кроткой воды  
и у рождественской вешки  
окрик зелёной звезды.

\* \* \*

Блаженная мати Матрона,  
В платочек упрятав чело,  
Сидит за тетрадкой влюблённо,  
Не видя вокруг ничего.

Февраль застегнётся — и выйдет,  
А март распахнёт облака, —  
Она ничего не увидит  
В содружестве стен-потолка.

Но что там, на донышке глаза,  
Ни ты не ответишь, ни я.  
Ползут по стене метастазы,  
И блюда в серванте звенят.

Окликнет чужое пространство,  
Накроет её с головой, —  
Испуганной птицей прекрасной  
Ложится она на крыло.

Ах, мама, не дай им ответа,  
Не верь чужеземцам, не верь, —  
Уже вышивает на ветках  
Пасхальницу новый апрель.

И будет яичко к обеду,  
Кулич и тепла благодать.  
А я непременно приеду...  
Чтоб вскоре уехать опять.

Я верю: всё будет в порядке,  
Как прежде, от сих и до сих,  
Пока ты рисуешь в тетрадке  
Молитвы о чадах своих.

### Десятое лето

Казалось, в жизни не предашь  
привычку, умницу, натуру,  
однако я свой карандаш  
сменила на клавиатуру.

Я поменяла города,  
работу, имя и пространство,  
в котором красная звезда  
была как символ постоянства.

Когда же — «трижды жди меня» —  
обещанное рассмеялось,  
я не убавила ни дня:  
подумаешь, какая малость

меж вечным именем жены  
и безымянностью на пальце, —  
когда ромашки так юны,  
а я древней неандертальца;

когда ржанные корабли  
плывут в полях моей эклоги,  
и я — дитя сырой земли,  
она мои целует ноги.

О, этот дождь, о, этот гром,  
и золотая круглость сена,

и пережат весёлой пены  
у теплохода за бортом;

Луны смешная воркотня,  
четвёртый спас, таённость пеня,  
и жизнь простая, как репейник, –  
всё это я.  
Люби меня.

### Пушкин

Вольной русской речи  
Катится река.  
Александр Сергеевич,  
Я – издалека.

Знаю из рассказов,  
Писем и картин:  
Вы – голубоглазый  
Смуглый господин.

Воспеватель воли  
И дитя до слёз  
В русом ореоле  
Вьющихся волос.

Пишут, что не шибко  
Рослый – пять вершков.  
Но хронист ошибся:  
Вы на сто голов

Выше даже века,  
Смявшего звезду...  
Вот сирени ветка,  
Как у Вас в саду.

Стало быть, пригожий  
Этот райский сад  
Оказался горше,  
Чем Дантесов ад.

Не сломала срока  
Магия камней:  
Подчинились року  
Ваши семь перстней.

Там, от Чёрной речки,  
Обжигая лёд,  
Вольной русской речи  
В жилах кровь течёт.

### Никита БРАГИН

Родился в 1956 году в Москве. Окончил геологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Доктор геолого-минералогических наук, главный научный сотрудник Геологического института РАН (Москва).

Автор десяти сборников стихов, лауреат Всероссийского поэтического конкурса имени Сергея Есенина (2018), Международной литературной премии имени Сергея Есенина «О Русь, взмахни крылами» (2019), Международного поэтического конкурса «45 калибр» (2014, 2019).

Член Союза писателей России. Живет в Москве.

### ОБМОЛВКИ ЛЮБВИ

#### Деревня Селиваново

В доме царствуют седые пауки,  
в доме душная, сырая тишина,  
на дверях томятся ржавые замки,  
за наличниками ночь темным-темна.

Ни движения, ни скрипа половиц,  
только где-то тихо капает вода –  
в эту ночь роса слезинками с ресниц,  
и прохладно серебрится лебеда.

Это сердца упокоенного сон,  
и в крапиве затаившаяся тьма,  
а беспмятная жизнь со всех сторон  
обступает опустевшие дома.

Но о смерти, наступившей и былой,  
не беседуют ни разум, ни душа...  
Только веет иван-чаем и сосной,  
и малина, словно в детстве, хороша.

#### Над Волгой

Всепоглощающая ширь  
равнины и чащобы хмурой...  
Сам Желтоводский монастырь  
застенчивой миниатюрой  
я вижу с этой высоты,  
с безлесного откоса Волги,  
и блещут искрами кресты  
в лучах зари, по-русски долгой.

По-русски – значит широко  
и не вмещает веками –  
туман стекает молоком  
под пепельными облаками,  
и одинокая душа  
зовет и ждет, сама не зная,  
кто ей откликнется, спеша  
и сердце стужей пеленая.

Размеренно, как метроном, –  
все совершилось, все минуло,  
над умирающим зерном  
ни звездочки не проблеснуло,  
и остановлена река,  
и время пятится вслепую,  
и дума бьется у виска –  
как это чувство нареку я?

Вручи мне эту ширину  
и подхвати движение струга,  
на стрежне разведи волну,  
течение изогни упруго,  
и вниз по матушке-реке  
пусть льется песня вековая,  
и крылья весел налегке  
взлетают, гребни разбивая!

Взбежать, сорваться и взлететь  
над родиной, седой и сирой,  
над ветром, хлестким, словно плетъ,  
и в небо, нежное как мир,  
туда, где утро – навсегда,  
где васильки не увядают,  
туда, где вешняя вода  
воистину вода святая.

\* \* \*

Когда коснется одиночество  
изломом высохших ветвей  
и отзовется только отчество  
из горькой памяти твоей,  
тогда ты все увидишь заново,  
как в детском радужном стекле –  
предутреннее, первозданное,  
единственное на земле.

Увидишь, словно не утрачены  
в десятках прошуршавших лет,  
в быту и беготне горячечной,  
в дыму дешевых сигарет –

ни муравы прохлады дивная,  
ни темных елей тишина,  
ни восхищение наивное  
смешной девчонкой у окна.

\* \* \*

И всё это было музыкой,  
спящей в закладках книг –  
чёрный изгиб ужика,  
кряквы нервный крик,  
синий бочок ягоды,  
сливовая камедь,  
лилии в тихой заводи,  
заката тёплая медь.

За этой тишайшей музыкой  
сквозь умирающий сад  
спешишь по тропинке узенькой,  
но не вернёшься назад,  
потому что мотив ласковый  
здесь не сыграть и не спеть,  
потому что за детскими сказками  
нас ожидает смерть.

А жизнь остаётся музыкой  
в том надзвёздном краю,  
где снова юной и суженой  
я тебя узнаю,  
где на опушке вечного  
наша любовь звучит  
дальними звонами вечера,  
тихой струной в ночи.

\* \* \*

Туда, где мох и спелая морошка,  
моя душа влетает спозаранку  
сквозь отворенное во сне окошко,  
минуя поезда и полустанки.

Еловый сумрак без конца и края  
она вбирает, раскрывая очи,  
и, ведьмиными кольцами играя,  
себе самой – и родине пророчит.

Свои слова сама не понимает,  
поёт их, словно песню берендеев,  
и плачет вдруг, и бьется, как немая,  
увидев над собой топор злодея.

И, соскользнув по иззубренной грани,  
плывет к надежде паутинной нитью,

и в омурах сознаний и страданий  
горит и говорит, что снова быть нам!

Что будет снег, пуховый, непорочный,  
и будет смех, тишайший и легчайший,  
и в сердце будет нежность многоточий,  
зовущая все дальше, дальше, дальше.

И будет как платочек на деснице  
моя страна, где радуешься, плача,  
где, умирая, улетаешь птицей  
сквозь дым родной, смолистый и горячий!

### Речка Черемха

Черемха ты или Черемуха?  
Как понравилось, назови,  
и не бойся ошибок и промахов –  
это просто обмолвки любви,  
это корни, мхами окутаны,  
это черная грубость коры  
с белой кипенью, летними утрами,  
звонким щебетом детворы.

\* \* \*

Солотча милая, уснувшая в снегу  
как шишка с золотыми семенами!  
Поделишься со мной своими снами,  
пока я твой покой постерегу?

Краса сосны и крепость кирпича  
плывут косыми строчками на белом –  
их тихий строй мне только что напела  
заката литургийная парча.

И я спешу, родная, за тобой,  
вослед изгибаю луковиц и гроздьев,  
по колеям в подковах и полозьях  
в твой дух – и смоляной, и зерновой!

\* \* \*

И снова говорят, что ты – была,  
что капельками солнца купола  
упали с неба и давно остыли,  
что письма твои – одна зола,  
и сам язык твой старчески бессилен.

Не стану спорить. Пошлые слова,  
шуршат, как облетевшая листва,  
крошатся, оставаясь без ответа.

Как в чистом поле ранняя трава,  
так для моей души твои приметы –

окошко, просветлевшее в ночи,  
и теплота растопленной печи,  
и солнышки блинов, и чая кружка,  
и небо, где весенние грачи  
кружатся над ветшающей церквушкой.

### Рыба моя

Рыба моя золотая, хозяйюшка тихого плёса,  
слышу, как ты заплетаешь кувшинок зелёные косы,  
вижу тебя в повечерье девушкой на берегу,  
сказке твоей верю, радость её берегу.

Рыба моя, серебрянка, стройная дочь океана!  
Сквозь пережат спозаранку идёшь, не чувствуя раны...  
Вижу тебя в кольчуге светлых стальных колец,  
вьющую в пенном круге любви смертельный венец.

Рыба моя живая, сетей галилейских свиток!  
Семь испекли караваев, тысячи были сыты.  
Прочту анаграмму «ихтис», увижу размах креста –  
в потоке порочных истин правда твоя чиста.

Рыба моя, тайна – воды и самой жизни!  
Вёсел плеск величальный, полные солнца брызги!  
Плыви, я тебя отпускаю в твой сокровенный скит –  
ты же одна такая, мир на тебе стоит.

\* \* \*

Из синей проталины неба  
над храмом Бориса и Глеба  
Ты смотришь на наши дела,  
на битые карты и туши,  
и наши пропащие души,  
оструганные догола.

И как же в такой безнадёге  
на грязной канальной дороге  
Ты видишь и липы, и мед,  
и губ сочетаемых нежность,  
и детского взгляда надежду,  
и все, что прильнет и поймет?

Я буду слепым и оглохшим,  
но дай мне слезы Твоей ковшиком –  
прозрею, услышу, спою,  
коснусь облаков куполами,  
узнаю сквозь камень и пламя  
воздушную ризу Твою.

## Павел КЛИМЕШОВ

Родился в 1946 году в Горьком. Окончил историко-филологический факультет Горьковского государственного университета имени Н.И. Лобачевского. Работал токарем, литературным сотрудником в ряде изданий местной периодической печати, Художественном фонде РСФСР, нескольких книжных издательствах.

Прозаик, поэт. Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

## ...И ДАЛЬ ВРЕМЁН, КОТОРОЙ НЕТ КОНЦА

### Художник

*Николаю Мидову*

Он угасал. И с жизнью мирской  
Замедленно прощался. Было грустно  
В промёрзшей, полутёмной мастерской,  
Где в полутьме покоилось искусство:  
Холсты впритык на тесном стеллаже,  
Гравюры по углам в потёртых рамах,  
Эскизы, бесполезные уже,  
Как острые болезненные раны.

Он угасал. Отказывала плоть.  
Смеркался дух в потёмках прожитого.  
Тускнели мысли до забвенья вплоть.  
Всё было сложным, не было простого.  
Куда пропали гордые года?  
В грядущее иль в прошлое, неясно...  
Одно известно: больше никогда  
Ему не изъясниться громогласно.

Недужный шёпот только бы достиг  
До Господа Всевышнего!.. Услышит  
Он стон многострадального «прости»?  
Благословит ли покаянье свыше?  
Простясь со всеми, кто покамест жив,  
И не простив себе ни йоты гнева,  
Ни гордости, ни зависти, ни лжи,  
Он чувствует, что чёрный ангел слева.

А справа – светлый. Он склоняет лик.  
Он согревает стынущую спину.

А был ли мастер яростен и велик,  
Теперь, на грани жизни, всё едино.  
Всё истончилось, обратившись в тень,  
И каждый вдох Создателем отмерен...  
Последний миг или последний день?  
Он зыблется у заповедной двери.

### Из дневника

Тайна сия велика –  
Грезится только разгадка.  
Движешься издалека  
Через торосы, негладко;  
Чуть ли не в пику судьбе,  
Чуть не на ощупь, на ощупь  
Тянешься тайно к себе –  
Нет ли занятия проще?  
Тайна сия так стара,  
Так неподвластна наскоку,  
Что отказаться пора –  
Мало в старании проку.  
Даже бессильны стихи  
Чуть обозначить дорогу,  
Яры они иль тихи –  
Тайна немотствует строго.  
Только покровы и тьма...  
Как ни пытайся пробиться, –  
Та ж бытовая тюрьма,  
Те же неблизкие лица.

### Судьба

*Моя судьба, старуха, нянька злая...*  
Яков Полонский

Моя судьба – надменная особа,  
Не старая – ядрёных, зрелых лет.  
Мы в душной тесноте ютимся оба –  
Обидно мне, а ей и дела нет.  
Она всем существующим довольна,  
Поскольку знает цель, куда идти;  
А мне и притеснительно, и больно  
На путаном, пугающем пути.  
Но нет разлада, хоть лицо воротит  
От выходок моих и тусклых дум;  
Притом она, надменная, не против,  
Что я без спроса с музою иду,  
И только третьей нависает сзади...  
Но что поделать? Так тому и быть.  
Я знаю: даже в праведной надсаде  
Не вымолить пощады у судьбы.

## Лёгкость

*И пожелал я лёгкости небесной...*  
Арсений Тарковский

Ах, лёгкость, лёгкость, твой обманный флёр  
Пьянил и нежил в юности беспечной,  
Покамест быт бодливый не припёр  
К суровому сознанию: жизнь – конечна.  
Но лёгкость, лёгкость! Твой озонный зов,  
Пронзая, полнит сны тревожной ночи,  
И в них я начинаю жить с азов,  
К небесному причастию охочий...  
Как трудно пробуждаться! Мрак и стынь  
За окнами, постель мокра от пота,  
А может, слёз... Прозренья непросты  
И гнёт к земле вседневная забота.

\* \* \*

*Это дело давнее.*  
*Не моя вина...*  
Юрий Левитанский

Давние романы.  
Первой страсти пыл.  
Странные обманы...  
Как я робок был!  
Таинства на ощупь...  
Близость не попад.  
Ни сложнее, ни проще –  
То подъём, то спад.  
Сладкие пристрастия.  
Ревность ни к кому...  
Беды или счастье?  
Так и не пойму.

\* \* \*

*Но где снега былых времён?*  
Франсуа Вийон

Ещё оснежье жгло намердни  
От непогод усталый взгляд,  
Дожди изъели снег последний –  
Вернётся он уже навряд.  
Не только снег! Горьки утраты  
Высокой юности, любви.  
Года мои не виноваты,  
Лови мгновенья, не лови.

Так повелось во тьме исконной, –  
Не нам, наивным, вопрошать.

Времён суровые законы  
Приемлет робкая душа.  
Увянет плоть, почиет в Бозе,  
Растают отзвуки имён...  
Вспорхнёт в космическом морозе:  
«Но где снега былых времён?»

## Ностальгия

Белобрысый парнишка, послушай меня,  
Ты беспечно смакуешь вседневность простую,  
И тебе не понять беспокойного дня,  
Что меня понагнул, суетой испытуя.  
Да, тебе не понять... Да и я не вернусь  
В ту вседневность твою, где светло и привольно.  
Посмотри и прости неотступную грусть –  
Мне смотреть на тебя и завидно, и больно.  
Я седой и смурной, а хочу снова стать  
Белобрысым тобой, в ком разыгралась свобода,  
И на склоне судьбы обрести твою стать.  
Я б за это года недожитые отдал.

Что? Ты против? Но ты – это ж я,  
Только прежний, далёкий, в венце простодушья;  
Ты пойми, от излишне крутого житья  
Кособокий «комфорт» нагнетает удушье.  
Ты дичишься компьютерно-сотовых благ?  
И тебя не прельщают приманки прогресса?

Ты в барачном раю упоительно наг  
И причастен орехам и ягодам леса;  
И окраина малая так широка –  
Аж до звёздных высот простирает пределы;  
Мировой океан – голубая Ока,  
Плывать в ней – гулевое мальчишеское дело!..  
Белобрысый парнишка, меня пожалей,  
Я встречаться с тобой до безумья охочий.  
Умоляю, малец, берегись, не старей –  
Мы сольёмся с тобой порубежною ночью.

## Возврат

Я помню молодость...  
Не только ностальгия –  
Как будто обретаю на возврат  
Лужайки, лес, забавы дорогие,  
Баракы, пацанов, и каждый – друг и брат.  
И снова дрожь души,  
И чистота и ясность,  
И даль времён, которой нет конца...  
На грани постаренья так опасно  
Лишиться из морщин слеplённого лица.

Но ведь под ним –  
 Мальчишье, молодое!  
 Оно стремится вновь увидеть свет...  
 И кто сказал, что я его не стою?  
 Кто утвердил, что вспять  
 Возврата нет?

### Календарь

Оторвал листок – очень просто:  
 Полсекунды – и нету дня!  
 Но тот день я прожил не в досталь,  
 Это всё ж тяготит меня.  
 Сколько в мусорке тех отрывков –  
 Как бумажный крутой сугроб.  
 Всё белым-бело и так зыбко,  
 Всё уложено в некий гроб;  
 И пугает рефлекс пустяшный,  
 Что ничуть не пугало встарь:  
 Стал бесценнее день вчерашний –  
 Слишком тонок мой календарь.

## Проза

### Владимир ЛЕБЕДЕВ

Родился в Сергаче Горьковской области. Окончил Горьковский педагогический институт иностранных языков (ныне Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова). Доцент, кандидат филологических наук. Работал 40 лет в НГЛУ, кроме того, в двух других университетах города.

Автор лирических стихов, рассказов, четверостиший, афоризмов, басен в прозе. Лауреат премии «Золотой теленок» клуба «12 стульев» «Литературной газеты». Ряд его книг изданы на русском и немецком языках. Переводит с русского на немецкий стихи нижегородских поэтов.

Член Союза писателей XXI века, почетный член Московского клуба афористики. Живет в Нижнем Новгороде.

### БОГ В ПОМОЩЬ!

30-е годы в деревне. Жизнь натужна и угрюма, как задерганная лошадка, тянущая непосильный воз в гору. В колхозе скатертей-самобранок не раздавали, урожаи давались потом и кровью. Ежедневная карусель неотложных земных дел крутила и скрипела и мчала вихрем по кругу. Волны коллективизации и отбора «излишков» у крестьян захлестнули страну, что с энтузиазмом строила самое развитое и самое человеческое общество на земле. Брошенная на сельские просторы громыхающая казенная машина прореживала и просеивала, поливала и косила, боронила и запахивала.

Да и погода частенько, осерчав на такую жизнь, то мутила воду, опуская свои ливневые потоки в местную тихую речку и превращая поля в топкие болотца, то, вдруг спохватившись, уходила в себя и, застегиваясь наглухо, палила из всех своих солнечных батарей по полям и лугам, садам и огородам. Не щадя робкие стебельки-подростки, выжигала на корню молодые посевы.

Этот год выдался на редкость безрадостным. А ведь чуть не в каждой избе – семеро по лавкам. В самой что ни на есть обычной русской деревне жили-маялись и Иван с Варварой. Детей у них было пятеро, мал мала меньше, все – погодки. Самому младшему – год от роду. Где-то при трех или двух детях хлопот – от полу до стропил, а тут – аж пятеро ртов. Настало время – уже и мальцов накормить нечем. И тут у Варюхи, надорвавшись, слег кормилец, Иван. Лежит неделю, вторую,

а дела стоят. Смотрит как-то сосед Степан на его дом: крыльцо и то охромело, на одну ногу припадает. А на днях вдобавок еще ветер шальной прямо по крыше сараюхи с хлевом прогулялся. И старый плетень, как непьющего после стакана самогона, перекосило.

А Ивану все хуже и хуже. Вот-вот к предкам своим на небеса отправится. По всему, последние часы доживает. Перед смертью подзывает он своего соседа, Степана, с которым прожили бок обок, и не год, не два, а лет этак тридцать с гаком.

– Послушай, Степан. Не жалею я на этом свете, – с трудом произносит он, напрягая жилы. – Ребятишек жалко – не потянет Варюха, сгинут ведь. Не дай лиху случиться. Подсоби, как могёшь.

И на следующий день умер.

Степан со своей Дарьей жили одни, без детей. Был мужик работающим, мастеровитым, к тому же добрым. А вот наследниками они не обзавелись, не получилось. Конечно, не раз завидовали соседу в этой части, без детей жить – как поле без урожая, лето без дождя. К тому же и в хозяйстве будущие молодые помощники ох как нужны. И вообще, кто дело, которым жили их деды и прадеды и их прапрадеды, продолжать будет? Не было у них и родственников: единственного Дарьина брата взяли за какие-то слова, которые он на людях сгоряча взял да и выдал напрямую о раскулаченных: дескать, умели те работать.

Схоронили Ивана, вернулись Степан с Дарьей домой. Присели: ну, как соседям помогать будем? Прикинули, что да как, – всё не то. Там же все дела по дому обделывать надо, кругом крутиться, чинить, латать, в огороде горбиться, дрова на зиму заготавливать, сено домашней скотине припасать. Да еще и в колхозе лямку тянуть. А детей поднимать? Кормить, одевать-обувать, всяким премудростям да полезностям учить. За каждым ох как глаз нужен: не справится Варюха, всё в тартарары пойдет...

Сидят – только вздыхают да охают. И вот смотрит Дарья в упор на Степана, потом, потупившись, отводит взгляд, снова смотрит:

– Давай-ка, Степуха, перебирайся в Иванов дом. Станешь там за хозяина. Ребятишкам своим будешь.

– Ка-ак?

– А я обойдусь.

– Да ты что?

– Мне одной много не надо. А то ничего не выйдет, пятерых мальцов погубим. Иди. Бог в помощь тебе!

Почесал Степан в затылке, крикнул, встал, непроизвольно махнул рукой... Раскачиваясь, подошел к широкой лавке у стены, достал ящик с инструментом, снял с крючка фуфайку, сунул ее под мышку, надел картуз и – ступил за порог.

## Надежда ГУСЕВА

Родилась в 1976 году в Зеленодольске (Татарстан), окончила Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет, отделение химии и биологии. Преподает биологию в лицее.

Публиковалась в литературном журнале Edita (Вестфалия), готовится к изданию сборник рассказов. Повесть «Амари» вошла в шорт-лист международного конкурса «Этноперо-2019». Живет в Зеленодольске.

## АМАРИ

### 1

*А вот ещё... Жила цыганка-чёваханя, сама уже старая, а детей нет. Беда. Вот пошли цыгане по деревне, гадают да просят, а чёваханя\* всё по сторонам глядит – какую деточку меньше любят. У всех ребятишек мамки да батеньки, бабки да дедки, а одна девочка, страшная да грязная, одна сидит, со всеми не играет.*

*«А чья это чяёри\*\*? Чья деточка?»*

*Ей отвечают: «Сиротка. У тётки живёт, в работницы растёт».*

*Дождалась чёваханя тёмна да и украла её. Принесла к себе, а смотрит – девочка некрасивая да больная, вся кожа как у гуся ошипанного. Прочитала тогда чёваханя свои слова, вставила сиротке в глазки два изумруда, а в ротик – кораллы, а потом и говорит: «А ну повернись, милая».*

*Повернулась сиротка и сразу сделалась такой красавицей, что ни в сказке сказать, ни пером описать.*

О своей ненормальности я догадалась не сразу.

Воспоминания других детей были первой причиной, почему я это заподозрила. Как оказалось, они помнили много чего из своего раннего детства. Я же не помнила почти ничего до самых шести с половиной лет. Может, виной тому болезнь. А может, до приезда Аглаи с Дедой и запоминать-то было особо нечего.

Когда меня одолевает бессонница, я думаю об этом, всё пытаюсь что-то отыскать, уцепиться. Нет, бесполезно. Да и какая теперь-то разница!

Весь мой багаж памяти скудно ограничивается тремя-четырьмя последними днями в «Гнёздышке». Зато я до сих пор помню каждую мельчайшую деталь этих дней – свою кровать с зелёным покрывалом, дырки на линолеуме, запах щей в коридоре и тарелку с незабудками.

\* Старшая женщина, «знающая», иногда – ведьма, колдунья (цыг.).

\*\* Моя девочка, дочка (цыг.).

Могу сказать, какие книги стояли на полке, назвать все наши игрушки, описать, в какую одежду были одеты воспитательница, нянечка и дети. Я даже помню – кто и что в то время говорил.

Стояли ясные осенние дни. Светило солнце, желтели листья, и мы шли на прогулку во двор. Я стояла у ярко раскрашенной лесенки и смотрела, как играют дети. А сама ни с кем не играла.

А в последний день меня обидели. Я лежала на полу и медленно расставляла кубики в одну линию. Это были деревья. Они росли и покрывались листьями. По веткам прыгали маленькие птички.

И тут одно дерево надломилось и затрещало. Я подняла голову. Крупная девочка пинала кубики ногами. Я молчала и не сводила с неё глаз. Заранее зная, что сейчас будет.

Свет померк, в ушах зашумело, ноги и руки исчезли, исчезли игрушки и дети, мир исчез... И разверзлась тугая чёрная воронка – та, в которую я падала много-много раз – я помнила это, только это – самое страшное в моей жизни.

А потом я лежала на полу – без сил, раздавленная, перемолотая безжалостным приступом. А все они смотрели на меня. Монотонный шум чёрного водоворота медленно и тошнотворно вился внутри головы. Но они, конечно, его не слышали.

– Господи! Машенька! Хорошая моя, ну-ка пойдём, – наша нянечка подсунула под меня руки и подняла – легко, словно куколку.

– Тётя Зоя...

– Что, миленька?

– Дай бусы поиграть.

– И бусы дам, и чай попью, и... что хочешь! Только сначала лекарство выпьем.

Она несла меня и всё ворковала. А по коридору навстречу нам уже мчалась, топая толстыми ногами, кудрявая краснощёкая медсестра.

Потом я долго спала. А когда проснулась, нянечка была рядом. Она помнила свои обещания. На полированном столе появились три заветные вещи – тонкая гжелевая чашка, конфета «Мишка косолапый» и сияющие бусы из чешского стекла. Я медленно развернула конфету и с удовольствием вдохнула запах, идущий от фольги. Мне нравился шоколад.

Дверь отворилась и в комнату вошла наша заведующая.

– Опять? – тихо спросила она.

Нянечка кивнула.

– Плохо дело. Как же недосмотрели?

Нянечка вздохнула. Заведующая наклонилась ко мне. От неё пахло духами и немного потом. Над блестящими губами наметились тонкие усики.

– Машенька, – она говорила по-прежнему тихо. – Скажи мне, что случилось.

– Люда сломала мой лес, – сказала я, жуя конфету.

– О, я знаю, она не нарочно. Давай простим её, и она не будет так делать никогда-никогда.

– Давай.

– Ох, как хорошо! Выздоровливай.

И она направилась к выходу. У заведующих всегда много дел.

И тут бы самое время поиграть бусами нянечки. Но я не успела.

Потому что в «Гнёздышко» прибыли Деда и Аглая.

Уверена – ни до, ни после в уютном тихом «Гнёздышке» не случилось подобного переполюха.

Это было нашествие. Оккупация. Катастрофа. Это была безоговорочная капитуляция всех возможных устоявшихся традиций, тихих уголков и режимов дня.

Они не вошли, а ворвались. Нет, влетели. И сразу заполнили собой всё пространство. Хотя по части заполнения пространства больше постаралась Аглая, ведь Деда не особо любил находиться на виду.

Она была яркая, Аглая. Совсем не то что сейчас. Какая-то жуткая юбка, ужасное пальто в рыже-зелёную клетку, цветастая блузка, звенящие цепочки, накрашенные до безобразия губы и волосы – рыжие как огонь.

Это было не отсутствие вкуса и не увлечение хипотой, а тактика, эволюционно доведённая до инстинкта и неизменно передающаяся в поколениях, – нагрнать, оглушить, вывести из равновесия, а потом быстренько получить своё и ускакать в закат.

– Боже-божечки-боже! – возопила она с порога, и у одной из нянь сразу выпал из рук ночной горшок. – Долго же мы добирались! И где же она – моя девочка, мой ангелочек? Антонина Тимофеевна, голуба вы наша, спасительница, как же мы вам благодарны!

Аглая сгребла и прижала к тощей груди нашу потерявшуюся заведующую, а та только стояла как дура, раскрыв глаза и рот до состояния трёх букв «о».

– И обогрели, и обучили... А мы-то, мы-то... Полстраны, вот этими ногами! А бумажек-то, бумаг сколько... ох, скажу я вам!

Тут она отпустила Антонину Тимофеевну, вырвала из рук Деды толстый кожаный портфель и плюхнула его на стол.

Я как раз сидела на краешке кровати у двери и, решив, что всё это как-то странно, сползла, прошмыгнула за дверь и притаилась за кадкой с фикусом.

Да, всё это было очень странно. Как только Аглая появилась, я сразу смекнула, что она появилась не просто так, а в *моей* жизни. И теперь она будет *что-то значить*, и я буду с ней, и с этим краснощёким лысеющим человеком, которого сразу назвала «Деда».

Аглая вынимала бумаги с искусством бывалого иллюзиониста. Они выскакивали из портфеля, раскрывались, крутились в светлом осеннем воздухе, укладывались на стол, подоконник, стулья – куда угодно! Мелькали фиолетовые печати всех возможных геометрических форм, скрепки вспыхивали на солнце огненными стрелками, и листы – машинописные и рукописные, блёкло-жёлтые и снежно-белые – порхали, взлетали и тут же находили своё место, пришипленные метким определением разбушевавшейся Аглаи.

– Справка о доходах! – радостно выдавала она. – Справка об отсутствии судимости! Об отсутствии венерических болезней! Свидетельство о браке! Из ЖКО! Подтверждение родства! Об отсутствии педикулёза! Выписки из домовых книги! Паспортные данные! Справка из горно! Характеристика с работы! Автобиография! Ещё характеристика с работы! Справка окулиста! Невропатолога! Хирурга! Гинеколога! Справка о прививках! О постановке на учёт! Акт осмотра квартиры и ее соответствие техническим нормам!..

Бумаги вылетали и вылетали. То были перья, из которых мне шили крылья. Вылетали, не оставляя ни единого шанса на то, что я останусь в «Гнёздышке», полном щей, каш, кисельных пенек, холодных горшков, растрёпанных книжек, лохматых пластмассовых кукол и детских голосов, не смолкающих ни на минуту.

А может, Аглая швыряла вместо всех этих справок осенние листья. Или Деда купил по случаю пачку газет и нарвал их на кусочки.

А может, и этого не было. Женщина, что печёт посреди зимы пироги со свежими детьми, что-нибудь да придумала бы.

Наконец, портфель заметно похудел. Аглая остановилась и победным взглядом окинула всех присутствующих.

– Я удочеряю и забираю свою племянницу, – безапелляционно заявила она, переведя дух. – Вот... – и ещё одна бумажка вспыхнула на солнце и опустилась на стол.

Если бы Аглая сказала «Ахалай-Махалай!» и посреди кабинета тут же забил фонтан из лимонада – даже тогда она не вызвала бы большего изумления у почтеннейшей публики. Заведующая бессильно опустилась прямо на стопу бумаг в кресле. Нянечка взмахнула руками. Поварица, непонятно почему оказавшаяся на месте событий, закрыла рот руками и ринулась в кухню.

– Но ведь это же... – прошептала Антонина Тимофеевна.

– Где же она – наша девочка?! – грянула Аглая на весь дом.

– Таня, позовите, пожалуйста, – заведующая потихоньку приходила в себя.

И вновь всё пришло в движение. Топали ноги по половицам. Звенели голоса. Какие-то сумки. Где же Машенька? Ах, подожди, Дима, не до тебя тут! Скрип-скрип. На восковом листе фикуса тонкие сухие полоски складывались в силуэт древних башен – над ними парили серые орлы. Вы Машеньку не видели? Лёгкие пылинки плясали в солнечном воздухе. От кадки пахло сырой землёй и тихими ночными вздохами. Я поковыряла почву в горшке и посмотрела на широкий лист. Ну, мне пора. Я вылезла из своего убежища, отряхнулась и встала во весь рост.

Аглая и Деда стояли на фоне окна. Солнце разжигало рыжие волосы огнём и плясало весёлыми зайчиками на розовой лысине.

– Здравствуйте, – сказала я.

Аглая всплеснула руками. Деда улыбнулся, и у меня отлегло от сердца. Я поняла, что он добрый.

– Девочка! Девочка моя... – Аглая присела на корточки и её лицо – бессовестно накрашенное, покрытое сетью мелких морщинок, оказалось напротив моего. – И как же тебя зовут?

И тут свершилось.

А всего-то, если разобраться, произошла безделица. Задумавшись на секунду над тем, как же представиться – солидно Марией или запросто Машей, я смешалась и проговорила:

– Мара...

– Ох, – выдохнула Аглая и посмотрела на Деду.

– Мара, – повторил он.

– Машенька. Её зовут Машенька. Мария Воробьёва, – подсуетилась наша нянечка.

Но её, конечно, уже никто не слушал. Слово было сказано. И я стала Марой. Раз и навсегда.

Потом были короткие сборы. Да и чего мне было собирать? Так, какое-то смешное барахлишко – красное драповое пальто, резиновые сапоги, ночнушка из бежевой фланели, унылые заштопаные колготки, трусы на резинке да шапка с вязаными ушами – вот и всё приданое.

Дети смотрели на меня – высовывались из спален и игровых. Никто не улыбался. Никто не махал руками. И взрослые тоже смотрели. Я думала – никто и не подойдёт, но они подошли – Антонина Тимо-

феевна со сбившейся причёской, молодая практикантка, наш рабочий дядя Юра и наша нянечка.

– А можно мне бусы? – тихо спросила я.

Нянечка вздохнула, повозилась за воротником белого халата, сунула мне в руку радужную переливчатую нитку и потрепала меня по голове.

– До свидания, – сказали мне.

– До свидания, – ответила я.

Хотя это, конечно, было враньё, и все мы об этом знали. Какое там «до свидания»! Это было самое настоящее «Прощай».

Я никогда больше их не видела и не увижу.

А бусы... Вот, видите, столько лет прошло, а я ношу их до сих пор. Смешно, да? Такие радужные стеклянные бусы у вас носят только старушки да безвкусные дурищи. Но ведь это единственное материальное доказательство того, что у меня тоже когда-то было детство. И потом... у нас-то их носят, да ещё как.

## 2

*Ай, ромáлэ, замардýпэ  
Дривáн мáндэ о илóоо...\**

*У нас все поют. Мать моя уж как хорошо пела – все плакали. Столько денег ей давали! Отец говорит – давай домой встанем. Построили дом, живут. Да всё неладно, ругаться начали. Решили уехать. А как уехали, дом и сгорел. Стали мыкаться, где только не побывали. Снова осели. Теперь уж дом готовый купили. Опять не слава богу! Ну что ты будешь делать – не живут ладно.*

*Позвали чёваханю. Она покурила, пошептала. Говорит: «Хотите жить на месте, неделю ешьте по кусочку той земли, где жить будете. А то земля вас не держит». Так и сделали, ели. И правда, потом осели хорошо.*

*А бабушка была у нас одна, так она говорила, что не можем мы на одном месте жить потому, что Бог нас любит больше других. Мы весёлые, поём хорошо, вот и отдал он нам всю землю. Не знаю. Может, и так.*

Мы ехали день, ночь и ещё день. Пыльные стёкла такси, кожа кресла, пропахшая рыбой, забытая кем-то расчёска. Огромное, набитое словно улей, здание вокзала. Поезд – как тяжёлая усталая гусеница.

Мелькали, мелькали, мелькали – деревья, станции, закатное золото, синие сумерки, переезды, дороги, бабы, мешки, дети, мотоциклы...

Я не отходила от окна, не спала, не пила и не принимала пищу. Это не было детским удивлением огромности и многозначности мира. Я пыталась понять всё, что видела. Образы вливались, учили своему языку, играли со мной, дарили музыку и свет, тихонько вели по тонким тропкам и уводили так далеко, куда не ходят нормальные дети.

На столике подсыхали дольки апельсина, нарезанный сыр пускал скупую слезу, крошки от булки падали на пол, в стакане бренчала ложка. Мне было не до еды. Аглая с Дедой понимали это и не надоедали мне уговорами.

Они вообще никогда не уговаривали. Мне было шесть с половиной лет, и отныне я вольна была делать что хочу.

Потом был трясучий загазованный автобус, и, растеряв все силы, я, наконец, заснула.

А когда проснулась, увидела наш дом.

\* Ай, цыгане, забилось очень моё сердце... (Слова старинной песни, цыг.)

Я проснулась, осмотрелась, втянула ноздрями воздух и почувствовала... Знаете ли, довольно глупо воспринимать дома как совокупность стройматериалов и мебели. Это всё равно как воспринимать человека как сумму мяса и костей. У домов есть душа. Это у нас все знают. Поэтому у нас раньше вообще не было домов. Старики говорят, что душа дома держит душу человека и не пускает от себя, не даёт свободы.

С первой минуты всё стало понятным. Тесная кухонька с тусклой грушей мутной лампочки; заставленный хламом коридор; комната Деда (книги, книги, книги); тёмная спальня Аглаи; зала с шеренгой шкафов и сервантов; две крохотные комнатки не пойми для чего; мой закуток с окошком и дверью в сад; два чулана, двое сеней и чердак.

Никого не было в доме. Деда и Аглая прекрасно понимали, что мне нужно, и с утра возились в погребе, ссылая подсохшую картошку.

Я медленно прошла по дому, потрогала старые, сто раз крашенные рамы окон, посидела на продавленном диване в кабинете Деда; подобрала с пола яркую мохеровую кофту Аглаи и, обойдя все комнаты и закутки, улыбнулась. Теперь это было моё жилище – от плотной подпольной земли, пахнувшей картошкой и старыми тряпками, до кончика трубы с отвалившимся закопчённым краем.

А потом мы сидели на кухне. Чайник посвистывал, масло плавилось в недрах овсянки, хрустящая булка гордилась рыжей корочкой. Деда просматривал газету. Аглая дула на горячий кисель в моей кружке.

– А можно мне будет погулять?

– Конечно, – Аглая всё дула в кружку.

– А куда можно?

– Куда хочешь, милая. Вот держи-ка. Кисель, правда, ещё горячий.

В этом была вся Аглая. Никогда, ни при каких обстоятельствах она не говорила «Пойдёмте пить чай», «Обедать!», «Не лезь, обожжёшься» или «Пора спать». Всё это она умело заменяла фразами соответственно «На столе свежий чай и печенье», «Суп может остыть и станет невкусным», «Сковорода горячая» и «Ты, наверное, устала». Слова-указалки были чужды её природе. Она делилась информацией и никогда не обижалась, если её слова игнорировали.

А любопытно было бы посмотреть на то, какие дети могли бы вырасти у такого существа. Подозреваю, что абсолютно счастливые, не ведающие страхов и комплексов. Но у Аглаи и Деда никогда не было детей. Пока не появилась я.

## 3

*А вот ещё мне бабка рассказывала. Молодая она была, шла по лесу, на спине ребёнка несла. Выходит на поляну да и видит: меж двух берёз качели висят, а на этих качелях двое деток маленьких – мальчик и девочка. И уж так смеются, просто радость от них!*

*Что такое? Откуда в лесу деточки? До деревни ведь вон как далеко! А дай-ка, думает, я их угощу. Ну и даёт им пряников да яблок. А детки-то засмеялись да и исчезли!*

*А это спорики\* были, колдовские дети. Кто их видит да угостит, к тому счастье приходит.*

*Бабка-то удачливая была: что только ни задумает, все у нее получается.*

\* Спорики (или спорники) – персонажи цыганских сказок, весёлые лесные дети.

Я шла по просёлку, загребая сухую пыль резиновыми сапогами. Непонятно, почему я надела резиновые сапоги в такую тёплую и ясную погоду. Ни Аглая, ни Деда не удосужились дать совет по одеванию шестилетнему ребёнку. Длинный деревянный забор внезапно закончился, и я вышла из узкого переулочка на широкую поселковую улицу.

Слева и справа тянулись дома, над заборами краснели рябинки, облетали яблони, и только сирени шуршали на ветру пыльными зелёными листьями. Пробежала собака, прокричал петух, женщина в красном халате вышла со двора, увидела меня, раскрыла рот и сразу юркнула обратно в калитку. Дойдя до конца улицы, я не обнаружила ничего интересного, упёрлась в череду огородов и развернулась обратно. Навстречу мне шли школьники.

– Смотри, смотри, – сказал один.

Все быстро глянули на меня и сразу сделали вид, что не заметили.

– Ольховские привезли? – тихо спросил другой.

На него шикнули.

Я не стала с ними связываться. Они всё равно не стали бы со мной играть.

Улица кончилась, и дорога пошла по пустырю. Высокие сухие травы стояли стеной, над ними летали тонкие серебряные паутинки.

Я смотрела на лёгкие белые облачка, повисшие в ослепительно голубом небе. Потом прикрыла глаза и прислушалась.

Дорога сулила прохладные прикосновения миллиардов пылинок и песчинок. Серые воробьи внимательно смотрели на меня с кустов, но думали о своём – у них, у воробьёв, всё не так, как у людей: соображают они совместно, но при этом постоянно спорят. Маленький кузнечик неуклюже прыгнул и устался на меня, и я подставила ему ладонь. Он не сел в неё не потому, что испугался, а потому что у него были другие планы. Мы посмотрели друг на друга и вежливо разошлись в разные стороны.

Я медленно шла, загребая сапогами лёгкую пыль. Солнце припекало спину и грело затылок. Всё шла себе да шла, а когда устала, уселась прямо на обочине, среди сухих былин и пыльных лопушков.

– Мара, – позвал Деда, и я подняла глаза.

Он сел рядом в траву – большой, круглый, в пыльных ботинках, в большом жёстком плаще, в серой шляпе с продавинкой посередине. Так мы и сидели. А потом пошли по дороге, и я держала его за руку.

– Деда, а где мы живём?

– Такой вот посёлок, – Деда взмахнул рукой. – Называется Прибой.

Прибой! Я засмеялась. Слово-то какое!

– А ты кто?

– Ну... я на заводе бухгалтер.

Я залилась смехом.

– А Аглая тоже бухгалтер?

– Аглая? Нет.

– А кем она работает?

Теперь улыбнулся Деда.

– А ты бедовая! Всё тебе сразу скажи да Расскажи. Пошли-ка в магазин, мороженое купим. Мороженое любишь?

– Ага!

## 4

*Была я у родителей девочка умная да красивая. Вот выросла и говорю: «Не хочу замуж за цыгана, у меня в городе есть камлытко\*, он*

\* Милый, любимый (цыг.).

гаджо\*, не наши». Как так?! Родителей не слушать?! Как не пойдёшь?! Пойдёшь. И сосватали. А жених-цыган по лесу ехал, на него лесина и упала, насмерть повалила. Опять говорю: «Отпустите меня в город к другу моему. Он человек хороший, взрослый». Куда там! Не пустили, снова сосватали. А новый-то жених на свадьбу ехал да в грозу попал. Ударило в него так, что убило вместе с конём.

Поняли тогда родители – надо отпустить, неспроста это. Но за-ташили обиду – дочь не к своим ушла. А разве можно на свою кровиночку обиду держать? Ушла девушка, замуж вышла, а деток Бог не дал. Так-то против родителей идти. Потом-то они уж простили, да поздно было.

Я обнаружила их так, как заблудившиеся птицы находят путь в тёплые края. Целый день бегала по овражкам и рошицам, лазала в чужие огороды и бросала камешки в болото. Голод звал к тёплому чайнику и краюшке хлеба с вареньем, а холодные ноги – к печке и сухим носкам, но я упорно карабкалась по чужим заборам, лякала в скользкой глине и грела грязные руки, засовывая их в рукава пальто.

Я почуяла их издали и пошла на терпкий запах, на горький дымок, на тусклый свет незанавешенных окон.

Тёмные дома стояли в низинке. Сизые печные дымки уносило ветром. Студёный ветер трепал бельё на верёвке.

Я оглянулась назад. Прибоя не было видно, я ушла так далеко, как ещё не уходила. Другие родители давно бы бегали окрест с криками. Но только не Деда и Аглая.

С самого начала стало понятно, что эти облезлые жилища отличаются от тех, что я видела. И, уж конечно, не своим внешним видом – видала я в Прибое и похуже. Нет, тут было что-то иное. Потоптавшись сапогами по грязи, я стала спускаться вниз.

И тут мне в лицо впился ком холодной глины.

От неожиданности я упала задом на землю, а пока протирала глаза, в меня полетели другие комки – ещё и ещё. Я заревела в голос, встала на ноги и, вместо того чтобы бежать прочь, помчалась к тёмным домам, откуда меня так метко бомбардировали.

Ещё один комок шлёпнулся под ноги, другой задел и без того грязную руку.

Я закричала и схватила придорожный камень.

Камень свистнул в воздухе. Наступила тишина. Потом послышался протяжный обиженный плач.

– На кэр акадякэ!\*\* – крикнул женский голос.

Я стояла посреди дороги и протирала кулаками глаза. Из-за кустов показалась толстая женщина в пышной юбке с грязной кромкой. Из-под косынки висели тонкие косы, в руке тлела папироса.

– Йав кэ мэ!\*\*\*

Я не двинулась с места. Тогда она сама взяла меня за руку и повела во двор, что-то приговаривая и прищёлкивая языком. Я только оглядывалась по сторонам.

Набежали ещё две женщины, помоложе; появились ребятишки, целая куча – худые, крикливые, грязные; вышел кудрявый старик с палкой; залилась лаем маленькая чёрная собачка. Старик бранился на ре-

\* Русский мужчина (цыг.).

\*\* Не делай так! (цыг.)

\*\*\* Иди сюда! (цыг.)

бят. У одного мальчика шла носом кровь. Толстая женщина подвела меня к бочке во дворе, отмыла мне лицо обжигающе-холодной водой и утёрла жёстким полотенцем. От полотенца пахло кислым молоком.

– Пхэн, конэскиро ту?\* Ты откуда? – спросила женщина.

Я по-прежнему молчала.

– Да Ольховских она, – хрипло сказал старик.

И все сразу замолчали. А потом загалдели наперебой, стали осторожно трогать мою одежду, отрывать налипшие кусочки глины, щёлкать языком. Кто-то сунул мне кусок лепёшки, и я тут же принялась жевать. Толстая женщина подала кружку тёплого молока.

– Тебе сколько лет? – спросила худая девочка.

– Шесть.

– Не-ет. Мне шесть, а ты большая, вон какая!

И все засмеялись.

Тут жили цыгане. Давным-давно они бродили по городам и весям, знали толк в лошадах и кузнечном деле, пели и плясали на ярмарках. Но даже в те незапамятные времена для большинства обывателей были как палка в колесе. Теперь же их привычная жизнь окончательно поломалась, и они принялись медленно деградировать, забывая нехитрые ремёсла и всё больше и больше соблазняясь лёгкими деньгами преступной наживы.

Не стоило сгонять их в колхозы. Не стоило расселять по унылым деревням и посёлкам. Народ, привыкший всю жизнь шевелить ногами по бесконечным дорогам и впитывать их музыку, сразу опустился и угас. Исчезли кони с бубенцами. Медведи пошли на шапки скорнякам. Утих стук походных кузней, а потом исчезли и сами кузнецы – в цыганских посёлках мало мужчин.

А они всё жили как умели – часто и бестолково рожали детей, попросайничали на базарах, таскали картошку у местных, торговали сивушным перегонном и относились с чётко уловимым презрением к гаджо – всем не цыганам.

Если не считать Деды и Аглаи, это были первые люди, которые приняли меня в своё общество – так просто, как другие люди позволяют чужой кошке бродить по своему двору и иногда, по настроению, гладят её нечистую шёрстку и кидают ей головы от кильки.

Старик сказал, что отведёт меня домой, но тут на меня налетели худые чернявые дети. Они тормозили меня, что-то кричали на своём птичьим языке, а один мальчик сунул мне в руку облизанную карамель. Я совсем растерялась. Они предлагали мне играть, этого не делал никто, по крайней мере я такого не помнила.

Это было чудо, шальное волшебство. Мы бегали и орали, верещали и смеялись. За занавеской пищал младенец, женщина добродушно ругалась густым прокуренным басом, опрокинулась лавка, отлетела табуретка, дед дал куму-то шлепка, за печкой звенела посуда.

Я и сама не заметила, как стала выкрикивать слова. Мне нравились они – громкие, острые, полные дикой музыки. Старик заметил это и потрепал меня по голове.

– Амари́, амари́. Наша.

– Амари́! – крикнула я, а он засмеялся.

Потом мы ели, и было очень весело – стучать ложками, кусать отломанные ломти и пинаться под столом. А в незанавешенные окна лился красный свет закатного солнца.

\* Буквально: Ты чьих будешь? (цыг.)

Старик сам отвёл меня домой. Мы шли по полю, по искристой от инея земле, а над нами в темнеющем небе летели гуси – тяжело, низко к земле, так что видны были их лапки, прижатые к серым брюшкам.

Аглая вышла на крыльцо, охнула, кинулась, обняла меня и прижала к себе. Старик степенно говорил на своём языке, поглаживал белую бороду, прищёлкивал языком. Аглая его будто не слышала.

– Мара, Марочка моя, – шептала она, и по её тонким морщинкам катились слёзы.

И тогда я поняла, что люблю её. Это было так просто, что я поразились, как же мне раньше это в голову не приходило. Я люблю Аглаю и Деду. И никогда их не брошу. Они – мои. Наши. Аморí.

– Парикирэс\*, – сказала, наконец, Аглая, подняв глаза на старика.

Они смотрели друг на друга – неподвижно и долго. Аглая благодарила не только за то, что меня привели домой. За что-то важное, куда большее, благодарила она.

А гуси всё летели над нашими головами, перекликаясь – прочь, прочь. Их звали другие края.

## 5

*А ещё был у нас раньше праздник. Летом выпадал, по теплу. Сиделись все ночью вместе, а огня не жгли – ни костров, ни трубок, ни печек, ничего! Сидим в темноте, молчим, каждый своё думает. Это чтобы все помнили о тёмных временах, о злом и нехорошем не забывали. Ведь всякое бывает – голодают люди, болеют, мёрзнут. И не ели поэтому ничего – ни лепёшки, ни тёплого чая. Нельзя громко говорить, нельзя петь. Даже дети не плачут. Темно, страшно, зябко. А как восходит солнце, наши старшой разводит костёр, берёт головёшку да обходит нас кругом. Что тут начинается, ой! Все радуются, поют, пляшут, мясо готовят, лепёшки пекут!*

*Весело было, да.*

*Огонь – он живой. Его нам Бог дал.*

Небо стало свинцовым, опустилось до самых крыш и придавило, причмокнуло, отрезало пути. День за днём сыпал снег.

Деда исчез на два дня, а потом явился под вечер – свежий и румяный, с двумя большими сумками. В сумках были валенки, крашенная под леопарда шубейка, меховая шапка, шерстяные гамашы и носки. А ещё конфеты – целый пакет. Всё мне.

Аглая тоже уходила, но ненадолго. Она приходила с мороза, потирала тонкие руки и сразу ставила чайник на плиту.

Иногда мы гуляли вместе – шли до магазина или до автостанции. Но никогда не ходили в посёлок с чёрными домиками. Туда я ходила одна.

Часто, глядя на угольки в печи, Аглая начинала петь. Она пела, закрыв глаза и покачиваясь. Песни были похожи на сполохи алого огня, что пляшет по уголькам, на вой ветра в старой трубе, на метель. Мне хотелось от них плакать, но я не плакала, а крепче прижималась к Аглае, обнимала её за костлявые бока.

А ещё она рассказывала. И непонятно было – сказки она говорит или вспоминает былое.

*Вот, говорят, в одной деревне жила старуха-чёваханя, злая ведьма. Был у неё сын, хороший парень. А она-то никого не любила, никого во*

\* Благодарю (почтительное) (цыг.).

*двор не пускала, а сама только вечером выходила. Встанет, заклиняние пробормочет, а потом повернется вокруг себя и превращается в свинью. И всем, кто к ее дому идет, начинает эта свинья под ноги бросаться. Собьет на землю и катается. Да так, что чуть не до смерти, покалечить могла... А сын у старухи красавец был...*

Жутко и чудно было перед самой ночью, когда Деда уходил к себе, а Аглая сажала меня на табуретку, вынимала головёшку из печи и с причитаниями ходила кругом. Это она уводила прочь чёрную воронку – дула на мою голову, бормотала, шептала, иногда срываясь на русский:

*Иди, иди прочь! Кто переступит мою тень,*

*У того пусть и будут боли, а у моей чяёри – нет-нет-нет!*

И воронка оставила меня в покое, ушла навсегда туда, куда послала Аглая, ушла вслед за горьким дымом тополёвой головёшки.

Иногда к нам приходили люди – под вечер, с оглядкой. Они забирались на завалинку и трусливо стучались в окошко. Выходила Аглая, тихо говорила, иногда что-то брала и отдавала, иногда говорила «нет-нет» и быстро уходила. А гости, в основном тётки средних лет, всё топтались и иногда стучали снова, что-то кричали...

Посёлок будто вымер. Изредка по улицам пробегали подмёрзшие школьники, бабы гремели вёдрами на заледенелых колонках, два раза в неделю у сельмага выстраивались хмурые очереди – был привоз.

А у цыган было весело,людно, громко. Я быстро привыкла к перловому супу и лепёшкам, к обществу чумазных ребятишек, к запаху нестираных пелёнок и сопремого пота. В чулане стояла огромная кастрюля с мутной бражкой. Старший внук хозяина таскал её оттуда ковшом и смотрел, как мы, мелкие, пьём, хмелеем и дуреём. Выходил старик, отменно ругался, грозил длинной палкой, но никогда никого не бил. А вот толстая Азя могла запросто огреть мокрой тряпкой. Мы хохотали и убегали прочь со двора.

Язык не нужно было учить. Он давался без всякого труда, всё равно как примерка другого платья. Через пару месяцев я так же чисто чесала по-цыгански, как и материлась. Деда пытался со мной поговорить, но я совершенно не понимала, почему я не могу изъясняться так, как удобно. И он махнул рукой. Аглая же ни в чём меня не ограничивала. Только если я задерживалась и приходила в темноте, в мороз и метель, с застывшими руками и деревянными ногами, она кидалась ко мне, прижималась, тормошила, отдирала ледяные корочки от штанов, судорожно целовала, ласкала и тихонько плакала. Эти минуты были самыми близкими и радостными.

Потом деда снова исчез. Его не было две недели. За это время случилось многое.

## 6

*А вот ещё бывает – младенец кричит да кричит. А то заболит так, что никакие врачи не помогут. Да что они, врачи, умеют-то! Ходила я ко врачам...*

*Так вот. Это его духи мучают. Либо чёваханя какая порчу навела. Либо мёртвого в семье недавно схоронили, а он с долгами ушёл, дела недоделал. Всякое бывает. А бывает, что мать, пока беременная ходила, зlobу на кого имела. Нельзя на людей-то злиться, нельзя.*

*Ничего, можно помочь. Надо ему, маленькому, заново родиться. А как он заново родится, не будет на нём обиды никакой. Чистый будет как снег.*

Сначала ударили морозы.

Потом у нас подожгли дровяной сарай.

Среди ночи окна озарились жёлтыми сполохами. Горело славно. Хорошо, что сарай стоял далеко от дома, в огороде, а погода была морозная и безветренная – искры не долетали до дома, устремлялись вверх к звёздному небу и там медленно парили, теряя свои маленькие ослепительные жизни.

Аглая кинулась по снегу, теряя тапочки. Она воздела руки вверх и издала странный вопль – не то визг, не то вой. Я в одной ночной рубашке стояла на крыльце и не замечала холода.

Пожарная команда прибыла слишком поздно. Мы лишились всего запаса дров. Будь Деда дома, это не стало бы проблемой. А от Аглаи толку было мало. Она ходила как помешанная, натыкалась на углы и бормотала. Только под вечер мы отобрали годные головёшки и затопили печь.

– Почему дрова пожгли, а? – спрашивала я, оттирая от рук сажу.

– Не любят нас, вот и пожгли, – ответила Аглая равнодушно, беззлобно.

– А почему не любят?

– Да кто ж их знает...

А через несколько дней к нам принесли ребёнка.

Среди ночи я вскочила в своей кровати. В окно отчаянно стучали. Аглая прошлёпала тапочками.

В дом, все в морозном облаке, ввалились, притопывая, две фигуры. В руках первой был свёрток.

– Мама, пошли домой, мама, стыдно, мама, уйдём, – монотонно бубнила вторая.

– Тихо ты, – хрипло сказала первая. И заплакала.

На пол упали заиндевелые шубы. Аглая затопала, засуежилась. И сразу стала другая. Я притаилась за печью и смотрела, как она, что-то бормоча, мечется по комнате и делает странные вещи.

На стол высыпалась мука, налилось молоко и масло. С размаху, пригоршней – соль. Тесто творилось – крутое и тёплое. В печи пылали остатки наших дров. Скалка быстро раскатывала тесто.

– Подай, – сказала Аглая.

Свёрток оказался на столе. Одеяльце и пелёнки упали на пол. Ребёнок был маленький, худой и синий. Ручки и ножки безжизненно свисали.

– И-и-и... – завывала молодая женщина.

– Тихо.

Раз – и Аглая водрузила крошечного мальчика внутрь – как начинку пирога, и ловко защищала края.

– Не-е-ет! Не надо! – заорала молодая.

– Уйди, ты. Штыл!\* – тихо приказала Аглая.

И та послушно отошла, всё ещё протягивая руки.

– Мара, лопату.

Я вздрогнула, кинулась за печь и протянула большую плоскую лопатку.

Аглая забормотала, зашевелила тонкими пальцами, а потом подхватила лопатой пирог с малышом и сунула в печь. Пламя охнуло и сомкнулось над тестом. Из печи пахнуло небывалым жаром. Аглая вытащила ребёнка и сунула вновь – ещё глубже. А потом ещё раз – так

\* Уйди! (цыг.)

глубоко и сильно, что золотые искры роем ворвались в комнату. Запахло жжёной мукой.

И, наконец, бросила свой страшный хлеб на стол и занесла над ним нож.

Непропечённые корки разверзлись. И тут ребёнок заорал.

Он кричал – пронзительно и сильно, но в этом крике не было боли. Он сучил ножонками и тянул ручки. Аглая подняла его над головой – розового, заходящегося в возмущённом плаче, внимательно осмотрела и сунула матери.

– Покорми.

– У меня молока нет.

– Есть. Корми.

На табуретке чмокал малыш. Его мать улыбалась. Бабушка утирала слёзы краем платка.

– Сердце у него больное... Как родился... Ну, и сразу сказали – не жилец. Что только, к кому только...

– Хорошее у него сердечко, – сказала Аглая. – Как зовут?

– Николай. Коля.

– Другое имя дайте. Надо, чтобы была буква «р». Кирилл – хорошо.

– Да-да. Кирилл так Кирилл. А мы... что скажете, сколько нужно, вы только скажите...

– Да ничё не надо, – устало сказала Аглая.

– Нет, вы только скажите, – не унималась женщина. – Мы всё, мы всё...

– Ладно. Тогда – чего не жалко.

Женщины ушли в морозную темень, прижимая укутанного мальчика – сытого, спящего и здорового.

На следующий день во двор въехал самосвал и высыпал душистую гору наколотых берёзовых дров.

Нам часто приносили чего не жалко.

Аглае приносили: мёд в трёхлитровой банке, яйца в корзинках, гепариновую мазь, отрезки шерсти на платье, замороженное мясо, краску для потолка, новые валенки, банки с вареньем, мотки болгарской шерсти, козлиную шкуру на диван, штакетник на забор, раковину из нержавеющей стали и прочие полезные в хозяйстве вещи.

Приносили и деньги, но редко. В такие дни Аглая как-то стыдливо клала свёрток на стол, на газеты Деды. Тот смеялся над ней, но мятые купюры забирал в карман, знал, что не отвяжется. У нас так принято: деньги – мужчине.

## 7

*Нет людей плохих. Нет людей хороших. А все люди грешные, а хотят уйти от греха.*

*Как мать моя захворала, так и я захворала. Маленькая была совсем, грудная. Без молока-то материного пропала бы. А взяла меня кормить маришка – они рядом жили. Так потом и жила: то к своим, то к ней – на два дома. Отец-то бранился, ну да чего уж. Ребёнок, он везде ребёнок. Кормилица моя образованная была – в школе работала. Меня тоже учила, да я глупая была – мне бы только бегать. Бегала-бегала, а в голове-то всё-таки набилось – не выкинешь. И не захотела я к своим жить идти. Ох, отец-то рвал! Потом-то, конечно, вернулась. А и всё равно ушла.*

*Родители мне тоже добра хотели. А поди-ко разбери, где оно – добро. Что к хорошему, что к плохому... Каждый сам себе голова, сам себе хозяин.*

На дворе установилось тепло, и я совсем отбилась от рук. Поначалу, промотавшись весь день с мокрыми ногами, принялась было кашлять и сопливать. Но солнце припекало, чирикали воробьи, по улицам расползались лужи. Мне хотелось бегать, прыгать и орать. Болеть было некогда и незачем. За зиму я здорово подросла и окрепла.

Деда ежедневно брал портфель и уходил на работу. Аглая оставалась дома. А я дома не оставалась – чёрный посёлок в низине звал меня. «Амарй», – говорил старик.

А потом на землю опустился август – тёплый, пожилой и усталый, время, когда по утрам летят холодные паутинки и ложится блестящая роса, а днём бесцветное небо тихо звенит, а земля тяжело нагревается, словно старая летняя печка во дворе.

Весь день я провела со своими крикливыми товарищами. Мы обтрясли яблони в чужом саду, купались в грязном тёплом пруду, купили апельсиновый мармелад и семечки, на спор съели дождевых червей и совершили разбойное нападение на чужих девочек, закидав их сухими комьями глины.

Я пришла домой посреди звёздной ночи – усталая, голодная, с тяжёлыми веками и грязнущими ногами. Не в силах вползти на крыльцо, плюхнулась на лавку и принялась снимать пыльные сандалии. Окно было распахнуто и затянута марлей. Слышны были голоса и плеск воды – Аглая стирала.

– Но это необходимо, пойми, – говорил Деда.

– Рано ещё. Хоть бы год ещё погуляла, – устало отозвалась Аглая. – Её там обидят. Я знаю.

– По-твоему, ей лучше таскаться с *этими*?

Воцарилось молчание. Как будто дом и двор накрыли чугунной крышкой.

– Прости.

– Ничего.

– Я имел в виду...

– Я знаю.

– Но нельзя же так. Обидят – не обидят... Может, запереть её на чердаке, чтобы никто не обидел?

– Нет, – Аглая вздохнула. – Только не запереть.

– Она человек. Девочка, – втолковывал Деда. – Ей учиться надо...

– Толку от этой учёбы, – Аглая хлопнула мокрой тряпкой и вылила воду в ведро. – Вот ты учёный... Впрочем, делайте что хотите.

Послышались шаги. Аглая спустилась по ступенькам и выплеснула воду в угол двора. Я поднялась навстречу и уткнулась головой в мокрый подол на её животе. Она ласково погладила меня.

– Мара, пойдёшь в школу? – спросил Деда, приподняв марлю на окне.

Я посмотрела на Аглаю. Она улыбалась – мелкие морщинки лучиками разбегались от уголков рта и глаз.

– Да, – сказала я. – Пойду.

Свежим утром накрапывал дождь. Мы шли втроём по глянцева от воды дороге. Юбка неловко хлопала по коленям. Букет астр пах мятой

травой и скорой осенью. Я то и дело трясла головой как кошка – банты непривычно стягивали волосы, мешали. На повороте Деда приподнял меня и поцеловал в нос.

– Ну, давай, что ли, старайся, не подведи. Да смотри, плохие слова не говори, это тебе не... – Он осёкся, глянул на Аглаю. – Не дома.

И он поспешил на работу. А мы пошли дальше вдвоём. Аглая всё молчала.

На школьном дворе было полно народу. Аглая протащила меня сквозь толпу и сунула в руки высокой пожилой женщине – мягкой, как булка, и душистой, как наша заведующая. А кругом были дети – совсем другие, чужие, не наши...

И вот мы пошли. И, уже входя в неведомые двери, я оглянулась. Аглая стояла посреди двора. Ветер трепал её крашенные волосы, хлопал полами клетчатого пиджака.

И я не выдержала – бросилась, побежала, спотыкаясь, уткнулась головой в её худой живот.

– Пошли домой! Они все другие!

– Ну что же, что другие? Есть разные люди, – сказала она тихо. – А ты у меня лучше всех – и умница, и красавица.

Я подняла лицо. Мы стояли посреди двора и смотрели друг на друга.

– Ты будешь меня тут ждать?

– А как же! Буду, чяёри, буду.

– Тогда я обратно, а ты жди! Никуда не уходи.

Тяжёлые створки дверей сомкнулись за спиной. Запах побелки и помятых цветов. Цоканье чужих каблуков по каменному полу. Гулкие голоса, чистые окна, шелест бумаги.

Умница и красавица. Не те ли слова прошептала чёваханя в маленькое грязное ушко?

«А ну повернись, милая!»

Я бежала вверх по лестнице. Бежала в другой мир, чтобы остаться в нём навсегда. Бежала от Аглаи, от чёрного посёлка, от бражки и овсяных лепёшек, от песен и брани.

Что к хорошему, что к плохому... да кто разберёт! Никто этого не знает.

## Олег МАКОША

Родился в 1966 году в Горьком. Работал слесарем в трамвайном депо, охранником, строителем, заведующим гаражом, консультантом в книжном магазине.

Публиковался в журналах «Нижний Новгород», «Нева», в альманахе «Земляки». Автор прозаических сборников «ЗЫ» и «Мама мыла рану». Лауреат премии журнала «Флорида» 2012 года.

Живет в Нижнем Новгороде.

## СЛЕДУЮЩЕЕ КИНО

Мне до работы идти ровно тридцать минут, даже двадцать девять. И если я выйду в шесть, то там буду ровно, как оно и требуется, полседьмого. Но выйти в шесть я себя заставить не могу, хоть к креслу привязывай, выхожу в пять тридцать. Всегда. Не знаю почему. В шесть я уже на месте.

Открываю магнитной картой калитку, прохожу и направляюсь к парадному входу, попутно оглядывая фронт предстоящих работ. У меня центральная аллея. У нас с Акимычем. Он чистит от калитки с бульвара 60-летия Октября до входа, я с улицы Маршала Рокоссовского тоже до дверей. У Гоши и Леши – зады: помойка, кухня, веранды и так далее. Там можно особо не надрываться, главное, чтобы машина к мусорным бакам подъехала да повариха Нина Тимофеевна в помещение попала.

А у нас, помимо дороги, по которой топают взрослые и дети, аварийные выходы. Они должны быть отдраены, и за это спрашивают строго. Особенно после того, как в торговом центре сгорели посетители.

Я понимаю российскую ментальность.

Вот с этих входов начинаю.

Захожу в здание садика, скидываю аляску в венткамере, которая служит нам подсобным помещением, надеваю бушлат, рабочие перчатки, беру старую, сточенную до половины дюралевою лопату, мне она нравится больше других, и иду драить выходы. На первом этаже – шесть длинных бетонных ступенек, на втором – железная лестница.

Отдраив ступеньки, я чищу снег у самого здания. От стены ровно на метр. Кто-то мне объяснял, для того чтобы влага не подтачивала штукатурку, кирпичную кладку и вообще. После этого иду на дорогу, и если там снега немного, обхожусь лопатой и скребком, а если много – вытаскиваю из гаража огнемёт, который некоторые несознательные дворники называют говночистом, и затарачиваю на всю Ивановскую.

Огнемёт хранится в помещении нефункционирующего бассейна, который сейчас служит складом и мастерской рабочему по зданию Саньку. Нужно взять ключ от шестой группы, пройти ее, включить свет в бассейне, открыть железную дверь и, спотыкаясь об банки с краской, зайти. Залить бензин, если его мало, включить кнопку «вкл.», повернуть направо рычажок пускателя, вытащить снегочист на улицу через другую дверь, нажать пару раз на «подсос», дернуть за веревочку и наслаждаться.

Я методично хожу полосами, начав от стены и направив пластиковое сопло на другую сторону, на газон. При моем маниакально-депрессивном психозе методичность – наслаждение.

Железные шнеки загребают снег. Снежная пыль летит в лицо. Там, где его много я упираюсь в рукояти всем телом, проталкиваю машину вперед.

Там, где мало – снегочист прет сам.

Хорошо.

Правда, хорошо.

Отбахав свою территорию, я для порядка пройду пару-тройку кругов по всему садику, заглушу снегочист, подъехав к самым дверям бассейна, и затащу его внутрь. Предварительно почистив щеткой от снега.

Тщательно.

Сниму перчатки, шапку, бушлат и зимние ботинки. Надену старые теплые, уютные кроссовки, поставлю чайник, вытаскиваю из рюкзака книжки и печенье.

Забыл сказать, по дороге я захожу в магазин, чтобы купить себе чего-нибудь пожевать. Иногда пачку печенья – с чаем, иногда три банана, иногда два-три глазированных сырка. Сегодня, когда я выходил из магазина, навстречу мне попались два паренька с открытым пивом. Один из них, увидев себя в витрине, провел рукой по волосам и спросил другого: если я сделаю мелирование, ты будешь со мной разговаривать?

Что ответил приятель, я уже не слышал.

Попив чаю и почитав книжку «Поле Родины» (сборник писателей-деревенщиков, в серии «Сельская библиотека Нечерноземья»), я прилягу часов в двенадцать, предварительно обойдя территорию и проверив калитки, на диван в коридоре, но, как всегда, не сумею уснуть и долго буду придумывать сюжеты для кино, которое когда-нибудь сниму.

Первый фильм – «Деревенский Гамлет», про соответственно деревенского паренька, которому было дано много, но он все профукал (тут слово покрепче). Но совершенно от этого не расстроился, не спился, а, наоборот, набрался посконной народной, крестьянской мудрости, среднерусского буддизма и решил, что так лучше. Для него. Для всех. А особенно для спивающегося с круга соседа Джимми. Умный, крепкий, сидит в клетчатой рубахе за столом летней кухни, курит, узловатые темные руки. Нервный, издерганный, язвительный Джимми крутится у забора, тоскует от недопива и пристаёт к герою.

Героя может сыграть Машков.

Я кручу сюжет, продумываю детали и, наконец, сладко задремываю...

Тут срабатывает сигнализация – третий шлейф – кухня и четвертая группа, я подсакиваю как ужаленный, сердце колотится в горле, руки дрожат, на лбу испарина. Нажимаю «сброс» и ложусь на ватных ногах обратно. Точнее, почти падаю.

Первый фильм я уже не помню, поэтому начинаю придумывать кино про воровку на покое, живущую в южном городе, бросившую

сорок лет назад дочь, которая ее разыскивает. Там целый каскад событий, какой-то православный поп с крестом и кадилом, бывшая поделница воровки, ее играет Крючкова, а саму воровку – Чурикова, дочка, стрельба, поножовщина... и просыпаюсь неизвестно от чего.

На часах в телефоне два ночи. Два десять.

Подниматься окончательно и идти открывать ворота хлебному фургону мне в четыре тридцать утра, значит, можно полежать еще пару часиков.

Следующее кино – про тоскующих по Питеру. Огромное количество провинциального народа не устает повторять: ах, Питер, ах, Питер. Вот про них. Как они едут на поезде в Северную столицу и что из этого получается. Можно попросить Бориса Гребенщикова сняться в эпизоде: например, он возвращается с гастролей из города Пензы и постоянно бегаёт в туалет, натываясь на этих провинциалов.

А они его не узнают.

Или узнают...

Звонит будильник в телефоне.

Я, стараясь не спеша, чтобы не ухало в голове, поднимаюсь, нашариваю кроссовки и иду в туалет умыться.

Потом, накинув бушлат, прямо в кроссовках, открывать ворота.

Ставить чайник.

Разговаривать с поварихой Ниной Тимофеевной.

Закрывать ворота за уехавшим Робертом.

Ждать дежурного воспитателя.

Даже чувствовать себя частью коллектива.

Здороваться.

Ждать окончания смены. Самые томительные минуты.

Еще ждать.

Листать книгу, особенно ни на чем не задерживаясь.

Радоваться и томиться.

Радоваться предстоящим выходным. Томиться от адского недосыпа и легкого головокружения.

Жить, в общем.

## МАМЕНЬКИН СЫНОК

Когда-то он любил красавицу.

Асю.

Собственно говоря, не так давно, каких-нибудь десять-одиннадцать лет назад.

А теперь он приходит с традиционной прогулки, кладет сумку на тумбочку в коридоре – сумка безвольно оседает, как бы выдыхая, – потом моет руки и ест приготовленный мамой ужин.

Дурацкая сумка, почти хозяйственная и почти женская. Совершенно непонятно, почему с ними стали ходить мужики. Из качественного кожзама, с двумя ручками. С какой-то перфорацией. Мама подарила на прошлый день рождения.

Он ходит.

Мама его, тетя Маша, за здоровый образ жизни, поэтому на ужин: две картофелины, кусок рыбы, спаржа или как ее там... Сок... И не тот, что набит сахаром под завязку, из ближайшего магазина, а свежавыжатый. Морковный.

Он ест.

Дорого? Конечно. Но если брать всего помаленьку, по чуть-чуть, то даже их с мамой совместного скромного бюджета хватает. Или почти хватает.

Пенсионеры в этом доки. Профессионалы.

Он, кстати, тоже пенсионер, но ненастоящий, не по возрасту, а по болезни.

Пенсия – так себе, но это его не задевает. Потому что он занят настоящим делом. Исследованием. Он занимается систематизацией и классификацией родовых корней древнерусских слов в сохранившихся памятниках мировой культуры. А это целый мир! Да и еще какой! Дилетанту не понять. Дилетант думает, что он ерундой занимается никому не нужной. А это не так. Систематизация и классификация окружающего мира, а тем более корней слов – его вклад в борьбу со всеобщим хаосом. С энтропией, если хотите. Потому что задаром. То есть бесплатно. Ну, в общем, просто так – никто его не просил.

Тщательность, педантизм – его оружие. Каждый предмет на письменном столе на своем месте.

Как у Блока.

Мама это понимает. Мама вообще понимает его лучше других. Ася тоже понимала, но не так, не до конца.

Асю он вспоминает. А мама нет.

Вспоминает часто. И в зависимости от времени суток воспоминания окрашены в разные цвета. Утром – розовые, днем – кофе с молоком, вечером – фиолетовые, ночью – красные.

Мама несколько раз говорила ему, намекала, что была бы не против, если бы он познакомился с хорошей женщиной. Да и он сам не против. У них в подъезде соседка – молодая преподавательница математики, которая ему нравится. Вообще-то она всем нравится. Света. Очень милая. Не похожая на современных девушек и в то же время похожая. Одевается как фотомоделка. Телефон – дорожный. Вроде бы даже машина есть. Он пока не понял. Все никак не удается сосредоточиться.

А насчет познакомиться поближе он пробовал. Несколько раз. Почти подходил и почти начинал разговор. Ловкий. Интеллектуальный. Искристый. Как полагается с такой барышней. Один раз прямо в подъезде, Света выходила, а он входил. А другой – на улице, случайно встретились. И оба раза что-то помешало. Он примерно догадывался что, но не хотел признаваться даже себе.

Мама, говорит он тете Маше, я пошел работать. И действительно идет. Садится за стол, включает купленный матерью ноутбук и погружается в чудесный мир.

Где-то шумит вода – мать затеяла стирку. Где-то бурлит людское варево. Ему все равно – он занят делом. И только иногда, глубоко, мелькнет тень сомнения. Мелькнет и исчезнет. Это единственное, что портит безмятежность происходящего.

А тете Маше нормально, она в своем праве – сыночек накормлен, обстиран и при деле, а то, что жены нет, так это дело наживное, чай еще не старый. А не найдет, так и не надо. Сами как-нибудь проживут.

Да и не «как-нибудь», а хорошо.

Дружно.

А то, что их в доме, пятиэтажке, не любят – пусть. Когда-нибудь они переедут в другой дом – новый и просторный, где никто не будет знать, что ее сынок зарубил свою жену. Тем более он свое уже отсидел, в том смысле, что отлежал.

Почти десять лет.

По городским и областным дурдомам.

## ЛЮБОВЬ

Пили спозаранку.

Сергея Кипятков и Вася Пяткин. Дома у Васи.

И не похмелялись, как можно было подумать, а принципиально.

И вели философские беседы.

Сергея Кипятков говорил: ты заметил, какая редкость любовь? И это несмотря на то, что кругом ее разлиты просто океаны?

Еще бы, отвечал Вася Пяткин, я-то как раз и заметил.

Это почему?

А потому.

А-а...

Выпивали по рюмке текилы. Кипятков просто так, а Пяткин по науке, с солью и лимоном, хоть это и пошлость невероятная.

Сергея вздыхал, глядя на него, потом сетовал: Леха умер, а я каждый день посуду мою... Как раньше...

Ну и что?

А то! Ничего не изменилось. Как будто он и не жил.

Не вижу связи.

Потому что ты дурак.

Ах, в этом смысле... А ты тогда не мой, пользуйся одноразовой, как я.

Не могу, все мои знакомые мужчины средних лет совершенно не следят за бытом.

А?

Грязно у них дома, говорю, зайдешь, вонь – аж с ног сшибает, и везде узкие тропинки.

Куда?

В туалет и к водопое.

Кстати.

Вася идет в туалет, а когда возвращается, Сергей уже разлил по новой.

Руки помыл?

Нет.

Почему?

Дык у меня там все чисто.

Иди помой.

Да зачем?

Затем.

Пяткин уходит в ванную комнату, а Кипятков задумывается.

Васек возвращается, показывает Сергею чистые руки, имитируя сцену из фильмов «Джентльмены удачи» или «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», сейчас уже непонятно, садится за стол, берет рюмку.

Они чокаются и молча выпивают.

Жизнь... продолжает Серега, развивая тему необратимости бытия.

Да... поддерживает его Вася... а вот Котик?

Что Котик?

Ну Котик.

Это какой?

Который в театральной студии занимается в ДК им. Крафт-Эбинга.

А чего с ним?

Выдающаяся личность, несмотря на то что ему только тринадцать с половиной лет.

Серега соглашается, Котик вообще да. Мы тут с ним недавно в метро виделись, так он меня поразил в самое сердце. Идет такой – в очках, с портфелем, сосредоточенный и в джинсах. Главное, меня джинсы синие поразили, я у него спрашиваю: ты чего? А он в ответ: а у меня под ними еще трико. Трико, представляешь?

Сильно!

Очень!

Учитывая, что на улице плюс шестнадцать.

И дождь.

И дождь.

Выпивают еще по рюмке. Надолго замолкают. Слышно, как за одной, кухонной, стенкой сосед играет на шестиструнной гитаре и поет русскую народную песню «Естудей», а за другой – коридорной – жарят котлеты и привычно матерятся Сидоровы. Слышимость изумительная – хрущевка. Друзья еще некоторое время внимают исполнению, наслаждаются, затем Серега спрашивает: а ты помнишь, я в Танюху Ильченко был влюблен?

В школе?

Да.

Помню. А что?

Так.

Нет, а все-таки?

Интересно, что сейчас с ней.

Так ты спроси.

У кого?

У меня.

?

Чего «?», я ее каждый день вижу.

Не свисти, это я тебя каждый день вижу, значит, и ее бы видел.

Что вы говорите?.. Это потому что ты ее как Ильченко помнишь, а она сейчас Пусикова. По мужу. По второму, кстати.

А-а...

Ага.

С бабами вечно так: помнишь ее как Ильченко, а потом – хренак, и она Пусикова. По второму мужу, а по первому как?

Понятия не имею.

Узнай!

Зачем?

Ну, так...

Да ежкин дрын! Ты что – до сих пор?

Да нет.

Да да!

Нет.

Да.

Ну ладно – да.

Это ж надо – старая любовь не ржавеет, – Вася качает головой.

Друзья наливают и синхронно выпивают – оба по-простому, без соли и лимона.

Вообще-то лайм полагается, – сообщает Вася.

Не умничай...

Некоторое время молчат. Вася то ли хочет сменить тему, то ли у него какие-то свои ассоциации, но он спрашивает: а ты помнишь бандитов братьев Французовых?

Ага.

Их потом убили одномоментно.

Всех троих?

Да.

И чего?

Да ничего.

Понятно...

Серега встает из-за стола и тоже идет в туалет. Вася смотрит в кухонное грязноватое окно и о чем-то думает. Слышно, как Серега спускает воду в унитазе. Возвращается. Говорит: тебе бы бачок поменять.

Да ну его.

Тоже верно.

Раньше всё, помню, говорит Вася, мать с женой приставали, просто проходу не давали – сделай ремонт да сделай ремонт.

А потом?

Сам знаешь – мама умерла, а с Александрой развелся.

Да вы и женаты не были.

Какая разница?

Ну да... А Валентину Валентиновну жалко, конечно, прекрасная была женщина.

Серега разливает, и они с Васей допивают бутылку. Молча и не чокаясь.

Через некоторое время Серега спрашивает: еще возьмем?

Нет.

Нет?

Нет.

А как же?

Все равно не поможет.

Тут ты прав...

Хотя...

Никаких «хотя», Вася.

Ладно.

Ага.

Завтра что?

Ничего.

То есть как обычно?

Именно.

Вася с Серегой замолкают и тихо сидят, глядя, один – в окно, а другой – внутрь себя.

На улице – раннее утро.

## ЮЗА

Денег на такси не было, и я приехал задолго до назначенного срока. На последнем автобусе, по крайней мере я так думал, но потом убедился – был еще один, в десять. Выпил чашку кофе на дорогу, у меня под стеклом на кухонном столе лежит огромная репродукция «Обнаженной» Модильяни, сунутая мной туда пару дней назад, непонятно почему. Провел пальцем ей по лобку и поехал. Приехал, стал ждать. Зашел в продовольственный, работающий 24 часа, и купил два «Сормовских пирога» по 27 рублей. Время было начало одиннадцатого, я спросил у охранника, больше похожего на постоянного клиента общего режима, в черной спецовке: пива купить уже нельзя? Нет. А где можно? Напротив киоск круглосуточный, там. У охранника лицо – все взяли от разных людей и наудачу сложили: нос, щеки, рот, глаза, лоб, подбородок и так далее. Перешел дорогу, долго пялился в бликующую витрину, купил бутылку «Жигулевского», вышел на улицу и встал за одним из свободных одноногих высоких оранжевых пластиковых столов. За соседним стояли три пацана, самый длинный рассказывал, как снимал висельника с железнодорожного моста, а за другим три чувачка приклатненного вида, которые обсуждали свои делишки. Я посередине. Самый мелкий из приклатненных, в белом пиджаке с поднятым и замявшемся на бок воротником, толстенький, кругленький, не стоял на месте. Жевал шаурму и припрыгивал. Я отхлебнул пива и куснул пирог. Справа высокий бубнил – ну вот, значит, приезжаем, а он висит, веревка длинная, ножа ни у кого нет, конечно... я пошел вниз на рельсы искать осколок стекла – веревку перерезать... она метров шесть, где он только такую взял... ага, привязал, надел петлю на шею и прыгнул... Я еще отхлебнул пива и куснул пирога. Тепло. От киоска падет свет – освещает нас, дальше – темно, потом дорога. Посмотрел на блатных, они почти допивали. ... Перерезали, а я снизу хотел подхватить, ну или поймать, что ли... не сумел, конечно – упал, в общем... молодой пацан, лет 17. Из-за несчастной любви, прокомментировал лысый спутник высокого рассказчика... Я отвернулся. Блатные закруглились и ушли, бросив мусор в переполненную картонную коробку около моей левой ноги. Потом закончили соседи справа, я перешел за стол блатных – он был почище, а высокий рассказчик, проходя мимо меня, показал поднятый вверх большой палец, все, мол, путем, я кивнул. Хлебнул пива. Убрал остатки пирога в карман, чтобы закусить перед встречей – неудобно с пивным запахом. Из киоска вышел нерусский парень с бутылкой и заозирался в поисках стола почище. Я показал, иди сюда, он поблагодарил движением головы и подошел. Положил на стол орешки. Опять кивнул, угощайся. Заговорил на незнакомом языке с женщиной из соседнего ларька. Потом обернулся ко мне и объяснил: я казах, это моя землячка, я спросил,

почему они не убирают со столов: чистые столы – больше клиентов. Все это он произнес с чудовищным акцентом и сильно коверкая слова. Потом сообщил, что в Россию приехал всего 20 дней назад, работает пекарем в пекарне, снимает квартиру на Автозаводе, встает в 4.30 утра, а домой приезжает в девять. Мне стало интересно, как он сейчас, в одиннадцать ночи, собирается добираться до дома. Он ответил: или на такси, или здесь заночует, на вокзале. Я допил пиво, пожелал ему удачи, попрощался и пошел в здание. Выложил ключи от квартиры на серый пластиковый подносик, миновал арку металлоискателя, приблизился к табло. Рядом стояли люди с чемоданами на колесиках – мне всегда хотелось такой – я тосковал по путешествиям. Сесть было негде. До нужного мне поезда было еще изрядно, и я отправился искать туалет. Сначала нашел для инвалидов, подергал ручку – заперто. Затем спустился вниз и обнаружил обычный. По билетам бесплатно, без билетов – 30 рублей. Зашел – умылся. Вернулся, нашел зал ожидания, сел на свободное кресло. Вокруг меня было человек десять-двенадцать, судя по всему, приехавших давно – сидели прочно, уютно и как-то вписано в обстановку. Всех их я потом увидел на перроне среди встречающих. Сидел, мечтал. Когда подошло время – на табло появились цифры прибытия, – двинул. Выйдя к рельсам, примерно прикинул, где будет 10-й вагон, и не ошибся. 10-й остановился около меня как вкопанный. Перед этим поболтал с пацаном, который сказал, что встречает жену, она едет в 17-м, и что вагоны маленькие. За моей спиной две девчонки лет по двадцать мыли окна с лестницы и разговаривали матом. В основном о том, как им это все надоело, как неудобно мыть и как мало платят. Мат был молибденовой плотности, я аж зажмурился – они заметили и засмеялись. Сделал пару шагов в сторону. Девчонки слезли с лестницы и, таща ведра, скрылись в здании вокзала. Я посмотрел на телефон – 11.56, послышался звук поезда. Через пару-тройку минут он подъехал, слепя огромной фарой (я спрятался за колонну), остановился с каким-то типичным диккенсовским звуком, и из открывшейся двери сразу вышла Юза. Я видел ее первый раз. Я слегка смутился и одной рукой обнял, а другой взял с плеча рюкзак. Мы пошли на улицу...

У нее было узкое девичье девятнадцатилетнее тело (абсолютно идентичное той картинке с модильяниевской лежащей обнаженной).

Меня как будто отбросило на тридцать пять лет назад.

И на вкус она была – как персик.

## СОБАКА С ГЛАЗАМИ МИШЕЛЯ УЭЛЬБЕКА

Я хотел назвать рассказ по-простому, «Последний день» или «Увольнение», а потом решил – нет, пусть будет «Собака с глазами Мишеля Уэльбека».

Предпоследняя перед увольнением смена в детском садике попала на пятницу, значит – сутки. (В субботу обязательно кто-то должен присутствовать в здании, вообще – в выходные.) Я собрал рюкзак: недельную «Городскую», бывшую «Французскую» булку (лежала в холодильнике), недоеденный сыр, банку шпрот, новый планшет и «Серотонин» Уэльбека. Уэльбек мне не то чтобы сильно нравится, но, я думаю, мы с ним писатели одного уровня. А накануне, то есть в предыдущую смену, заведующая мне даже не нахамила, а указала подлинное место в пищевой цепочке. Я, ясен хрен, мирно сидел на диване и ждал, когда все уйдут, а она, прошкандыбав мимо меня по коридору и не поздоровавшись, не посмотрев, ушла в самый дальний конец и оттуда, как бы между прочим, отдавая приказ бесправному рабу, прогнусавила специальным голосом – уберите свою территорию! Немедленно! А не сидите и не читайте книжки на диване! О! слышали бы вы, сколько ненависти и презрения было в этом «не читайте книжки». Я взбесился. Не сильно, но взбесился. И поэтому территорию убирать не стал. Более того, я еще и обматерил весь белый свет.

И вот заступил в пятницу. С пятницы на субботу. На сутки, когда, сделав все дела, можно спокойно сидеть на диване, гонять чай и читать книжку. Но не тут-то было. Я подошел к калитке садика, а она оказалась закрыта на навесной замок. Что необычно. Появившийся из-за угла сторож Леон, строя страшные гримасы, сказал: эта здесь. И свалил, счастливый. А я, зайдя в помещение, разделся, переобулся и уселся за стол заполнять журнал дежурств. Решил, посижу, подожду, когда заведующая уйдет, не может же она вечно тут болтаться, а потом притащу чайник, заварю пару пакетиков и почитаю Уэльбека.

Но она не уходила.

А я сидел и ждал.

Потом, почесав репу, все-таки принес электрочайник из вентиляционной (у нас, у сторожей, в садике нет своего помещения, и мы базируемся в вентиляционной комнате, не сказать камере), включил его в розетку и робко вытащил из рюкзака «Серотонин». Тут, понятно, сразу пришла заведующая и спросила: а вы так и не выполнили мою просьбу? Не убрали свою территорию? Я не выдержал и (сколько раз зарекался не вступать с ними в диалог!) уточнил: так это была просьба?.. (Я вас умоляю, на нее такие дешевые интеллигентские штучки не действуют совершенно. Как об стенку горох.)

Идет строжайшая проверка, продолжала она свой бубнеж, сотрудники силовых структур проникают на территории детских садов, как-то

попадают в здания, пока сторожа убираются на улице, а потом все получают по головам. От сотрудников? – поинтересовался я. От районной администрации...

Я, конечно, сразу захотел выдвинуть встречное предложение. Раз такая тревожная обстановка, может, мне не покидать здания и стеречь сотрудников прямо на месте? Чтобы опередить? Но быстро понял, что это бесполезно, поэтому стоял и нервно теребил в руках пакет (не мой) из винного магазина «Бристоль». Хорошо, что она в этом не шарит, а то бы докопалась до алкогольного пакета (или шарит?).

Наконец, заведующая закончила инструктаж и приказала: проводите меня, и чтобы все двери были заперты! Войдете, воспользовавшись кодом! Есть, ответил я и повел ее к калитке. По дороге она мне сказала, активно педалируя время: я завтра приду поработать! В шесть часов утра! В шесть! Я вам позвоню! Да и хрен с тобой, подумал я, напугала ежа бритым лобком.

А вернувшись в садик, налил-таки чаю и открыл Уэльбека. Но тут в дверь замолотил Санек – мой друг и рабочий по зданию.

Здорово, сказал он, как оно?

А вот объясни, Санек, сразу взял я быка за рога, на фиг заведующая завтра придет «работать» в шесть часов утра? В субботу?

Да она не придет, это она чтобы тебя взбодрить.

Точно?

Нет, не точно... Может и прийти...

Я отвалился с книжкой на диване, а Сашка пошел выпиливать по просьбе поваров из огромной панели доску для всяческих операций с мукой и тестом. Как-то он ее называл, но я забыл как...

Часа через два Саня ушел, я поставил будильник в телефоне на шесть утра, рассудив, что пока иду открывать заведующей калитку – окончательно проснусь, и потихоньку стал засыпать... Да вот только хрен там... Не спится мне в садике... Что хочешь делай, не могу, и все... Промаялся полночи, под утро вроде закемарил, впал в полудрему, но в шесть зазвонил будильник. Я поднялся и поплелся в туалет умываться... Естественно, никакая заведующая никуда не пришла, но я, раз уж проснулся, взяв за дверью в предбаннике метлу и совковую лопату, отправился подметать свою территорию. Рассудив, что дети тут ни при чем.

Мел и думал.

Я всегда мету и думаю.

У меня сейчас период в жизни такой – сплошные испытания характера.

Буквально пару дней назад, после того как я разругался в дрова с барышней своей мечты и лег, расстроенный, спать, по всему району отключили отопление. Проснулся в ледяной комнате. Плюс открытая форточка – я сплю с открытой форточкой. Изо рта пар. Пощупал батареи, покачал головой. Пошел в ванную и там повернул кран горячей воды. Умылся. А потом закрыл его, только он не закрылся, а просто стал вращаться дальше – бесконечно. А общий вентиль так давно и прочно закоксован, что я даже не пытался его повернуть. В общем, пошел к соседям за ключом от подвала, перекрыл стояк и стал ремонтировать кран, слава богу, букса у меня нашлась. На каком-то этапе мне понадобилась помощь приятеля (ключ хотел попросить), но телефон как взбесился, снова и снова набирая один и тот же номер без малейшего моего участия. Плюс сломанный домофон, которым давно пора заняться, плюс еще что-то по мелочи. Плюс...

Вот об этом и думал.  
Не делая выводов.

Делать выводы неинтересно – они слишком очевидны. Интереснее просто думать.

Из-под забора (рваная сетка Рабица в железной ржавой раме) вылезла небольшая синяя собака и посмотрела на меня. Клянусь, она была похожа на Уэльбека, как его печатают на обложках. Я ей улыбнулся. Она мне нет... Ушла...

Листву уже прихватило морозом, и во многих местах я срезал ее лопатой. Закончив уборку часа за два, пошел пить чай. Заведующая так и не явилась. Я еще маленько почитал после чая с овсяным печеньем (не знаю чье, нашел в нашем «сторожовском» ящике – у нас все общее) и заснул, укрывшись старой курткой. Я люблю спать черт-те знает где, укрывшись подручным материалом, мне это представляется очень уютным и романтичным. Я чувствую себя кем-то вроде несильно постаревшего Гавроша.

Во сне, вернее в полусне, я думал об увольнении из садика, жареных котлетах, бульоне и почему-то алкоголизме. Дня за три до описываемых событий у меня вышел спор с одним приятелем о пьянке. Я утверждал, что нельзя просто так называть себя алкоголиком – это диагноз, а не болтовня, и профанация алкоголизма такая же гнусность, как, скажем, профанация рака. И стебаться над ним нельзя по этим же причинам.

Затем я окончательно заснул.

Но ненадолго.

Проснулся минут через двадцать, полежал, слушая, как работает огромный садиковский промышленный холодильник, точнее, целая холодильная комната с тяжелой толстой, обшитой металлом дверью, сел и стал читать «Серотонин»... И снова пить чай... И ждать заведующую... или Сашку... или Счастья, в конце концов...

А Уэльбек... что Уэльбек? Как всегда – я вставил ей в анус и стал интенсивно двигаться, но она соскользнула, повернулась, взяла в рот, и я мгновенно кончил...

Другого-то я и не ожидал.

## Дмитрий БИРМАН

Родился в 1961 году в Горьком. Окончил Горьковский инженерно-строительный институт, а также Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского (экономический факультет). Работал инженером, затем занимался бизнесом. Неоднократно избирался депутатом Нижегородской городской думы, занимал пост заместителя главы Нижнего Новгорода.

Поэт, прозаик, автор шести книг, лауреат премии «Писатель XXI века», литературной премии имени Эрнеста Хемингуэя. Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

## КОРОНАВИРУС ЛЮБВИ

«...и, собственно, всё вышеперечисленное говорит о том, что коронавирус – это обычная вирусная пневмония, на которой очень скоро фармацевтические корпорации заработают кучу бабла!»

Олег, очень довольный собой, нажал на «опубликовать» и стал с интересом ждать реакцию «социума».

Последние два года Тимофеев, знакомясь с женским полом, именвал себя блогером. Действительно, каждый день он комментировал в фейсбуке новости, размещал в инстаграме забавные фото своего любимого французского бульдога с соответствующими подписями, вёл видеоблог «Любовь после пятидесяти лет».

Его сместила истерия с коронавирусом. В свои пятьдесят пять он пережил эпидемии холеры, свиного и птичьего гриппа, смену денег, кризис неплатежей и обрушение доллара. Если учесть, что Олег тридцать лет занимался бизнесом, то его мало чем можно было удивить.

Он разместил в социальной сети номер один (которую, по слухам, плотно контролирует ЦРУ) пост, развенчивая, по его мнению, безумный фейк под названием коронавирус, и ждал откликов.

Тимофеев никогда не спорил с оппонентами и не комментировал ответы на публикации. Он знал, что закон социальных сетей заключается в том, что даже если ты обладаешь исключительными знаниями и компетенциями, то все равно в итоге будешь дураком.

Олег, посмеиваясь, читал комментарии и удовлетворенно хмыкнул, когда количество лайков перевалило за тысячу. Потом, неторопливо листая список лайкнувших и рассматривая аватарки, вдруг замер. С фотографии на него смотрела сквозь стекла модных очков строгая брюнетка с короткой стрижкой.

Евгения Ларсен – имя и фамилия были написаны латиницей.

Тимофеев быстро перешёл в её профиль, кликнул «фото» и начал жадно рассматривать фотографии.

Годами пользуясь социальными сетями, мы складываем, зачастую бездумно и автоматически, историю нашей жизни. Внимательный человек по фото и постам, размещённым в профиле, может создать достоверную картину о том, как вы живёте (и с кем), каковы ваши пристрастия и привычки, чем вы недовольны.

Евгения Ларсен двадцать три года жила в Норвегии, вдовствовала, но была в «гражданском партнёрстве». Её дочь с мужем и двумя сыновьями обосновались на берегу Женевского озера, где, видимо, любила бывать и госпожа Ларсен. Во всяком случае, многие фото со счастливо улыбающимися с ней в обнимку радостными внуками были сделаны на фоне женевских пейзажей.

«Вот, сука, чего они там всегда улыбаются и радуются?!» – Тимофеев поиграл желваками и посмотрел в окно, на стену соседнего дома.

Дом был серым, панельным, с потрескавшимися швами, расписанным юными дарованиями цоколем и металлическими входными дверями в подъезды. Двери были окрашены в чёрный цвет, а кодовые замки, как водится, не работали.

Когда-то в этом доме жила Женечка Тюлина, ныне вдовствующая в «гражданском партнёрстве» госпожа Ларсен.

Они лежали на ковре. Когда одежда была сброшена, она рассмеялась ему в ухо:

– Олежа, а знаешь, у нас будет настоящая половая жизнь!

– Да? – он растерянно оглянулся, увидел, что в комнате только ковёр на полу и старое кресло около окна.

– Да! – она потянула его вниз.

Они лежали на ковре. Он рассматривал пожелтевший потолок, а она говорила не переставая:

– Представляешь, Даша сказала воспитательнице: «Тамара Николаевна, вы глупая!», я ей сразу по губам дала! Кошмар какой-то! Не знаю, что с ней делать.

Олег резко, до хруста, повернул голову вправо и внимательно посмотрел Женечке в глаза.

Заболела жена, и ему пришлось вести Тёму в детский сад. Пока сын, покрхтывая, раздевался, Олег обратил внимание на молодую женщину, которая, присев на корточки, что-то говорила на ухо девочке с розовыми бантами.

Закончив говорить, женщина поцеловала дочь, чуть подтолкнула её к двери в группу, поднялась и пошла к выходу.

Увидел тогда Тимофеев в её, казалось бы, обычном дежурном поцелуе, которым провожают детей родители, какой-то порыв, страсть неотданную и нерастрченную, потребность в любви.

Он быстро поцеловал Тёму в макушку и вышел следом. Они познакомились, а через неделю оказались на ковре.

– Всегда! Слышишь, всегда защищай свою дочь! Не давай в обиду никому и никогда! Даже если она неправа!

– Олежа, ты чего? – Женечка приподнялась, опираясь на локоть, и удивленно посмотрела на Тимофеева.

– Женечка, наши дети должны видеть в нас надёжную защиту, главное, что мы можем им дать, – это любовь! Никогда больше не поднимай руку на свою дочь! И не слушай кого-то, выслушай сначала своего ребёнка!

– А вот ты чего на меня кричишь! Значит, можно взрослым хамить?!

– Ты же не спросила, почему она так сказала?

– Потом спросила. Татьяна Николаевна назвала их с Тёмой «жених и невеста».

– Вот! Дура полная эта воспиталка! Права Даша!

Встречаться им было удобно, хотя и очень опасно. В любой момент жена Олега могла увидеть, как муж, который пошёл в магазин, завернул зачем-то в подъезд дома напротив. Ну, и соседи, конечно, в момент расскажут!

Однако бог миловал. Да и Женечка вскоре съехала с мамой – они обменяли свои однушки на трехкомнатную квартиру рядом с престижной школой.

Встречи их стали редкими, тем более что у Женечки были частые командировки в Москву, да и отправить маму и Дашу погулять тоже получалось далеко не всегда.

В сентябре у Олега родилась дочь, и свободного времени совсем не стало.

7 марта он с букетиком тюльпанов, заехал к Женечке, которая, зардевшись, провела его на кухню, к накрытому столу, и познакомила с Уле.

– Он живет в Бергене и приехал посмотреть наш город.

– И остановился у тебя?

– Да – Женя смотрела ему в глаза.

– Хорошо! Приятного времяпровождения!

– Ты что там, картину Коровина увидел? Ужин остывает!

Олег посмотрел на жену, кивнул головой, еще раз бросил взгляд на размытый сумерками силуэт дома напротив и, вздохнув, пошёл на кухню.

«Привет! – написал он в мессенджере Евгении Ларсен. – Спасибо за внимание к моей писанине!»

«Привет!» – ответила госпожа Ларсен.

Они закружились в переписке, становясь моложе на тридцать лет, собирая лоскутки прошлого, складывая их, словно мозаику, в причудливую картину радости, желаний, встреч, расставания и, наверное, любви, которая прошла, по-настоящему даже не начавшись.

Как-то она написала, что все эти годы помнила его и думала о нем. Он научил её всегда заступаться за дочь, она очень хочет увидеть его, чтобы поблагодарить лично.

Потом он получил СМС, от которого сердце забилося часто-часто и подскочило давление: «Через неделю буду в Москве. Жду встречи».

Олег узнал, в какой гостинице остановится Женечка, и, вздохнув от столичных цен, забронировал там номер. Скептически осмотрел свой гардероб и остановился на джинсах, светло-синей рубашке и летнем пиджаке, который подарили ему на пятидесятилетний юбилей. С обувью дела обстояли хуже.

– Борь, сможешь что-нибудь сделать? – спросил он своего одноклассника, который держал обувное ателье.

– Шо сказать! – Боря рассматривал заношенные, когда-то стильные «Балденины». – Таки я попробую!

– Тебе обязательно ехать на эту презентацию? – жена подозрительно смотрела на Олега, который с улыбкой примерял ботинки, ставшие как новенькие.

– Милая, обязательно! – он поцеловал жену в неподвижный лоб (результат злоупотребления ботексом). – Автор – блогер с миллионом подписчиков! Может, пообщаться получится!

– Если бы бизнес не просрал, то это он бы искал возможность с тобой пообщаться! А что как нарядился?

– Ревнуешь? – процедил Тимофеев, пытаясь изобразить улыбку.

– Отревновала уже! Хотя выглядишь ты... – жена махнула рукой, ушла на кухню и начала там усиленно чем-то греметь.

Он действительно выглядел очень хорошо. Спортивный, подтянутый, с копной седеющих волос и пронзительным взглядом зелёных глаз, Олег продолжал нравиться женщинам, в том числе намного моложе его.

Москва встретила его чистотой, ухоженными газонами и туалетами в метро.

Гостиница была сетевой, сервис налаженным, а персонал радушным. Разместившись в номере, Олег посмотрел на часы: до встречи в ресторане на первом этаже оставался час.

Он прилёг на широкую удобную кровать, думая о том, что через несколько часов они окажутся здесь и Женечка будет ласкать его соскучившееся по ней тело.

Тимофеев внимательно осмотрел себя, снял несколько пылинок с пиджака, тщательно почистил зубы и принял таблетку виагры, предусмотрительно купленную в аптеке на вокзале. В инструкции было написано «принять за час до контакта», но он подумал, что уж лучше с запасом, мало ли...

В лифте ему стало душно и вдруг разболелась голова. Олег вернулся в номер, принял таблетку от давления, посмотрелся в зеркало (а то «до роги не будет») и решил спуститься в ресторан по лестнице.

Она уже сидела за столом, спиной к окну. Он почувствовал, как дрожат колени, и вдруг понял, что пришёл без цветов.

Официант принёс странной паре меню и встал чуть поодаль, ожидая заказ.

Олег смотрел на Женечку, которую не видел тридцать лет, а если бы не фейсбук, то не увидел бы никогда. Он смотрел на морщины, которых не было на фотографиях («фотошоп» – пронеслось в голове), на руки с набрякшими венами, на шею с предусмотрительно повязанным платком и вдруг закашлялся.

– Попей! – сказала Женечка с улыбкой.

Олег кашлял и видел стол в квартире, где она жила с мамой и дочкой, видел ту, молодую и страстную Женечку, видел безвременно ушедшего Уле хотя, сколько ему тогда было лет...

– Попей, что ты! – она протянула Олегу бокал.

Продолжая кашлять, он взял бокал, потом, шумно дыша, выпил воду большими глотками, вытер губы салфеткой, встал, церемонно кивнул головой и сделал несколько шагов в сторону выхода.

– Олежа, ты куда? – растерянно проговорила ему в спину Женечка.

Тимофеев остановился, сделал разворот через левое плечо и отчеканил:

– Госпожа Ларсен, мне необходимо срочно сдать тест на коронавирус!

## Поэзия

### Юрий КУБЛАНОВСКИЙ

Родился в 1947 году в Рыбинске. Окончил искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ. Работал экскурсоводом и научным сотрудником на Соловках, в Кирилло-Белозёрском монастыре, в Муранове и других музеях. В 1976 году он обнародовал открытое письмо в поддержку А.И. Солженицына, после чего был лишён возможности работать по профессии, служил сторожем, дворником, истопником в храмах Москвы и Подмосковья. В 1982 году, после выхода за границы поэтического сборника, подготовленного к печати Иосифом Бродским, был вынужден эмигрировать. Через восемь лет первым из политических эмигрантов вернулся в Россию. Заведовал отделом публицистики, а затем поэзии в журнале «Новый мир».

Автор многих поэтических сборников, выпущенных в США, Франции, России. Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области культуры за 2012 год, отмечен многими литературными наградами, в том числе Литературной премией Александра Солженицына (2003), Новой Пушкинской премией (2006), Патриаршей премией имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (2015).

Сопредседатель Союза российских писателей. Живёт в Переделкине.

### ХВАЛЫНСКИЕ ЯБЛОКИ

#### Ракита

*Светлане Кековой*

Десятилетиями, годами,  
из часа в час  
страшно волнуется за окном ракита.  
Ветер неистово гонит волны  
её схожих с лозой ветвей,  
гонит, не отпуская.  
Редко он позволяет им отдышаться,  
даёт вздремнуть,  
редко и неподолгу.  
И тогда становится даже как-то не по себе.

Подневольная ракита – падчерица миропорядка,  
сердцем простолудинка, духом аристократка.

Так и мы, кто честно владеет словом:  
сколько нас нагибали,  
желчно подтрунивали над нашей речью,  
обходили в своих синодиках умолчаньем.

А мы – хоть и гнули, бывало, спину,  
каждый раз распрямлялись,  
с возрастом распрямились вовсе.

С утра сегодня новая непогода.  
Штормит и мою ракиту.  
Но чем кущи её сметённой,  
беспокойнее крона,  
тем ровнее, медленней бьётся сердце,  
сердце на излёте служенья.

3 октября 2019

### Мечтатель

У далёкого бара  
танцует пара.

В который раз  
в окно интернета,  
как примагниченный, наблюдаю за ними:  
нею – с рыжей косою чёлкой,  
голыми ключицами и руками,  
им – латиносом,  
пластичным и хватким.

Где они нынче  
в русскую вот эту мою минуту?  
Варят, обжигаясь, кофе у океана?  
Или уж давно разбежались,  
и теперь у каждого всё другое?

Эх, имел бы я много денег,  
вытянул бы их на гастроли –  
паренька и несравненную птичку.  
От бедра

закидывала б ногу на его поясницу,  
выгнув стан,  
касалась бы причёской брусчатки  
где-нибудь на Арбате  
у вахтанговского фонтана,  
изумляя наших вахлаков и старлетов...

Аргентинское танго  
здесь – до первого серьёзного снега.

1 октября 2019

### Вечерами в Киото

Обагрённые склоны Японии,  
что бугры самурайской ладони. И

вспышки золотистых чашоб внутри,  
как осколки, пятна и прах зари.

Вновь бритоголовый монах метёт  
перед Буддой двор в кимоно, как йод

тёмно-рыжем...

Гряды маслянистых свеч  
в дремном храме, чьё и беззвучье – речь.

Не бояться аисты налегке  
бережно отхлёбывающих sake

на террасах хлипких по-над рекой,  
когда льётся с лунных небес покой.

Там роман таинственный «Идиот»  
посейчас бестселлер.

И в свой черёд  
смерть ещё вероятней стала  
Акутагавы от веронала.

2019

\* \* \*

Акутагава ли, Куросава  
любили свою Японию, так сказать,  
до последнего самурая,

последней опытной гейши.  
И девятый вал с гребнем и бахромою  
казался животным,  
поглощавшим гребцов на многовёсельных джонках...  
Всё теперь в Японии по-иному:  
клерки-белорубашечники,  
добросовестно в офисах отсидев стерильных,  
вечером толкуются у барных стоек,  
а кто и вкушает ресторанную пищу,  
свежую и сырую,  
поцеживая sake по-птичьи.  
Магический сплав рая и преисподней:  
островная империя внезапных землетрясений,  
вылетающих из океана цунами,  
фантастичных гортанных рулад артистов,  
ослепительных в конце ноября чашоб,  
шёлковых зонтиков  
и ручных оленей.  
Страна, из которой Колчак вернулся  
на гибельное своё служенье,  
неуспешный диктатор,  
герой-полярник,

незабытый в бесчисленных лагерях  
любимой.

5 октября 2019



## Владимир БОЛОХОВ

Родился в 1946 году в Иркутске. Выпускник Литинститута. Литературный крестник Александра Солженицына и Виктора Астафьева. Автор «гулаговской энциклопедии» «Клетчатая хрестоматия» и нескольких книг. Печатался в журналах «Наш современник», «Аврора», «Нижний Новгород», «Дружба народов», «Новый мир» и других.

Лауреат Всемирной поэтической премии «Надежды Лира Золотая» (Нью-Йорк, 2003). Пожизненный стипендиат Русского общественного фонда им. А. И. Солженицына. Живёт в Новомосковске.

## ВОЖАТАЯ ПОЭМА

### I. Есенинский сорокоуст

#### 1

Есенин...

Порою одно только это звуко сочетание заставляет прерывистей биться моё ретивое, далеко не вчера «тронутое холодком» – зачастую – бездарной житейской прозы.

Есенин...

Для меня одно это имя – как позывной сигнал русской поэзии, неизрекаемо-кровной и насущно-неизъяснимой, как само понятие родины.

Есенин...

Под светильником этого имени шалопутно-отроческая моя душа нащупывала собственную – предназначенно-поэтическую – тропу. И не где-то нащупывала, а под небушком в крупную клетку – как, похоже, было угодно промыслу безбашенной моей планиды. И, сдаётся, недаром не одно десятилетие – над моим письменным «станком» – его «образ», запечатлённый (на обыкновенном берёзовом срезе) безыскусной кистью – давно покинувшего белый свет – безвестного русского мастерового-пропойцы...

Я ныряю в октябрьскую гулкую стынь, отрешённо выплывая туда, где «о красном вечере задумалась дорога», а на окраинно-городских крышах закатная заря «как котёнок, моет лапкой рот», и «словно бабочек лёгкая стая с замираньем летит на звезду» сиротливо-кручинная листва – под невыразимо-глобальную и несказанно-земную мелодию пронзительно-простодушной есенинской кантаты:

Если крикнет рать святая:  
«Кинь ты Русь, живи в раю!»  
Я скажу: «Не надо рая,  
Дайте родину мою».

Я уже, конечно, не захлебнусь «лихой самогонкой», как «соломой пропахший мужик», но и вряд ли разминусь с известным русским заведением, магнитным для меня ещё и потому, что под его окошками «горит костёр рябины красной», что ознобным теплом своим согреет не тело, так душу, простёртую к нашей общей с поэтом родине, которую так... Впрочем, лучше него, пожалуй, и не скажешь: «Любил он родину и землю, как любит пьяница кабак». От этих строк, таких штучно-точных, недалеко и до его не менее гениальных: «Дорогая... я плачу... Прости... Прости...» И уже совсем близко – до моего посильно-благодарного ему посвящения...

Прими, Вожатый...

#### 2

*Миру нужно песенное слово*

*Петь по-свойски, даже как лягушка...\**

Снилось-бредилось, что я – Есенин...  
В тьме заклетчатой кычет сова.  
И аукают в явь наважденья  
запредельно-живые слова.

Подсознания смятенные мощи  
разрывают осознанный сон:  
в опоясанной вышками роще  
не разгул и для мыслящих сов.

И мычу я во мглу благим матом...  
Где я? В номере «Англетер»?  
Иль в подвально-чекистских палатах  
чрезвычайных весов и мер?..

Несказанное, кровное, странное...  
Отлепляю я веки от глаз.  
Это что? Иль часы деревянные  
отбивают крайний мой час?..

Завизжали раздрайные нары  
истерично, как кошки весной.  
Словно в лист жестяной из-под крана  
капал в уши курантовый бой.

Под рычание вохровских псов –  
кто там? – прав оказался, в общем:  
не разгул и для песенных сов –  
в опоясанной вышками роще.

Только дикую чту я сову,  
мы друзья беспросветных прозрений.  
Снилось грешному, что я – Есенин,  
чтоб остаться – собой – наяву...

\* Этот и все последующие эпиграфы – из творческого наследия Сергея Есенина.

## 3

*И Русь всё так же будет жить,  
Плясать и плакать у забора.*

Вожатые – знобят опять слова,  
что всё пройдёт, как яблоневого дыма,  
что смерть и на погосте трын-трава –  
под жизнетворным стоном – молодым...

Рязанский дух над Тульщиной осенней  
мятётся – в день рождения – не зря:  
мой календарный брат Сергей Есенин,  
мы кровники не только октября.

И потому – до дна и без прикрас –  
скажу, покуда мне не прохрипели  
часы судьбы двенадцатый мой час  
в каком-нибудь заштатном «Англетере».

Ловчились муровать и шельмовать  
твой стих ортодоксальные кастраты.  
Да шутка ли с эпохой шутковать,  
и правда есть – да нету виноватых.

Теперь бубнят, как нищий заклинанья:  
«лицом к лицу лица не увидать»,  
блудливые строча воспоминанья –  
в тщете свои паскудства оправдать.

Им – что хулить, что памятники ставить,  
свой «дружеский» в архиве жгя навет...  
Проклятьем заклеимённый «мечь и славить»  
споткнулся не об их ли пистолет?

И не они ль – над ним же – и гнусили  
его же строки про «смертельный мел»?...<sup>\*</sup>  
А ты всё в той же несказанной силе,  
как и при жизни, искренен и смел.

Пусть новым литкликушам на потребу  
сервильно-стадионная «звезда»<sup>\*\*</sup>  
бесовский выкаблучивает ребус,  
тряся стилем исподнее... Христа...

И пусть вития – «больше чем вития»<sup>\*\*\*</sup> –  
с презервативной храбростью орёт...  
Твоим стихам подмостки – вся Россия,  
которая Есенина – поёт.

\* В. Маяковский – стихотворный некролог «Сергею Есенину».

\*\* А. Вознесенский – «чайка – плавки Бога...»

\*\*\* Е. Евтушенко – «поэт в России больше чем поэт...»

## 4

*Милый, милый, смешной дуралей,  
Ну куда он, куда он гонится?..*

Жеребёнок! – на автотрассе –  
среди бетонных громад городских.  
И – ау! – где вы страсти-мордасти  
прогрессивных нелепиц людских?..

Вот уж диво воистину дивное –  
жеребёнок! И вдарился я –  
рысью – вслед за горласто-лавинною  
малышней – чуть не душу сломя.

Ребятня погалдела и стаяла.  
А жеребчик трусил вдоль аллеи,  
словно зная дорожные правила, –  
не есенинский дуралей!

Но такая ж младенчески-милая –  
вещь в себе, чьей натуре плевать,  
что её и с фотонною силою –  
бренной мысли – вовек не догнать.

Не догнать черепаху – Ахиллу  
с уязвимой – в бессмертье – пятой...  
Жеребёнок! Куда же ты, милый?  
Снизойди к человеку – стой!..

## 2. Тверская элегия

*Мечтая о могучем даре  
Того, кто русской стал судьбой,  
Стою я на Тверском бульваре,  
Стою и говорю с собой.*

Октябрь. Как штамп в стихе – пожар листвы.  
И вновь – как рифма «кровь» – рябин костры.  
От «ситцевых берёзок» спасу нету.  
Но тормознём метафорный вираж –  
в лирично-иронический кураж,  
не сбрасывая скорости при этом.

И пафосной серьёзности башку  
свернём пером попутным, что – к штыку

смел приравнять горлан советской бучи\*,  
от чьей гиперболической фарцы  
пошли и эпигонские спецы  
жужать, как мухи над известной кучей.

И ты, октябрь, не торопись под свист  
швырнуть в меня кленовый палый лист –  
пощёчиной опального упрёка.  
С лихвой хлебнув – от клетчатых щедрот,  
дарить тебе утиль сусальных од –  
свят-свят! – не дай мне спятить ненароком.

Мне, если словоблудьем не соря,  
застрочкогоненная – нестерпёж! – заря,  
как на похмел одеколон, тошнотна.  
Прости, октябрь, мой кровный побратим,  
я занудь скуки цеховой окоротил –  
и беспопятно, и бесповоротно.

Банкуй же, забубённая строка!  
Не для гулаговского нынче бурсака  
инъекции скуловоротных лекций.  
Я сам себе сегодня высший суд.  
Не обессудь, Литературный институт,  
и тень твоих аудиторий – Герцен.

По зову ретивого уходя,  
мы свой побег от площади вождя  
российских лир – начнём, верны примете...  
Как мог, нам Солженицын подсобил,  
Астафьев – аж в «К.П.» – благословил\*\*,  
да «Новый мир» – в упор – нас не заметил.

Всему – черёд. И не пора ль – вперёд,  
покуда дудка воли подаёт  
знак, крепостной свободе не постылый.  
В дни увяданья, когда плачет сад  
и листья стаяй бабочек летят,  
глагольные – мы навестим могилы.

И вот мы – в переделкинской глуши  
близ дач литгенеральских шебаршим  
обочь погостно-большевистских знаков  
сквозь револьверно-лающие сны –  
туда, где часовыми три сосны  
на страже – у легенды Пастернака...

Калил закатный лазер купола  
низинной церкви. Расправлял крыла  
колоколов речитатив окрестный.

\* В. Маяковский – поэма «Хорошо!».

\*\* «К.П.» – «Комсомольская правда» (8.03.1991).

На пересудно-инобытный холм –  
плыл благовест. Душа просилась вон –  
из горловины загроудино-тесной.

Расплавленная медь сосновых крон  
струилась в небо. Предвечерний звон  
знобил, стопарь походный искушая.  
Нутро глотком стремянным охмура,  
мы помнили – о третьем октября,  
четвёртое, понятно, предвкушая...\*

И вот – в глуши ваганьковской тиши –  
мы листопадной охрою шуршим  
под смутный морок мороси осенней.  
И – стушевался шатко-шаркный шаг:  
в цветах – как Русь в есенинских стихах –  
мрел островок по имени Есенин.

В теснине многоликого кольца  
стихами запьянцовского певца  
народ-безмолвец упивался: как за водкой  
в урочный час, шли – в очередь – читать.  
И спазмы немоты, как благодать,  
я восприял заклиненной глоткой.

Сутулый люд, крылатые слова  
роняя – распрямлялся... Вся Москва,  
казалось мне, пришла почтить поэта.  
И мнилось мне, хоть об заклад не бьюсь,  
своих послов здесь собрала вся Русь,  
что так им – на разрыв души! – воспета...

Октябрь, наш близнецовый побратим,  
и мой раздрайный путь необратим,  
не за горой горнильная граница.  
Но к эху плоти, могшей созидать –  
сорадоваться суть и сострадать,  
отпетый стих мой сможет ли пробиться?

А впрочем, малотрезвый этот бред  
юродив – в эру ядерных ракет  
и лазерно-космических радаров...  
Зовёт живых – живой Тверской бульвар,  
где нации лирический радар  
не слеп – и в бронзе – над Тверским бульваром.

Где милосердья к падшим – тот же код  
и дум высоких неизбывен счёт –  
тьме низких истин – в рабской заварушке,  
в которой нам свобода – высший суд.  
Благослови не ты, Литинститут,  
а дух твоих аудиторий – Пушкин...

\* Третье октября – день рождения С. Есенина, четвёртое – автора поэмы.

## 3. Есенинский часослов

## 1

*Если раньше мне били в морду,  
То теперь вся в крови душа.*

Забубённой отмеченный метой  
с желторото-доверчивых пор,  
не родись я отпетым поэтом,  
может, был бы я статусный вор...

Уж не помню, кричал ли я маме,  
брод – к себе – наводя через сброд,  
что душа у меня, а не камень,  
и пинками – уж лучше в живот.

То, что сплыло, душа не забыла.  
И – сквозь лай, улюлюканье, вой –  
ей, не каменной, всё ещё мило  
заклеймённое метой живой.

Бытиё – битиё. Что там в морду!  
Не о ней, измордованной, речь.  
Не гордыней – работою гордой  
повезло мне себя подстеречь.

И – предавшей, но всё ж таки маме –  
говорю, брод сыскав – через сброд,  
что душа – не запазушный камень,  
тот, кто жив, у того заживёт...

## 2

*Я последний поэт деревни...*

Что? – опять замурованный вой,  
как-никак, божьей дудки, по слухам.  
Да и вой-то – как вовсе не мой,  
или – заживо – сердце протухло?

Не факир – и чифирный «индус»,  
а гитаре – без струн – не затренькать.  
Эх, неужто стихийный картуз –  
в лоскут свой – не про нашего Сеньку?

Ну, а то, что – под шапкой, по нём?  
На черта, впрочем, крыша – стихии,  
полыхнувшей творящим огнём –  
на авось, как ведётся в России...

Ничегошеньки, впрочем, не ново,  
как и белый – над кладбищем – свет,  
и что клетчато-штучного слова  
первый я и последний – поэт...

## 3

*В саду горит костёр рябины красной,  
Но никого не может он согреть.*

И повстречал нечаемым ненастьем –  
донской исток. Но, видит Бог, не зря –  
лишь сокровенной лирике подвластный –  
я вновь с тобой, насыщенная земля.

От невидали – чуждо-инобытной –  
бежал я, что зверюга от огня.  
Дурак ли я набитый-ненабитый,  
ты не осудишь, родина, меня.

Ты всё поймешь, расхристанная роща,  
багрянцем ранневременным соря.  
Пусть ошалелый дождик нас полощет,  
в котором грустно весел я не зря.

Не всё ль равно, что там – с подглазной кожи –  
стекает... Сам к себе я нынче гость...  
И – под глоток – согреться мне поможет  
продрогшая рябиновая гроздь.

Целую бесприютными губами –  
ознобно-жгучий – ягодный костёр.  
И – ледяное – животворно пламя  
тому, кто душу к родине простёр.

## 4

*Любил он родину и землю,  
Как любит пьяница кабак.*

Дней у Бога, естественно, много.  
Да не зря предстоит всякий год –  
и подбитые фантомных итогов,  
ну и прочий – печальный – отчёт.

Жидковато на дне у итогов,  
беса тешить – себя утешать.  
Чертогонить рождённый – под Богом,  
всё надеюсь ещё не сплюшать.

И под небом – мольбами засеянном –  
всё не поминаю Христа...  
Эх, Расея, моя ты Расея,  
пред тобой моя совесть чиста...

*XX–XXI вв.*

## Анатолий АВРУТИН

Родился в 1948 году в Минске. Окончил исторический факультет Белорусского государственного университета. Главный редактор журнала «Новая Немига литературная».

Автор двадцати двух поэтических сборников, изданных в России, Беларуси, Германии и Канаде, лауреат Национальной литературной премии Беларуси, Большой литературной премии России и многих. Академик Международной славянской академии (Варна, Болгария). Указами Президента Беларуси награжден орденом Франциска Скорины и одноименной медалью.

Почетный член Союза писателей Беларуси и Союза русскоязычных писателей Болгарии. Название «Поэт Анатолий Аврутин» в 2011 году присвоено звезде в созвездии Рака. Живет в Минске.

## КОСНИСЬ МЕНЯ ПЕРСТОМ...

### Русское слово

#### 1

Этот рокот вселенский.  
Мрачны небеса.  
На душе пустота... Только снова  
Белоснежным крылом ослепляет глаза  
Птица русского слова.

А казалось – Батыи  
Всех черных эпох  
Закопытили ширь, затоптали.  
Знали, слово – основа, за слово – под вздох,  
Пусть подохнут в печали...

Только в келье строчил  
Неизвестный монах  
Книгу жизни, что зла и сурова.  
Не за харч, не за славу... Чтоб взмыла сквозь страх  
Птица русского слова.

Тяжелы были мысли...  
И жить – тяжело.  
Жалкий лучик пустив сквозь бойницы,  
Солнце тысячи раз за деревья зашло...  
Он писал, яснонолицый...

Выцветали чернила,  
Болело в груди.  
Кровью харкал... Знал – нету другого.  
И молился, и Бога просил – ограда  
Птицу русского слова...

Горизонт непонятным  
Свеченьем объят.  
На Руси, под гортанные крики,  
Нынче русские русским по-русски велят  
Знать другие языки...

#### 2

Не умею сказать по-французски  
Ни «природа», ни «блузка», ни «лес»...  
У француженок яркие блузки,  
Видел всяких –и в блузках, и без...

Всё блуждается в том, полудетском  
Воспрятьи... Что Бог триедин  
Не умею сказать на немецком,  
Хоть мы некогда брали Берлин.

Не умеешь... Не знаешь... Не видишь...  
О, словесности водораздел!  
Ни иврит мне неведом, ни идиш,  
И английского не одолел.

Всё на русском... Конечно же, плохо  
Помнить лишь «камарад» и «капут»!  
Но, когда озверела эпоха,  
Только крикни: «Ура!»... И поймут...

\* \* \*

Позовите меня –  
Я приду... И скажу... И заплачу...  
Потому что дождит...  
Потому что позвали меня.  
Выпивохам раздам  
эту скользкую, мокрую сдачу–  
Пусть содвинут стаканы,  
портвейном желудки черня.  
И пойдет разговор...  
Про погоду... Про деньги и женщин,  
Неустроенность быта  
И вечный мирской неуют...  
Будет вечер пустой  
мировой пустотою увенчан,  
Мрачно выпьют и снова  
торопко и мрачно нальют...

И, отспорив свое,  
 Не поверят ответному слову.  
 И почувствуешь—  
 злоба у парня вскипает в груди.  
 Опрокинет стакан:  
 «Уходи подобру-поздорову...»  
 Опрокинет бутылъ:  
 «Уходи поскорей, уходи...»  
 Покачнется и вновь  
 Глухо скажет, что выпили лишку.  
 А всё этот... Заезжий...  
 Ату его, ёшкина вошь...  
 Скрипнет хлипкая дверь,  
 На крыльце приобнимешь парнишку...  
 И нетвердой походкой  
 Пойдешь вдоль оврага,  
 пойдешь...  
 А вокруг — никого...  
 Лишь голодный и брошенный Шарик  
 Подбежит на минутку,  
 Глазами проводит «Иди...»  
 Догорает звезда...  
 Вдалеке остывает фонарик...  
 И такая тревога... Такая тревога в груди...

\* \* \*

Всё — поздно, всё — не так...  
 Все спутаны понятия.  
 Я в зеркало гляжу —  
 но нету там лица.  
 И Родину успел, и друга потерять я,  
 И чёрной полосе  
 не видится конца.  
 Ко мне не подходи —  
 дразнить меня не стоит.  
 Я загасил очаг, забыл отцовский дом.  
 Коснись меня перстом —  
 и волк вдали завоет...  
 Но, если я любим,  
 коснись меня перстом...

\* \* \*

Навестил деревеньку в июле,  
 Побродил мимо брошенных хат.  
 Встретил хромую бабушку Юлю:  
 «Мрёт деревня... И кто виноват?...»

Постоял со старухой древней.  
 Деловито погладив жнивье,  
 Прочитал ей стихи про деревню —  
 Как тоскует вдали от неё.

Сел в машину... Она же, немея,  
 Вслед глядела: «Матрёнина плоть!..  
 Жаль, что я так любить не умею —  
 До заката бы лук прополоть!..»

\* \* \*

Там, где пустошь, василькам не цвести.  
 Ты сказала: «Хоть трава не расти...»  
 И ушла, не оглянувшись... И вот  
 Третий год, как здесь трава не растёт.

Было небо синевы голубей.  
 Ты сказала: «Не гоняй голубей...»  
 Только это и успела сказать...  
 Третий год здесь голубей не видать.

Целовались, но остались на «вы» ...  
 Третий год ни голубей, ни травы.  
 Только старая ветла, а над ней  
 Небеса, что синевы голубей.

Старый домик... Старый дом, отчий дом.  
 Третий год, как дом пустили на слом.  
 Третий год здесь ничего не цветет,  
 Третий год уже пошел, третий год...

\* \* \*

Другое всё — земля и воды,  
 И эта колющая синь,  
 И эти мертвенные всходы,  
 И ложь надуманных святынь...

Бредешь, созвучиям внимая,  
 Вгрызаясь в черный небосвод,  
 Туда, где музыка другая  
 К другой бездонности зовёт.

## Юлия ЕЛГИНА

Родилась и живет на Южном Урале, в городе Сатка. Окончила филологический факультет Челябинского государственного педагогического университета. Работает ведущим специалистом департамента корпоративного развития и стратегических коммуникаций компании «Группа Магnezит».

Произведения публиковались в литературных альманахах «Лира» и «Новый век», журналах «Юность» и «Родина», в коллективных сборниках. Лауреат первой премии в номинации «Поэзия» всероссийского литературного конкурса «О тех, кого нельзя забыть», посвящённого памяти погибших в Великой Отечественной войне (2018).

## ШЛА СУДЬБА ПОХОДКОЙ БЫСТРОЙ...

### Книга

*Бывают книги – как иконы – чудотворные.*

У книг на полке новая соседка –  
на ярмарке вчера её купили.  
Глава семьи, едва сняв плащ в прихожей,  
по центру полки Книгу разместил:  
она была подарочным изданием,  
в ней тонко и уместно сочетались  
добротность с элегантностью обложки,  
крылатость с просвещённостью души.

Ляссе блестящей ленточкой из шёлка,  
как луч от солнца в плотности пшеницы,  
терялось в недрах сомкнутых страниц.  
Бывало, с Книгой кто-то из домашних,  
устроившись удобно в мягком кресле,  
для видимости больше, чем для пользы,  
пытался содержание постичь.

Все пробы были тщетны: кроме знаков,  
открытых для читательского взгляда,  
никто не видел большего меж строк.  
Всё реже обращались люди к Книге,  
всё чаще их притягивала плазма  
холодной зеркальностью своею,  
порталами обманчивых миров.

Но Книгу не пугала одинокость;  
ей было, чем заполнить время в сутках –  
картинами предшествующей жизни –  
той, что словами сложно передать.  
Совсем иной была в той жизни Книга,  
когда и мира не было на свете,  
царил лишь Деймос всеуничтоженья:  
не люди – тени жались по углам...

...Война. Нева. Февраль сорок второго.  
Нетопленная гулкость коммуналки.  
Заплесневело-сыро. Плач детей.  
Два брата лет семи-восьми – не больше –  
две жизни в изувеченном пространстве –  
полулежали друг напротив друга  
и ждали, что услышит кто-нибудь.

Как пахнет хлеб, они давно забыли,  
Ремни на днях скрутили в мясорубке,  
Закончился вчера обойный клей...  
За окнами маячила развязка;  
Вдруг в сумраке угла упало что-то –  
с покатога ларя сорвалась книжка –  
была она пожившею сполна.

Мальчишки из оставшихся силёнок  
к брошюрке подползли и две странички,  
похожие на жухлые листочки,  
остались в тонких пальцах детских рук.  
Страницы разорвали в одночасье  
и... съели, не жуя... С того момента  
теряла книжка в весе и жалела  
о том, что в ней лишь семьдесят страниц...

...Немыслимо бесстрашие людское!  
Не сгнули в аду блокады дети!..  
А книжка, что упала с сундука,  
свидетельница подвига и чуда,  
в буквальном смысле – пища во спасенье –  
вернулась и теперь – преображённой –  
с настенной полки наблюдала мир...

...С годами изменились облик дома  
и люди за большим столом в гостиной,  
что, к счастью, через время сберегли  
забытую однажды всеу Книгу:  
сегодня к ней, как к другу, обращались  
с открытостью сердец, благоговейно  
притрагиваясь к вороху страниц...

...В часы ночных домашних сновидений  
приотворялась дверь в большую залу,  
в контрасте с темнотой в дверном проёме

вытаивала детская душа  
и до рассвета черпала из Книги,  
как из ладоней мудрости почтенной,  
прозрачность чувств, надежд, переживаний –  
истоки всеспасительной любви.

### Прабабушка Анастасия

Никто не знал, когда она спала:  
казалось, будто вовсе не ложилась,  
чтоб каша в чугунах с утра дымилась  
и живность обихожена была.

В годину переломных, выюжных лет  
она, приняв на плечи вдовью долю,  
девятирех детей вела на свет,  
маячащий поверх разлук и боли.

В святом углу в укромный час ночной  
цвёл жёлтым фитилёк свечи церковной;  
о старшем сыне, забранном войной,  
была её мольба перед иконой.

Заступница для всей большой семьи,  
она лишь об одном в трудах мечтала:  
чтоб дети стали добрыми людьми  
и помнили всегда своё начало.

У домика её на два окна  
рос в изгороди пышный куст сирени;  
под ним, присев на лавочку, она  
вечеровала с книгой на коленях...

...Я с юности искала идеал,  
не зная, что заветный образ рядом:  
подчёркнутый платком лица овал  
и солнечность пронзительного взгляда...

В духовном мире, к счастью, нет границ!  
История корнями из народа  
мне ближе и дороже год от года  
теплом животрепещущих страниц.

### Песочный сюрреализм

Шла судьба походкой быстрой  
в пункт приёма стеклотары;  
звон печальный доносился  
из авоськи иногда:  
задевали друг о друга  
не молочные бутылки

и не банки из-под соков –  
беспесочные часы,  
что когда-то – было время –  
украшали обстановку  
силуэтами своими  
и текучестью песка.  
На песок смотрели люди,  
забывая о насущном  
и о том, что колбы эти –  
не «вещицы», а часы.  
Люди думали: в сосудах  
бесконечно жизнь струится,  
и вовеки не иссякнут  
горки белого песка...  
Миф растаял очень скоро...  
...Был протяжный зимний вечер,  
Грелись люди у каминов;  
в сон клонило от тепла.  
Вдруг сквозь дрему кто-то вскрикнул –  
обнаружилась пропажа –  
было выкрадено дерзко  
наполнение часов.  
Явь казалась вздором, только  
на своих местах стояли  
не трансляторы мгновений,  
а стекляшки без затей...  
...Время выбрало до крохи  
людям вверенные годы,  
превратив в пустые склянки  
философские часы...  
...Шла судьба походкой быстрой  
в пункт приёма стеклотары,  
только не было и мига,  
чтоб её остановить.

### Солнце сквозь тучи

(стихотворение-впечатление от картин Гелия Коржева)

В рамах картины – острая грусть –  
кажется мне, что я в прошлое еду  
в предощущении – ждёт меня Русь  
в ликах войны и Победы.  
Мастер представил всю зрелость души:  
образы-судьбы пронизаны болью;  
путь их к познанию духовных вершин –  
корка земная под солью.

Чувствовать небо учит земля –  
заповедь автора в каждом эскизе;  
там, где надежда сквозь боль проросла,  
кроется знание жизни...

Время идёт, но не меркнет окно,  
в раму которого вписан навечно  
образ художника, чьё полотно –  
правда сквозь трепет сердечный.

Часто пульсирует жилка виска...  
Подвиг художника – в смелости истин;  
в помощь искателю были Лука  
и прямота реалиста.  
Сцены картин на библейский сюжет  
сдержаны в цвете, в прозрениях богаты;  
драмы, страдания, спасение, свет  
делают душу крылатой.

С шаром воздушным схожа она!  
Свежестью помыслов не надышаться...  
...Старец седой в перекрестье окна,  
время настало прощаться.  
Ваше служенье – ответ на вопрос:  
«Как сделать дух свой смелей и живучей?».  
Верить – всегда, неотступно, до слёз –  
в трудное солнце сквозь тучи!

## Из будущих книг

### Владимир АЛЕЙНИКОВ

Родился в 1946 году в Перми. Вырос на Украине, в Кривом Роге. Окончил искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ.

Основатель и лидер легендарного литературного содружества СМОГ. При советской власти на Родине не издавался. Работал в археологических экспедициях, грузчиком, дворником, в школе, в многотиражной газете, редактором в издательстве. В 1980-х был известен как переводчик поэзии народов СССР. Первые книги стихов вышли в 1987 году. Автор многих книг стихов и прозы – воспоминаний об ушедшей эпохе и своих современниках. Стихи переведены на различные языки.

Награждён медалью Кирилла и Мефодия – за выдающиеся достижения в отечественной словесности (1996), медалью Циолковского – за космический масштаб его поэзии (2006). Лауреат премии имени Андрея Белого (1980), Международной Отметины имени Давида Бурлюка (2011), Буинской премии (2012).

Живёт в Коктебеле.

### ЗОВ И ЗНАК

*Окончание. Начало в № 2, 2020*

Ну-ка, встаньте передо мной, из бывшего шагнув сюда, в новый век, в коктебельский, давний, от ненастья спасённый рай, в дом, где жив я памятью, волей и работой, друзья мои, появись, один за другим, чередой, вы, молодые, вы, отважные, вы, хмельные от избытка сил, от восторга перед жизнью, открытой вам, перед речью, перед рывком в неизбежность, вперёд, к тому, что звало вас и что вело по дорогам земным туманным, по небесным просторам странным, встаньте рядом, в глаза взгляните, протяните в пространстве нити сквозь нелёгкие времена, чтобы в мире цвела весна, будьте снова собою, друзья, чтобы нынче во всей округе разливался блаженный свет, из далёких пришедший лет.

Кто это? Кто? Неужели он? Действительно, он.

Умер? Давно отпели? Может быть, это сон?

Лучший из атаманов.

Истовый. Грозовой.

В юных стихах – живой.

Конечно, Лёня Губанов.

Глаза – пронзительно-серые, с голубизной, с жемчужным отсветом, дерзкие, детские, плачущие, с прищуром. Чёрные, в бездну глядящие, увеличенные зрачки. Чёлка – неровно подстрижена. Ворот рубахи – растёгнут. Рот скомороха – большой, вырезанный упрямо, ещё немного – и станет греческой маской актёрской, скорбной. Губы припухшие стиснуты крепко. Лоб – в лёгком поту. На шее – крестик. Руки взлетают вверх – и падают вниз. Длинные, гибкие пальцы. Широкие плечи. Ростом невысок, но стоек и крепок. Инок? Или разбойник? Хулиганистый парень московский? Мученик? Или мучитель? Вестник с письмом со звёзд? Никто не ответит на эти вопросы. Никто. Никогда. И он не ответит. Будет молчать. Или вдруг засмеётся. Или станет стихи читать. Свои, разумеется. Прежние? Или новые? Всё равно. Лишь бы речь хлопотала в них. Лишь бы голос его звенел, причитающий, с ворожбой, со слезою хрустальной чистой, с колокольным пасхальным звоном, возвышающий и крушащий всё вокруг на пути своём, лебединый, непобедимый, журавлиный, неукротимый, голос-песня и голос-плач, голос-жертва, голос-палач, голос имени, голос жизни, голос веры по всей отчизне, голос нежности и любви, голос-яд, холодок в крови, голос-мёд, леденец, снежок, голос-обморок, морок, шок, голос-ветер, метель, буран, голос радости, голос ран, человеческий голос. Глас. Голос – логос. Тогда. Сейчас. Голос города. Всех земель на Руси. Да и всех Емель. Не из сказки – из яви? Да. Над бесчастьем – в ночи звезда.

Будто ветер повеял. Откуда? Из Парижа? Из Переделкина? Заграничный? Или российский? Ветер молодости. И с ним появился вдруг, улыбаясь, тот, из прежней эпохи, Юра Кублановский. Присел на стул, ногу сразу поджав под себя, закурил. А потом и выпил полстакана вина сухого. Подобрел. Стал почти домашним. Путешественник. Он – с дороги. По России привычно ездил. А теперь он – в Москве. Пришёл навестить меня. Говорит об увиденном. Нос его, искривлённый слегка, смешной, вроде компасной стрелки, всюду, где бы ни был он, устремлён неизменно, всегда, на север. Там – Архангельск и Соловки. А на западе – граница. Он уедет туда – потом. А сейчас – он живёт, как птица перелётная. Нынче – здесь, завтра – там. И поди гадай, где искать его, где он будет обитать. Как птичье крыло, нависает волна волос, густо, наискось, вниз, на лоб. Искры вспыхивают в глазах. Он стихи читает – из новых циклов. Голос его звучит в тишине квартиры случайной. Он встаёт: «Старичок, пора!» Он уходит. Куда? Кто знает! Может – к новой подруге. Может – в храм. А может быть – в те края, до которых добраться сложно. В завихренье снега. В туман. В дождь. Куда-то туда, где есть кров, еда, питьё и тепло. Что-то с ним – навсегда ушло. Как и сам он – из дружбы давней. Пусть живёт, как привык. Ему изменяться – уже ни к чему. Где-то там, далеко отсюда, обретёт он подобье чуда – в виде жизненных благ. Удачи, что-то, видимо, всё же знача, достижимые там и тут, чередою сплошной пойдут. Будет он дневники вести. Будет крепко сжимать в горсти нить, ведущую в даль, где есть из бывшего благая весть.

Это кто? Аркаша Пахомов. Богатырь, да и только. Взгляд исподлобья. Коротко стрижен, по привычке. Высок. Плечист. Под хмельком, как всегда. Артист! Вдохновение – всегда при нём. Он играет шутя с огнём. Водку пьёт – за троих. Смешлив. И – застенчив. И весь – порыв. Но – куда? В неизвестность? Нет. В неизбежный, зовущий свет. Едет – в нужный, конечно, срок. То на север, то на восток. То на запад, а то и на юг. Ин-

тересов – широкий круг. Увлечений – хоть отбавляй. И энергия – через край плещет. Голос его звучит. Есть ирония – словно щит. Юмор есть. И талант. Поэт. Есть и путь – сквозь кошмар и бред. Есть подруги. И есть друзья. Есть остратка: туда – нельзя. Есть смекалка: туда – скорей. Он выходит из всех дверей. У любого стоит окна. Обретённая седина – словно снег. Борода. Встаёт – в рост – над всем, что ведёт вперёд. Вдосталь в мире крутых дорог. Он общителен. Одинок в зрелых, трудных своих годах. Он – в привычных своих трудах. Подработать. И – выпить. Ночь в одиночестве превозмочь. И – с болезнями в бой идти. Из упрямства себя вести, как ни в чём не бывало. Дар – мог спасти. Но бросало в жар, в холод, в месиво кутерьмы. Ждал весны – посреди зимы. Умер, страшно устав, весной. Посреди красоты земной. И глаза его – не открыть. Спит. Стихи его – будут жить.

У кого это, узколище, чуб на лоб и затылок стриженный, вид героический и чуть обиженный, напряжённый и зоркий взгляд? Смотрит – в даль. Иногда сутулится. Быстрым шагом идёт по улице. Говорит – о своём. Из этого – возникает гудящий лад. Как пчела над цветком, над словом он головою своей склоняется. На кого-то – порой равняется. И кому-то – отпор даёт. Улыбается. Замыкается вдруг в себе. И ни в чём не кается. Неожиданно вырывается в глубь пространства. И там – поёт. Это кто? Ну конечно, Саша Соколов. Пролетит сквозь время ветерком. И другие страны будут вскоре ему желанны. А свою – он оставит. Что ж! Видно, так ему надо было поступить, если всё не мило в ней, и слишком его знобило там, где к тайнствам мог быть вхож. Заносило его куда-то в глухомань, в Канаду и в Штаты, в те края, что теплом богаты, или в северные снега. Был отшельником и скитальцем, чьим-то временным постояльцем, собеседником вдохновенным – иногда. И опять – в бега. География всей планеты открывала ему приметы речи брезжущей, чьи секреты – в ритмах долгих земных дорог. Помнил молодость. О грядущем размышлял. Был всегда – идущим. Или – едущим. Чуда ждущим. Создал исподволь – всё, что смог. Стал – седым. Приезжал в Россию. В Крым. Таился. И – появлялся, неожиданно для знакомых, рядом, вроде бы – на виду. Исчезал – незаметно. Разом. Повинуясь судьбы приказам. Без пристрастия к прощальным фразам. И – без писем, хоть раз в году. Фантастическое уменье – продевать сквозь иглу мгновенья жизни, словно, в надежде пенья, по старинке продлитесь рвенью, с нитью, сжатой с утра в руке, к новизне, что зовёт упрямо отовсюду к себе. Что драмы! Вновь оконные настежь рамы. Дверь захлопнуть. Держаться прямо. В путь! Надолго. И – налегке.

Жар таманского лета. Зной коктебельский. Московский холод. Кто там рядом стоит со мной, молчалив, и высок, и молод? Кто сегодня ковыльно-сед, и усат, и спокоен вроде, словно не было прежних бед и порывов былых к свободе? Кто свободу свою обрёл в книгах, созданных им? Кто светел, точно к цели своей пришёл и звезду над собой приветил? Кто задумчив и озарён всем, пришедшим неожиданно, свыше? Кто горением одарён? Ну конечно, Михалик, Миша Соколов. Драгоценный друг. И – соратник. Достойный. Верный. Он спокойно глядит вокруг. Взгляд – всё пристальней. Достоверный смысл находит он в том, что есть и в искусстве, и в жизни. Знаю, дорога ему нынче весть от меня. И юдоль земная лишь сроднила нас навсегда, сберегая для высшей доли, – и ушла, как вода, беда, вместе с грузом разбухшей соли, вдаль, в минувшее, в дни, где мы постигали приметы мира, в завихрения злой зимы,

в ночь, где слишком бывало сыро то от ливней, а то от слёз, то от мыслей о том, что встретим впереди. Было всё – всерьёз. Всё узнаем – и всё заметим. Всё сумеем пройти. Чтоб – жить. Чтоб дышать. Чтоб работать много. Чтоб сказать: хорошо – дружить! Дружба – редкостный дар. От Бога.

Будто снова раздался звонок в дверь. А может – звонок телефонный, то ли утром, то ли, что чаще, многократно бывало, днём, то ли вечером, то ли ночью, – да не всё ли равно сейчас? Кто там? Кто? Открываю дверь. Или быстрым рывком снимаю телефонную трубку. Кто? Ну конечно же, Коля Мишин. Это он. Человек-театр. Человек небывалый. Славный. С авантюрной врождённой жилкой. Фантазёр. Драматург. Поэт. Путешественник. Весельчак. Житель Климовска – и других городов. Книголюб. Издатель. Николай Лукьянович Мишин. Улыбается широко. Ходит быстро. Идей – навалом. На ходу сочиняет что-то, между делом. Одет, как лорд. После нищего детства – надо в жизни всё наверстать. Глаза блещут искрой лукавой. Смотрит на меня. Говорит. О чём? Обо всём. О своём. И – нашем. О заветном. И – о былом. Вдохновенный. И – оживлённый. Вздурораженный даже. Чем? Чем-нибудь. Да кто его знает, что у Мишина на уме, что придумает, что расскажет, что решит предпринять. Герой. Приключений – не счесть. Лицо – покруглее луны. Бородку отрастил. Галстук сдвинут вбок. Закурил. Посмотрел в окошко. Стал солидней с виду. Но полон он мальчишеским озорством. Сколько с ним бывало историй фантастических – и реальных! В нём энергия жизни была, год за годом, ключом. Он весь был в страстях своих. К новым дамам он тянулся. Он рвался в бой. Он всегда был самым собой. А теперь – его нет на свете. Может, есть? Может, всё же – есть? Кто за гибель друзей в ответе? Коля Мишин. Как встарь, зови – то в поездку, то в гости к сказке. Хочешь – в книгах моих живи. Постояв средь вагонной тряски, приезжай незаметно в рай. Там небось хорошо. Привольно. Роль свою – до конца играй. Будет весело – хоть и больно.

Подумать ведь только – сам пришёл! Постоял. Взглянул куда-то вперёд. В грядущее? Пожалуй. И ожила в нём блаженная, тихая музыка, для которой не надо слов – или надо их мало. С речью дружен он. Бережлив. Слова – смыслом вещим наполнены. Смотрит кротким, добрым взглядом на всех. Седина – белизна сплошная, снег, ковыль. Невысок и лёгок. От невзгод житейских устал. Много пишет. Стихи и проза – удивительны. И трактат знаменитый – о небытии – озадачивает учёных в разных странах. Арсений Чанышев. Гость нежданный. Философ. Друг старший мой. Умнейший. Арсений Николаевич. Князь татарский он по линии материнской, а отец – иерарх церковный, что погиб в лагерях, в тридцатых. Вот судьба! Выживать. Стерпеть вдосталь зол. Стать смиренней, строже к самому себе. Воспитать благодарных учеников. Быть – как все? Не таким, как все. Быть – провидцем и летописцем. Очевидцем времён лихих. Собеседником звёзд, людей, птиц, лесов, полей и небес. Горжанином быть – и жить в сердцевине родной природы. Быть хранителем той свободы, что по нраву душе всегда. Чередой прошли года. Где Арсений? Умер? Нет, жив. Ныне, книги его раскрыв, говорю с ним, как встарь. Вот – весть от него. Речь – жива. Он – есть.

Нет, не хочу сейчас говорить о друзьях по СМОГУ. Не время. Да и не место. Сами они придут в книгу мою – потом. Сами они напомнят о себе. Достаточно света в мире скорбей и гроз.

Над минувшим – скопление гроз.  
Надо мною – Чумацкий Воз.  
В небесах. Семь высоких звёзд.  
Предо мною – воздушный мост.  
Что ж, пойду. Ведь найду я – суть.  
И эпохи своей. И жизни.  
И событий – в своей отчизне.  
Над грядущим – вселенский путь...

И всё же... Да что это, право, такое?  
Нет мне от времени СМОГа покоя.  
Ждёт, чтоб сказать о нём сызнова – смог.  
Значит, придётся. Свидетелем – Бог.

Что сказать, если столько сказано в предыдущих книгах моих, в книгах изданных и неизданных, да и в тех, что ещё в работе?

Что мне нынче вам говорить?  
Что мне делать сейчас? Как быть?  
Нет ведь прошлого и в помине.  
Или – есть? Не ушло никуда?  
Вижу: в небе горит звезда.

Здесь, пожалуй, нужен Феллини.  
Выручавший меня с давних пор.  
Появляется он, режиссёр.  
Не даёт никаких советов.  
Говорит:  
– Галерея портретов.  
Да, портретов. Твоих друзей.  
В этой книге – создай музей.  
Свой. Особый. Средствами речи.  
Ты сумеешь. Действуй, собрат!  
До свиданья. Встрече я рад.

И тогда – запылали свечи.  
Засияли – здесь и везде.  
И Феллини – ушёл. Сквозь время.  
Сквозь горенье в моей поэме.  
Улетел – к высокой звезде.

Спohватившись, ему вослед я сказал: «Но ведь в этой книге – есть портреты друзей. Немногих. Неужели их недостаточно?»

Оглянувшись, Феллини с улыбкой сделал жесты – влево и вправо. Мол, пусть раньше в книге – портреты. Ну а позже – тоже портреты.

Помахал мне рукой. Завернулся в звёздный плащ. Словно маг и волшебник. Или фокусник. Или творец небывалых, новых миров. И ладонями, появившимися незаметно из-под плаща, выразительно, артистично сделал плавные, странные знаки.

И тогда рядом с ним появилась – вся в сиянье – Джульетта Мазина, с грустной, доброй, светлой улыбкой, со своею трубой серебряной. Джельсомина из фильма «Дорога»? Или ангел? Трубу серебряную вдруг прижала она к губам – и раздался призывный звук. За которым пришло

неясное, нарастающее звучание – отовсюду, с земли и с небес. Посулившее в досталь чудес.

И растаяли в небе супруги.

Звон раздался по всей округе.  
И рокошующий, мерный гул.  
Вот и в зеркале явь отразилась.  
И в него я и сам заглянул.  
Сердце сразу сильнее забилося.  
Волшебство? Желанный ответ.  
На вопросы. Голос и свет.

И тогда – различил я музыку. И звучала она повсюду в мире этом, таком трагичном и прекрасном, куда ни взгляни.

И вела меня эта музыка за собою – и с нею было мне так светло на душе – и сызнова стали явью былые дни.

Закружились огней рои.  
Темнота исчезла ночная.  
Новый век. И – юдоль земная.  
Где вы, где вы, друзья мои?  
Те, кого считал я друзьями.  
Те, кто дружбе верны поднесь.  
Приходите. Все вместе. Сами.  
И останьтесь надолго – здесь.

И они появились. Встали предо мною. Лица их, давние и теперешние, и глаза их, вижу вновь я. Пристально вглядываюсь. Различаю черты знакомые. Голоса их слышу – из прошлого, настоящего и грядущего. Память высветлила слова. По чутью, по наитью, строится лад звучащий – и здесь освоится, – ведь, в извечном единстве с музыкой, речь жива – и всегда права.

У того, кто знал свой удел, взгляд был ясен и голос смел. Был храним он своей звездой. Как во сне, стоял над бедой. Явью, прочно вошедшей в речь, был ведом по дорогам встреч и прощаний. Запретов нет в дни невзгод для живого слова, потому что спасти любого слово может, оно готово приходить всем на помощь снова, быть предвестием такого зова, что приметы земного крова станут звёздам родней родного. Величаний Саша. Поэт. Худ. И жилист. Сутол немного. Стоек. Дар у него – от Бога. Пил – как все. Да побольше многих. Не держался он правил строгих в жизни бурной. А верным – был. Честен был. И друзей любил. Написал всё, что был обязан написать. Был духовно связан с миром всем. Со злом – на ножах был он. Числился в сторожах. Переводчиком был. В кино поработал. В его окно луч свободы врывался вдруг, чтобы зорче смотрел вокруг, чтобы резче строки легли, от увиденного вдали, на бумагу, на чистый лист, в дни, где воздух был сыр и мгlist. Величаем его теперь. Многовато у нас потеря. Сплошь – зияния. Рвётся нить. Больше никому позвонить. Смотрит Саша из-под земли на живущих: а вы – смогли? Он-то смог состояться. Свет пусть приходит из прежних лет в новый век. До сиянья – шаг. Белый снег, словно белый стяг. Алой кровью отмечен путь всех, идущих туда, где суть жаждут сызнова отыскать. Будет время волной плескать в берега, где стоим порой, где редет неровный строй легендарной богемы. Что ж! Каждый был в те чер-

тоги вхож, где до чуда рукой подать. Неизбежность и благодать были рядом – и вместе им быть в грядущем под небом сим. Ветер крепнет. Куда нам плыть? Песням – длиться. Легендам – жить.

Петя Шушпанов. Цыганистый, с тонкой костью, поджарый, худой. Независимый. Гордый. С характером. Образованный. Даже очень. И отменно талантливый. Пил. Запивал, бывало, по-чёрному. На карьеру – махнул рукой. Кем он только и где он только не работал и где не бывал! Помотало его по свету. Жил в Москве. А потом – в Ленинграде. А потом, уж так получилось, жил он в разных местах страны, но подолгу нигде не задерживался. Возвратился в Москву. И стал обитать в столице. Ведь был коренным москвичом. Знал свой город, как никто. Выходил на прогулки после долгой, упорной работы. Был поэтом крупным. Прозаиком первоклассным. Хорошим историком. Был надёжным, верным товарищем. И – соратником. Он годами, одержимо, работал над текстами. Написал он – действительно много. Но его почему-то долго, как нарочно, не издавали. Проявлял он выдержку. Ждал, как и все мы, лучших времён. Понемногу начал печататься в периодике. Вышли и книги. С запозданием, разумеется, преизрядным. Но всё-таки – вышли. Стал хворать он. Упрямо держался. Запивал – и опять работал. Постарел. Как-то ссохся, сжался. Только нос вперёд выдавался на лице его измождённом да сверкали огнём, который погасить невозможно, глаза. Помогал я ему, как мог, с публикациями. Никто больше Пете не помогал из приятелей и знакомых. Иногда я виделся с ним. Петя стоек был и вынослив – но казалось всё напряжение сумасшедших минувших лет на здоровье его. Лишь голос был таким же, как в молодые, золотые года его. Умер Петя. Его жена еле выжила – так страдала. И однажды, Восьмого марта, через год после Петиней смерти, вдруг раздался звонок его телефона мобильного, долго, целый год доселе молчавшего. Что за мистика? Стала жена, нет, вернее сказать – вдова, разбирать его вещи, одежду. И нашла – восемьсот рублей, приготовленных ей на подарок, пусть и скромный, к Восьмому марта, по традиции, год назад. Он напомнил ей, позвонив неизвестно откуда, об этом. То-то дружен был с белым светом, жизнь любил. Значит, Петя – жив.

Леонард Данильцев. Поэт и прозаик. Актёр. Художник. Человек талантливый, умный. И в богеме – незаменимый. Он родился и вырос в Питере. Ну а после войны семья его оказалась в Москве. Учился. А потом какое-то время поработал на Сахалине, далеко от столицы, в театре. Возвратился в Москву. Стал работать художником-оформителем в Ленинской библиотеке. Проработал он здесь – до пенсии. Обаятельный, тощий, высокий, с характерным шляхетским носом, с острым взглядом светящихся глаз, появлялся он в мастерских и в квартирах друзей и знакомых. И всегда – был душой всех компаний. Он писал отличную прозу. И стихи, авангардные, смелые, с чистой речью, с лицом своим и своим, таким узнаваемым, хорошо поставленным голосом. Знал прекрасно музыку. Знал основательно литературу. И, конечно, живопись знал. Был достаточно образован. Публикаций в отечестве – не было. Иногда появлялось что-то в заграничных изданиях. Он, как и все мы, известен был – в самиздате. И этого было предостаточно, чтобы люди знали тексты его. Мы дружили. Был он старшим другом моим. Приходил на помощь всегда. Помогал мне. И я ему тоже помогал. Круговая порука в годы прежние, непростые, золотые, была у нас обязательной

и всеобщей. Он писал всё новые вещи. Выпивал. Запивал, бывало, и подолгу. Потом – не пил. Незаметно – вышел на пенсию. Постарел. Стал хворать. Держался. Занимался всё чаще живописью. Реже стал появляться в компаниях. Замыкался в себе. Трудился. Время вдруг изменилось. К лучшему? Непонятно было. Но книги стали те выходить, которые невозможно было издать раньше. Книгу стихов помог ему я издать. Очень сильную книгу. Был он рад ей. Пошли болезни чередой. Он боролся с ними. Приезжал ко мне в Коктебель, отдохнуть от Москвы, поработать, сил набраться новых, зимой. Прожил он недолго ещё. Умер. Горькой была утрата. Друг, собрат, соратник – ушёл. Но куда? В какие края? Здесь он, рядом, – в том, что он создал. Долговечны его творения. Всем живущим – навек – дарение. Вне забвенья и забытья.

Это кто, высоченный, длинный, в пиджаке, замызганном красками, в старых брюках, рваных ботинках и в пальто не по росту, коротком, с искривлённым забавным носом, из кашне торчащим, с глазами, устремлёнными не на то, что вокруг него, рядом, близко, не на явь отнюдь, а в грядущее, где приют обретёт он вечный, да и должное понимание, да и славу, конечно? Игорь Ворошилов. Художник великий. И поэт, настоящий, крупный. И мыслитель. И друг мой давний. Он шагает сквозь времена, как всегда, широко, размашисто, чуть сутулясь. Идёт – в сияние. Из невзгод, из нелёгких лет одиночества и печали, где спасался он лишь работой, сберегая от бед бессчётных свой светлейший, им созданный мир, он идёт напрямик в блаженный, впереди обещанный рай. Или – в тихий уральский край, где любовь его ждёт. Он смел. Несмотря на мученья – цел. Несмотря на утраты – полон светлых, разом нахлынувших сил. Говорить ли о нём – он был, жил, работал, страдал, бродил от приюта и до приюта, ночевал, где придётся, пил, попадал в ментовки, в дурдоме выживал, вопреки всему, был воителем, только так, по казачьей своей природе, рвался к свету, к воле, к свободе, к озарениям, к лучшим дням, где не будет ни прежних драм, ни трагедий, где радость ждёт, наконец, его? Он идёт, как и прежде, вперёд. Когда умер он, то жене приснился. Та спросила его: «Ну как ты?» И ответил он ей: «Борюсь!» В этом – весь он. Он – здесь. Он – есть. В том, что создал. В легендах. В чуде, сотворённом им. В том, что люди называют – благая весть. В том, что жить помогает им. В том, что дар его был – от Бога. В том, что ныне светла дорога, на которой он Им храним.

Юра Каминский. Поэт. Бронзоволицый, худой. Невысокий, но крепкий. Друг мой с юных лет моих. Был он старше лет на восемь. Жил в Кривом Роге. Никуда не хотел уезжать. На Чукотке служил он в армии. Был единственный раз в Средней Азии. И в Москве. В Коктебеле бывал дважды – в давних шестидесятих и в начале псевдосвободных как-бывременных девяностых. Вот и всё, пожалуй. Хватило путешествий таких ему. В доме старом он обитал, за которым был двор, просторный, весь наружу, типично южный. Был – мечтателем. И романтиком. И отчаянным фантазёром. Книгочелом был он заядлым. Гору книг прочитал. Писал постоянно стихи. Поэтом был, конечно же, настоящим. Он печатался иногда – среди безвременья. Был упорным. Ждал с надеждой – лучших времён. Твёрдо верил в своё призвание. Выходил погулять в одиночестве вдоль реки, по знакомым с детства сплошь зелёным улицам, паркам, загорелый, кудрявый, лёгкий на подъём, от всех отрешённый, вдохновенно шептал стихи, потому что работал – с голоса. Переехал

из дома старого он в квартиру, потом в другую. Ни привычкам своим, ни чаяниям никогда он не изменял. Другом был – небывало надёжным. Смело можно сказать – вернейшим. Положиться мог я всегда на него. Был он честен и смел. Он дождался – изданий. Книги выходили, одна за другой. Стал при жизни – легендой. Скрамность оставалась его врождённой, безусловно, главной чертой. Как и гордость, впрочем. И – вера. В путь свой, избранный им когда-то. В правоту свою. В слово. В речь. Он любовью был озарён. Жил – неистово, пылко, смело. Без оглядки на пересуды. Откровенно, чисто, светло. Выжил он – в былую эпоху. Состоялся в ней, как поэт. А в начале столетия нового – умер он. Тяжела утрата – для меня, для всех земляков. Но стихи его – вместе с нами. Жизнь встаёт – за его словами. Речь – жива. Во веки веков.

Алик Хмара. Олег. Потомок, по отцовской линии славных запорожцев, древнего рода, а по линии материнской – тоже славных донских казаков. С Украины он. Вырос, учился в институте – в Днепропетровске. А в начале шестидесятих он работал и жил в Кривом Роге. Мы с ним накрепко, навсегда подружился уже тогда. Позже он в Подмосковье, в Люберцы переехал. Мотался часто по различным командировкам. В основном по шахтам, поскольку инженером горным он был. Мы общались всё время в Москве. В Коктебеле порою бывали. Был он другом таким, какого не найти мне, пожалуй, теперь. Хмара был настоящим поэтом. Написал он не так уж и много. Но и этого предостаточно, чтобы жили эти стихи. Стройный, тонкий, подтянутый, сильный, обаятельный, искренний, добрый, рассудительный, скромный, честный, дорожил он друзьями своими. Очень нравился женщинам. Был с ними прост и открыт. Любил он природу, рвался всегда к ней из города. То по Днепру и Самаре ходил на катере, на любимой своей Украине, то позднее, в России, по Волге. Рыбаком был заядлым. Знал всё о реках, с которыми сжился. Говорил негромко. Держался неизменно спокойно, естественно, что бы ни было с ним, но с достоинством. В нём была – порода казачья. Благородство врождённое. Выдержка. И своё понимание чести. И поэзии. И людей. Перенёс инфаркт. Знать, сказались напряжение, перегрузки на работе, к которой он относился очень серьёзно. Стал прихварывать. Приезжал в Коктебель ко мне – попрощаться с морем, югом, привольем, свободой, с ясной молодостью своей. Умер он. А стихи – остались. Завещал он похоронить себя там, где предки его лежали век за веком, в селе старинном украинском, казачьем, – Вольном. Так вернулся он, посчитавшись по просторам страны, которой нет на картах теперь, на родину. И лесная река Самара помнит голос его, и помнит Днепр, и Волга помнит, и помнят все подруги его и друзья. Голос жив, потому что живы все стихи его. Все порывы – в даль зовущую. Все прорывы – к тайне. К сути. Костёр горит. В котелке уха закипает. Вечер исподволь наступает. О минувшем река вздыхает. И звезда с ним вновь говорит.

Дима Борисов. Друг мой давний. Вадим. И – Димка. Для своих. Для нашего круга. Все любили его. Дорожили дружбой с ним. Он был уникальным человеком. Очень московским. Образованным, умным, живым. Остроумным, добрым, отважным. Наделён был чутьём особым – на поэзию, на искусство. Понимал несравнимо лучше многих прочих людей, что к чему. Видел – суть. Прозревал – грядущее. Был вынослив. Стоек. И честен. Сверхпорядочен. Трудолобив. Был высоким, худым, кудрявым, сильным, быстрым в движениях. В очках. За которыми – полные жаркого,

золотого огня, – глаза. В них – душа его раскрывалась. Но не всем. Далеко не каждому. Был он гордым и независимым. Да и вся его жизнь была непрерывным сражением. Так уж всё сложилось. Блестящий историк, был лишён он властями возможности заниматься делом своим. Был известным правозащитником. Всё прошёл – и гоненья, и беды. Надрываясь, работал. Брался за любую работу, лишь бы прокормить большую семью. Никогда ни на что не жаловался. Терпелив был. Упорен. Упрям. Выбирался из разных драм и трагедий. Всё время держался. Проявлял непрерывно волю. Годы шли. Перенёс инсульт. Но – восстал. И вернулся к жизни. Наваждение псевдосвободы принесло ему раны душевные и страдания. Пил. Но вновь оживал – для новых идей, для трудов. Энергия в нём возрождалась сказочным образом, чтобы всё озарить вокруг, всем доставить радость и счастье. Светоносным был человеком. Дивным. Уровня Чаадаева. Был одним из лучших людей столь любимой им с детства России. Умер странно. Где-то в Прибалтике он уплыл, на отдыхе, в море, в одиночку. И – не вернулся. Через сколько-то дней нашли, наконец, его тело. Возможно, он ушёл сознательно. В море. Или – в вечность. От бед. От болезней. От мучений вечных мирских. Но огонь, горевший в глазах его, пламень жаркий, остался с нами, здесь он, рядом, вокруг, повсюду, никуда не исчез, он жив. А величие человека – оторвать невозможно от века, для потомков легендой ставшего, дух и свет для них сохранив.

Володя Брагинский. Друг мой старинный. Отличный прозаик. И крупный востоковед. Говаривал Дима Борисов, наш общий чудесный друг, да ещё одноклассник Володин, что очень Володя похож не то на апостола Павла, не то на Петра. Не помню, на кого конкретно их них. Был похож он, скорее всего, на себя самого. Москвич. Сын известного востоковеда. Сам пошёл по стопам отца. Длиннолицый. Темноволосый. С аккуратной чёлкой. Одет был аккуратно, просто. Но взгляд – с тайным жаром. Со школьных лет он писал и стихи, и прозу. И прозаиком был – настоящим. Но пришлось заниматься – наукой. Написал он множество книг. Перевёл малайскую прозу, сказки. Всё – по науке. Работа непрерывная, многолетняя. Только прозу свою, которую он любил читать нам когда-то, не издал он. А мог бы издать. Да, он ездил по разным странам. Побывал на Востоке, в Европе. Много видел. Много знал. Стал он верующим человеком. Стал он кумом моим. Порою мы встречались с ним, говорили, как и встарь, по душам. Потом – он уехал. Внезапно. Вдруг. Навсегда. Для всех – неожиданно. Поселился в Лондоне, вместе со своей семьёй. Стал профессором. Написал ещё больше книг, чем в России. Другам – не писал ни единой строки. И долго. Почему? Спросить у него? Не хочу. Наверное, так вот связи все оборвал он. Зачем? Лишь в последние годы, поскольку интернет существует в мире, ну а с ним электронная почта сразу стала привычной для нас, иногда он пишет мне. Краткие письма. Так, мол, и так. Работал. А теперь вот – вышел на пенсию. Фотография: домик, садик. Дети выросли. Внуки есть. Ну а я вспоминаю Володю – молодого. Умного. Доброго. И талантливое. Звучит столь знакомый голос его. Он читает свои рассказы. В них – живые слова и фразы. И за явью в них – волшебство. Всё – его. И судьба, конечно. И труды. На земле извечно человек выбирает – Путь. Дружбы прежние – всё дороже. Может быть, нам удастся всё же повидаться – когда-нибудь.

Саша Морозов. Друг мой – почти половину столетия. Высокий. Когда-то был – худым. Теперь – погрузнел слегка. Поседел, конечно. Боро-

да – по-прежнему пышная. Филолог. Писал стихи. Прозаик хороший. Долго в отечестве не печатался. В девяностых – начал печататься. Даже Букера получил. В шестидесятых жили мы друг от друга довольно близко. Он ко мне, да и я к нему, в гости ходили – пешком. Он любил чужачества разные. Собирал стихи о кузнечиках. Предлагал всем друзьям и знакомым рисовать кикишу какую-то. Собрал на руинах Останкина, в деревянных домах, снесённых и сожжённых к очередной годовщине советской власти, большую коллекцию старой посуды и прочих, разнообразных, весьма интересных предметов. Хорошо понимал он поэзию. Обладал своим, незаёмным и достаточно тонким юмором. Был к друзьям внимателен. Знал цену дружбе. И – цену слову. Годы шли. Он писал статьи. И сценарии, для кино. Привозил священный огонь, из Иерусалима, в Россию. Летом – жил на даче, в Хотькове. И сейчас туда приезжает – и живёт подолгу. Находит на дороге дмитровской старой то монеты древние, то что-нибудь ещё, из диковин. Он давно привык увлекаться чем-нибудь. Быть азартным. Так – интереснее жить. Дети – выросли. Внуки – есть. Да и тексты – изданы. Он звонит мне порой, когда я бываю в Москве. И я иногда звоню ему. Изредка удаётся увидеться нам. Вновь – беседуем. Оба – седые. Вспоминаем лета молодые. А потом, оба – в разные стороны, разъезжаемся – по домам.

Слава Горб. Старинный, особенный, золотой, с юных лет моих, друг. Половину столетия мы дружим с ним. Навидались – всякого. Съели соли немало пудов. Несмотря на сложности, выжили. Встарь мы вдовсталь наговорились. И сейчас говорим порой. Хоть и видимся слишком уж редко. Но зато – конечно же, с толком. Говорим – словно не было вообще промежутков в общении нашем. Нить духовную – невозможно разорвать ни драмам, которые и со мною, и с ним бывали, ни каким-нибудь нынешним вывертам разгулявшейся псевдосвободы, ни утратам, слишком тяжёлым для души и для сердца, ни ставшему очевидным и беспощадным, как война, разобщению людскому, ни болезням, ни одиночеству, ни обидам, ни злу, – ничему. Время – с нами. И память – с нами. Друг мой крепок, породы казацкой, и вынослив, и стоек. Медлителен иногда. Но зато – прозревает суть вещей и явлений. Умён. И талантлив. И дружба верен. Коренастый, прочно стоящий на земле своей. Сын Украины. Безусловно, хороший сын. Солнце любит он с детства. Приволье. Море любит. И степи родные. Мой земляк. Соратник. В Москве не прижился он. Переехал в Киев. Там и живёт. Бывает у меня в Коктебеле. Знает, что всегда ему здесь я рад. Написал он вещи такие, что поэзия в них – стихия, хоть и проза вроде бы это. Новизна в них, поющий лад – неизменны и драгоценны. Издают их, пусть – постепенно. И – читают. Они – живут. Говорить об этом я вправе. Сколько писем писал я Славе, сколько писем он присылал мне! Уцелели. Смирненно ждут – и внимаю, и понимаю. Что-то брезжит вдали, за гранью уходящих в легенду лет, – может, пламя свечи полноточной, может, ответ зари бессрочной, может, звёзд негасимый свет. Ветер запах принёс полынный, чтобы дух оживал былинный в том, что создали мы. Слова стали ясными. Солнце в мире светит ярко. Пространство – шире. Время – дорого. Речь – жива.

Коля Боков. Племянник поэта-долгожителя Виктора Бокова. Едкий, резкий, голубоглазый. Словно кость – поперёк ли горла, поперёк ли всех и всего, что мешало ему, раздражало и временно не устраивало. Саркастичный? Да как сказать! Ироничный скорее. С юмором

характерным, чёрным весьма. И достаточно образованный. Был – таким. Какой он сейчас – я не знаю. Столько ведь лет миновало с тех пор, когда он уехал на Запад. Был он в молодые годы свои, здесь, на родине, интересным, самиздатовским, разумеется, но печатавшимся потихоньку за границей, ярким писателем. И стихи писал. Издавал свой журнал под названием «Шея», на машинке перепечатанный. Он имел отношение к СМОГУ. Но старался быть независимым. Непохожим на всех вокруг. В эмиграции он издавал свой журнал – известный «Ковчег». А потом – пошли неприятности, осложнения в жизни. Судьба оказалась довольно сложной. Он отшельником жил в пещере, много лет. Путешествовал много по различным странам. И стал вроде даже религиозным человеком. Потом, в Париже, сочинил роман о клошарах, ставший там бестселлером. Начал вновь работать усердно. Книги появлялись одна за другой. Не видались мы слишком давно, чтобы знать мне о нём побольше, – чем он жив, как живёт, и так далее. Существует – и в книгах своих, и в поступках своих, порою необычных, парадоксальных, и в моей, хранящей всё то, что с эпохой былою связано и с людьми этой трудной эпохи, нас взрастившей, единой для всех, возрождающей, воссоздающей всё, что видел, что знаю, памяти.

Марк Ляндю. Поэт. А в прошлом – геолог. Потом, с годами, надолго, экскурсовод. Ныне, уже давно, впрочем, пенсионер. Жил в Томилино, в Подмоскowie. Посещал, с усердием редкостным, всевозможные литературные – вдосталь было их – объединения. И везде – читал, с выражением, артистично, свои стихи. Был он в СМОГе. Мясистый нос. Близорукий. Очки сверкали. Завывал, гудел, рокотал, что-то гулко бубнил, молчал. Было много в нём молодой, диковатой слегка, энергии, несмотря на возраст. Потом он женился, в который уж раз. Погрузнел. Стал спокойнее, тише. Стал солиднее. Остепенился. Но его прорывало – и он становился всё тем же, прежним, странноватым, бурным, восторженным, – лишь посверкивали глаза с озорною искрой за стёклами запотевших его очков да взлетали руки, то вверх, к небесам, то куда-то в стороны, и сквозь гул, издаваемый им, прорывались строки стихов. Был он добрым? Думаю, в меру. Но поэзию – страстно любил. И особенно – символистов. Да и сам был – таким вот, нынешним, запоздалым слегка, символистом. Стал печататься. Выпустил книгу. Говорят, интернетчик заядлый – есть какой-то собственный блог у него, там он что-то пишет. Приезжал в Коктебель он, бывало. Навещал меня, вместе с женой своей. Бурный, грузный, очкастый, в берете. И – с тетрадью стихов под мышкой. Но – подвижный. Ходил по окрестностям кокетельским довольно часто. И гудели над всей долиною и над морем – его стихи. Полагаю, гудят они, буйные, вдохновенно, призывно, громко, на подъёме, по-символистски, по-смогистски, сейчас и в Москве.

Генрих Сапгир. Вальяжный, уса́тый, слегка под хмельком. А иногда – и крепко выпивши. Так бывало. Но никто никогда почему-то не говорил о нём осуждающе: вот, мол, пьёт. Поэт, переводчик, автор детских стихов, драматург. В компаниях – демиург. В застольях – руководитель. Хандры и тоски победитель. Ко всему относился – легко. Лишнее – отmetal, за ненадобностью. Оставлял только то при себе, что было и удобнее, и надёжнее. Так – спокойнее. Проще жить. Не мешает ненужный груз чьих-то текстов или вопросов надоевших, о смысле творчества или бренности бытия. Он умел работать. Но знал

меру. То есть – не перерабатывал. Оставлял себе вдосталь времени – для прогулок, пиров, ресторанов и поездок – благо была у него такая возможность. Жил – размахисто, широко. Словно год за годом навёрстывал то, что в детстве недополучил. Был талантлив. Ревнив к соратникам – иногда. Дружелюбен. Знал он и цену себе, и место, по заслугам, в поэзии нашей. Заводил романы. Менял жён. Готов был помочь друзьям, если надо. Мы долго с ним, с явной пользой для нас обоих и достаточно крепко дружили. Написал он довольно много книг стихов. Не печатался долго. Но зато его детские вещи издавались всегда на ура. Шли спектакли в детских театрах непрерывно, по пьесам его. Зарабатывал он немало. Но и тратил деньги охотно. Потому что на смену истраченным приходили новые деньги. В перестройку – стал издаваться он в отечестве. Начал бывать за границей. Остепенился? Нет, остался собою, прежним. Только несколько погрузнел, поседел. Но улыбка, часто появляясь из-под усов, говорила всем окружающим, неизменно: всё хорошо! Стал писать он и прозу. Книги выходили, одна за другой. Молодёжь его мэтром считала. И росла известность его. Умер он внезапно, в автобусе, отправляясь на выступление. После смерти – пришла и слава. Даже книга воспоминаний выходила потом – о нём. И осталось в памяти – дождь, Коктебель, приволье и лето, мы идём с ним вдвоём вдоль моря, смотрит он с интересом вокруг, говорит привычно: «Понятно!» – и улыбка его приятна встречным всем, да и жизнь отрадна, и, конечно, радостен юг.

Игорь Холин. Чем он доволен? Или, может быть, недоволен? Тем, что был он встарь недозволен, а теперь – давно вседозволен? Всё равно ему. Смотрит молча из-под стёкол очков, седой, длинный, бритый, сухой, худой, неизменно – невозмутимый. Публикации? Хорошо. Ну а книги? Да пусть выходят. Был он притчею во языцех при советской власти. Подпольным, необычным, барачным поэтом. Лианозовцем. Он учился у Евгения Леонидовича Кропивницкого. Стал известным – в андеграундных, узких кругах. Он прошёл войну. Не любил никогда говорить о ней. Он работал официантом. Фарцевал по крупной. Писал для детей. Сочинял сценарии, между делом, для телевидения. Жил – без лишнего шума, закрыто. Не любил впускать посторонних он в свою, какая уж есть, как сложилась, ровную жизнь. Не любил открывать, даже выпивши, даже близким, душу свою. Мы нередко с ним виделись. Он относился ко мне дружелюбно, даже с явной симпатией. Знал и ценил стихи мои. Звал, иногда, приветливо, в гости. Вёл спокойные разговоры – то о жизни, то о знакомых, то о старости, то о судьбе. Умер летом он, после болезни, в девяносто девятом году завершающегося столетия. Издан был двухтомник его сочинений, стихов и прозы. Изучают его наследие литературоведы нынешние. Только в памяти – он встаёт, весь прямой, как римский сенатор, смотрит пристально вдаль куда-то, а потом идёт по дороге, то ли мирной, то ли военной, чтобы к свету выйти опять.

Это кто там? Эдик Лимонов. Кудреватый. В очках. И в кепке, называемой «аэродромом». Он – из Харькова. Прибыл в Москву. Оглядеться здесь надо. Прижиться. К нужным людям сразу прибиться. Там, где надо, вмиг появиться. Создавать о себе молву. Тихий, вроде бы. С виду – скромный. Чинный. Вежливый. Нежный. Томный. Но себе на уме он был. Помогала ему богема. Все решали его проблемы. Он об этом потом – забыл. Голос вкрадчивый стал нахальней. О судьбе своей

эпохальной заявлял он ещё давно. Самомнение – нарастало снежным комом. И маска стала – главным в жизни. Но всё равно привечали его повсюду. Шил он брюки разному люду. Зарабатывал. Сочинял непрерывно стихи и прозу. Злобу долго растил, как розу. Жизнь по-своему изменял. Надоело ему в столице. Стал мечтать он о загранице. И уехал туда. И там приживаться по новой начал. Ничего собою не значил. Шёл за случаем по пятам. Был упорным. Стал издаваться. От амбиций – куда деваться? И в политику он полез. И – прижился в ней. Разгулялся. Побывал на войне. Вписался в журналистский лихой ликбез. Возвратился в Москву. Здесь маску он сменил. И придумал сказку, изуверскую, на крови. Создал партию. Стал заметным. Знаменитым. С кличем победным рвался к власти. Что ж, се ля ви. Завалил своей писаниной всю страну. Не агнец невинный – натуральный фюрер. Герой. Посидел в тюрьме. На свободу – победителем вышел. С ходу занялся своею игрой. Бес? Безумец? Всё – в должном стиле. В точку. Лишь бы о нём – говорили. А потом – что будет потом? Пыль дорожная. Гарь лесная. Топь болотная. Тьма ночная. Да бурьян – на месте пустом.

Вот он, вроде бы рядом. Вагрич Бахчанян. Художник. Из Харькова. Но приехавший жить – в Москву. Потому что была столица для людей богемных в далёкие и уже невозвратные годы чем-то вроде недостижимого и манящего всех Парижа. Невысокий. В костюме джинсовом. Острослов. Армянин, на двести, как любил говорить он, процентов. С ним – жена его, Ира Савинова, очень верная, волевая и с характером, тоже художница. Был поистине он королём грандиозного чёрного юмора. Был художником очень ярким, авангардным. В Москве – прижился. Был душою любой компании. Зарабатывал в «Литературке» и во многих других изданиях. Все любили его. Казалось бы, жить да жить супругам в Москве. Но жилья своего у них, столь известных, в столице не было. Постоянно они снимали для себя какие-то комнаты. Стал народ разъезжаться вдруг – кто в Европу, а кто в Израиль, кто в Америку, кто куда. И супруги – тоже уехали. Оказались они – в Америке. Поселились они – в Нью-Йорке. Бахчаняна все звали – Бахом. И в Америке, на чужбине, он остался – самим собою. Непрерывно работал. Был – в эмигрантской среде – известным человеком. Душой компаний. Выставлялся. Дружил с Довлатовым. Оформлял какие-то книги. Пристрастился в центральном парке, на пруду, от людей подальше, на природе, рыбу ловить. Говорят, что Ира устроилась на работу в солидную фирму, зарабатывала нормально, даже стала вскоре начальницей. Бах – беседовал по телефону со знакомыми. Рисовал ежедневно. Седел, лысел. Стал хворать. И весьма серьёзно. Побывали супруги в Москве, состоялись у Баха выставки. Вышли книги его на родине. Только он – уже угасал. И однажды – покончил с собою. Горевали о Бахе – все, и на родине, и за границей. Вспоминали о Бахе – все. Колоритный был человек. Уникальный. Очень талантливый. И осталось – великое множество первоклассных его работ. И осталась – Ира, которой что-то делать с этим наследием, поступать разумно придётся. И осталась – память о Бахе. Память светлая. Навсегда.

Слава Лён. На самом-то деле он – Епишин. Лён – псевдоним. Но со временем к этому все, как бывает у нас, привыкли. Лён так Лён. Согласны. Пусть – так. Хочет – будет не Льном, а Лёном. Не Епишиным, удалённым, за ненадобностью, во мрак. Вижу Славу Лёна – радушным,

всю богему к себе зазывающим, спирт, на корках лимонных настоянный, в рюмки крохотные наливающим. Он – хозяин салона домашнего. Голова не болит со вчерашнего у него. У гостей – болят. Похмелиться гости велят принести. Приходят в себя, всё вокруг всё больше любя. Соловьём Слава Лён заливается. Всем гостям напоказ улыбается. Галстук-бабочка. Взгляд. Поклон. Раньше был фигуристом он. Шаг вперёд, шаг назад. Полёт. В эмпиреи. Потом – на лёд. Пируэт. А потом – за стол. Всем, кто нынче сюда пришёл, будет снова стихи читать. Будут мысли гостей витать над графином со спиртом. В нём – смысл собраний. «Когда кирнём?» – каждый думает. Все – тихи. Лён – читает свои стихи. Был он всюду когда-то вхож. На любые затеи – гош. Он придумал «Бронзовый век». Был активен сей человек. И теперь он – везде. Куда ни придёшь – там и Лён, всегда. Постарел. Но былой задор – не угас. Он скользит, позёр, на фигурных коньках, сквозь дни и сквозь годы. Нельзя в тени быть. Он рвётся – на яркий свет. Что-то пишет. А может, нет. Чем-то занят. Спешит. Куда? Лёд растаял. Везде – вода. Исчезает фигурный след. За болотом – дороги нет.

Кто это там – из прошлого? Или, может, – из настоящего? Бородастый. Довольно высокий. С виду – вроде спортивный, подтянутый. Ну конечно – играет в теннис. Голос – низкий. Глаза – горят. Он уверен в себе. Спокоен. Любит выпить. Сын академика. Он – учёный, химик. Серьёзный. Автор множества разных статей. Компанейский парень. Володя Сергиенко. Поэт. Отчасти – Дон-Жуан. И – доктор наук. Он, конечно же, книголюб. Автор книги стихов, единственной. Выступает на вечерах, в том числе – и памяти СМОГа. В девяностых он, отдохнуть, приезжал ко мне в Коктебель. А в Москве мы с ним редко видимся. Занят он вплотную – наукой. Давним друзьям – верен доныне. Жив. Работает. Полон сил. Несмотря на возраст. Есть дети. Внуки есть. И стихи ведь – есть. И – живут. Из былого века – речь хорошего человека. Из бесчашья – потомкам – весть.

Дима Савицкий. Крепкий. Невысокий. Талантливый. Взрывчатый. С ассирийскою бородою – в молодые свои года. Прозаик. Поэт. Журналист отличный. Надёжный друг. Мы работали с ним когда-то в газете «За доблестный труд». И в этой газете Дима печатал свои рассказы. Почему-то учился он в Литинституте. Повесть написал. Из-за этой повести – не получил диплом. Я знакомил его с людьми из нашей среды богемной. Дима писал и прозу, и стихи. Раздабривал сборники самиздатовские свои. В трудный его период я отправил его в Коктебель благословенный, к Марии Николаевне Изергиной. И там – возродился Дима. Ожил. Всех переигрывал в теннис. Готовил обеды. И написал роман. Потом он влюбился. Был, видимо, очень счастлив. Потом он опять влюбился. В парижанку. Уехал в Париж. Всё бросил в Москве. С собою взял – пишущую машинку. В Париже его ожидали неисчислимые сложности и драмы, и даже трагедии, связанные с любовью. Он – выстоял. Выдержал – всё. И решил остаться – в Париже. Навсегда. Изучил язык французский. Знал и английский. Он стал издавать свои книги. Зарабатывал много. Ездил по экзотическим странам. Работал и как журналист. Стал вести передачи о джазе, на радио, на «Свободе». Был знатоком джаза. Сразу стал знаменит. Его передачи слушали миллионы людей. Он сбрил ассирийскую чёрную бороду. С виду стал вполне парижанином. Годы шли. Облудился он в армии, на секретных объектах,

в молодости. И сказалося это потом. Стал хворать. Стал бороться с хворобами. Побеждать. Изучил медицину. Прочитал всё, что было написано на французском и на английском языках. Писал свою прозу. И стихи. В девяностых годах вышли книги его и на родине. Дима – лучший знаток Парижа. Он по городу этому ездит, по привычке, на велосипеде. Пьёт вино в знакомых кафе. Иногда – запивает, бывает. А потом – прекращает пить. Он – живучий. С корнями крымскими. С коктейбельской хорошей закваской. И с московской. Он – свой. Из того же, что и все мы, друзья его, теста. Настоящий, крупный писатель. Человек выносливый, стойкий, волевой. И новые книги он напишет ещё. Впереди – свет, который ведёт его к цели. Он докажет, что жив, на деле. Бури – вроде давно отгремели. Сердце щедрое – бьётся в груди.

Вадим Делоне. Потомок коменданта Бастилии. Внук академика. Парень приветливый, компанейский, отзывчивый. Вадик. Поэт. И прозаик. А также – известный правозащитник. В шестьдесят восьмом, вместе с прочими, в знак протеста против введения войск советских в Чехословакию, был на Лобном месте. Сидел в лагерях. Не так уж и долго. Но – достаточно, чтобы об этом, позже, книгу свою написать. Помню встречи с ним. Помню, как он вдохновенно стихи читал. Помню наши беседы давние. Он уехал в Париж. На родину предков. Жил там, тоскуя по родине, им оставленной, той, где вырос, где остались его друзья. Пил. Метался. Страдал. Издавался. Написал он немного. Был и в Париже общим любимцем. Умер, слушая, в сотый раз или в тысячный, на пластинке, им поставленной, для настроения, или, может быть, от тоски, вдруг нахлынувшей, от печали безысходной, или в подпитии сильным, песни Алёши Хвостенко. Симпатичный. И обаятельный. Добрый. Искренний. Вадик. Светлый человек. Свеча на ветру отшумевшей былой эпохи.

Володя Эрль. Был – Владимиром Ивановичем Горбуновым. Стал – Владимиром Ибрагимовичем. Захотел однажды – и стал. Эрлем быть – непросто. Он вжился в этот образ. Как вновь родился. Колобродил. Чудил. Творил миф, который – сам говорил за него. Бородой оброс до колен. Как немой вопрос – к небу поднятая рука. Взгляд, ушедший за облака. Мир абсурда – велик и мил. В нём прижиться – хватило б сил. Обошлось. Алогичен путь, где поглубже нельзя вздохнуть. Дышит всё-таки. Одолея перевал. И остался цел. В Петербурге живёт. Залив из окна созерцает. Скрыв одиночество и тоску. Повидал на своём веку многовато. В молчанье – крик. По созвездию – ясно, Бык. То есть, лучше сказать, Телец. Где же сказке такой конец? Да нигде. Продолженье впрямь будет ярче. Куда смотреть? В даль. А может быть, всё же, в боль? В боль, скорее. Такая роль. Есть отрада. И есть – игра. Что же будет – потом? Пора призадуматься? Маску снять? Как ни тщишь, не вернуться вспять. В май, где в СМОГ записался он. Словом, в юность. Прошла, как сон. Врос он в явь. Оторвать – нельзя. Мифотворческая стезя привела его в новый день, чтоб легенды вставала сень над его головой седой, чтоб над невоской стоял водой странным знаком судьбы своей эрлекин петербургский сей.

Володя Бродянский. Старинный друг мой питерский. Режиссёр театральный. Но это – в прошлом. А теперь он – самый таинственный человек, из всех, кого знаю. Был – худым, даже тонким. Лёгким на подъ-

ём. Повидал немало разных мест в отечестве нашем, прежнем, нынче не существующем. Путешествовал – автостопом. Временами – ездил на поезде. Жил он раньше – в любимом Питере, в самом центре. Учился в Москве. Познакомил меня со многими интереснейшими людьми. Познакомил и я его, в середине шестидесятых, со своими друзьями тогдашними. Был на редкость он обаятельным. Светлый, странный. С глазами эльфа. Дамы сразу в него влюблялись. Им взаимностью он отвечал. Создал он свой детский театр, знаменитый, в Лодейном Поле. Создал он университетский, ленинградский, известный театр. Испытал на себе гонения и преследования властей. Стал работать питерским дворником. У него были жёны, дети. Жил в деревне. Построил дом. Научился там выпекать удивительный чёрный хлеб. Продающийся нынче в Питере. Всем известный «бродянский хлеб». Обладал чутьём фантастическим – на достойное, настоящее, – и в поэзии, и в искусстве. Собирал годами серьёзную и большую библиотеку. А потом – всё роздал. Имуущество, книги, живопись, и жильё своё. Роздал – всё. От всего стал – свободным. Опростился – до невозможности. Ел капусту и чёрный хлеб. Стал – целителем. Помогал стать здоровыми людям. Тихий, весь какой-то светящийся. Взгляд – словно луч. Говорил спокойно, рассудительно. Приезжал он ко мне, в кацавейке старой, с тайной в каждом пронзительном взгляде, в каждом слове, со свёртком в руках, в свёртке – хлеб и капуста. «Кушай!» – говорил. Улыбался кротко. Мы беседовали часами. А потом он – вдруг уходил. И – надолго. Думаю, так было надо. Ему виднее. А потом – он исчез куда-то. И не просто надолго – на годы. Где он был? Появился – сам. Оказалось, он путешествовал. Жил в Израиле. Выпекал там свой хлеб. И работал грузчиком. На себе, в одиночку, носил пианино. Откуда силы? Были силы. И воля была. К жизни. В самых невероятных, самых разных её проявлениях. Находил он по всей Земле удивительные места с энергетикой небывалой. Был не раз и не два в горах. Поднимался он на Эльбрус. Поднимался на Арарат. Поднимался на Килиманджаро. Поднимался на Эверест. За морями и за океанами находил он то, что ему было, видимо, необходимо. Жил однажды на острове Пасхи. Где он только не побывал! Познавал он мир. Прозревал что-то в мире совсем особое. Что-то важное знал. Спасительное и целебное – для человечества. Просветлённости он достиг на путях-дорогах земных. Возвратился в Питер. Живёт очень просто. С виду – волшебник. Борода – ни разу не стрижена, клочковатая, редкая, длинная. И на редкость скромно одет. Не нужны ему лишние блага. Духом жив он. И светом жив. Как всегда, на помощь придёт, если надо. Вернейший друг. Изумительный человек. Даже больше того – редчайший. Прочно связаны судьбы наши. Продолжаются наши встречи. Продолжаются наши беседы. Пусть нечасто. Пусть иногда. Время – с нами. Творчество – с нами. Негасимое с нами пламя. В прошлом – друг он. И ныне – друг он. И останется им – всегда.

Коля Недбайло. Художник. Рисовал он – левой рукой. А стихи писал – правой рукой. То есть с пользой всегда использовал, в дело нужное сразу пускал, со сновкой, обе руки. Был задирист, самоуверен. Чуб – на лоб. Напускная бравада. Прибаутки. И поговорки. Сам придумал – сам и сказал. Глаз прищурен. Язык остр. Невысок. В одежде поношенной. Да и брюки коротковаты. Но зато – берет или шляпа – знай, мол, наших! – на голове. Гонор был завсегда при нём. Зарабатывал он прилично. Был богемой? Ну что ж, отлично! Мог работать – ночью и днём. Рисовал. А потом – гулял. Широко. Подолгу. С размахом. С нищетой

был знаком, со страхом, – с детских лет. Дурака валял понарошку. Ведь был – хитёр. Понимал, что к чему. Порою, загуляв, вытворял такое, что похмелье – сплошной костёр. Но потом, в мастерской своей, он работал, закрывшись, много. Ждать чего-то и жить убого не желал он. Вперёд, скорей! Жить – сейчас. Выставляться. Быть на виду. Так даёшь успехи! Что запреты и что помехи? Жизнь – одна. Значит, надо жить. Вот и жил. Всем властям – назло. Почему-то ему везло. Постарел. Растерял друзей. Вроде жаждал отдать в музей он холсты свои. Кто возьмёт? Видит око, да зуб неймёт. Чем он занят? Да всё равно. Я не виделся с ним давно. Был он в СМОГе – да сплыл. Берет мокнет в глуби минувших лет.

Лёша Курило. Так называли его мы раньше. Вообще-то он – Леонид. С Украины родом. Художник. Настоящий. Учился в Строгановке. Но тогда уже – состоялся. Был всегда он – самым собою. Независимым. Работящим. Компанейским. Приветливым. Добрым. Был он в СМОГе. Был верным другом. А потом – отошёл от СМОГа. Открывалась пред ним дорога – для трудов его постоянных. Он работал – и за границей, и в отечестве. Создавал витражи. И холсты. Выставлялся. Стал художником официальным. Но зато – превосходным мастером. Годы шли. Мы не виделись долго. А потом – повидались. Он отыскал в архиве своём фотографии наши давнишние. И теперь они – многим известны. Бородатый, с короткой стрижкой, мускулистый, крепкий, седой, вспоминал Курило – о прошлом. О своём. И – нашем. Хорошем. В настоящем он жив – работой. И храним он – своей звездой.

Боря Кучер. Худой, высокий, даже длинный. Слегка прихрамывал – подорвался на mine в детстве, в Севастополе. Там он вырос. А учиться приехал – в Москву. Вместе с Лёшей Курило и прочими, из смогистских времён, художниками, был он тоже студентом Строгановки. Был он – с юмором. Настроение неизменно всем поднимал. Обаятелен был. Приветлив. Был хорошим художником. Чудом сохранились его работы у меня. Время было сложным. Раскидало ребят из Строгановки, получивших свои дипломы, из столицы – кого куда. И не знал я лет сорок пять – где Борис обитает, где отыскать его? И недавно оказалось, что он живёт в Нижнем Новгороде. Бывают у него персональные выставки. Значит, много работает. Видел я в интернете его рисунки – словно тёплые воспоминания о былых смогистских годах. И на этих рисунках – все мы, вдохновенные, молодые. Значит, помнит он всё. Надеюсь, мы увидимся с ним. Он жив, полон творческих сил. Даст Бог, побеседуем. Вспомним СМОГ.

Слава Самошкин. Поэт. Высокий, худющий, очкастый, угловатый – в юности. Ныне – солидный, степенный, спокойный, но – со взрывчатостью, возникающей неожиданно. В СМОГе был – вместе с нами, на вечерах знаменитых. Надёжный друг. Верный. Искренний. Очень светлый. В МГУ он учился. Стал журналистом-международником. Занимал высокую должность в АПН. Потом это крупное заведение – упразднили. Поселился он в Бухаресте. Там активно, много работает по своей специальности. Пишет и на русском, и на румынском языке статьи, репортажи. Переводит с румынского – прозу и стихи. Наконец-то издал свою книгу стихов. Путешествует. Приезжает в Москву постоянно. Приезжал и ко мне в Коктебель. Привозил с собою вино, чьё название удивило и заставило призадуматься всех поэтов – «Слеза Овидия». Угощал им дру-

зей. Читал, громко, чётко, свои стихи. Презентацию книги провёл на волошинском фестивале. По душам со мной побеседовал. И на старенькой «Волге» своей укатил в Бухарест. Но в Москве – появлялся. Дела, заботы. Пишет мне. Присылает стихи. Публикуется нынче в журналах. Человек он талантливый. Добрый. И внимательный. И порядочный. Слово держит всегда. Умеет и работать, и отдыхать. Слава богу, что временами пробуждается в нём вдохновение, оживает снова горение, чтобы речи огнём полыхать. И тогда – стихи возникают. На него самого похожие. Внешне – вроде простые, сдержанные. Но внутри – негасимый свет. Испытаний – вдосталь. Минувшее чаще тянется к настоящему, чтобы нить протянуть грядущему в чистой музыке наших лет.

Марк Янкелевич. Автор текста «Метапсихоз». Остальных его сочинений, к сожалению, не припомню. Худой, оживлённый, с прядью седой среди тёмных волос. Был в СМОГе довольно деятельным. Участвовал в демонстрациях. Писал ли прозу – не знаю. Мы дружили в шестидесятых. А потом женившийся Марк отошёл от всего, что было раньше. Виделись мы всё реже. Ну а позже – долго не виделись. На закате восьмидесятых и в начале лихих девяностых занялся он арт-бизнесом. Вроде бы преуспел на открывшемся поприще. Сын его – за границей жил. Гнал ему «мерседес» оттуда. И разбился на гололёде. Марк страдал. Много пил. И умер. Прядь седая осталась в памяти – да весёлый голос. Из прошлого – глаз лучистых Марковых взгляд.

Валера Басков. Из Рыбинска родом. Постарше нас, но всё же из нашей компании. Книгочей. Собиратель книг раритетных. Позже, в Москве, где стал он со временем жить и работать – театровед. Немного сумбурный. Восторженный иногда. Порою – печальный. Но – искренний. И отзывчивый. Поэзию – понимал. Очень верно, всегда независимо от прочих мнений, по-своему, говорил о ней. Выпивал. А потом и пил. Закрываясь от людей, у себя в квартире. Появлялся всё реже, реже на виду. Исчезал – надолго. Как-то тихо он растворился за чертой междувременья нынешнего. Не желал, скорее всего, в нём участвовать. Чем он жил? Как он жил? Никто и не знает. Умер он, добродушный, улыбчивый, с чуть заметной хитринкой во взгляде, но простой в общении, увалень, одинокий, не понятый, замкнутый в сохранённом им мире своём, вход в который закрыт был для всех. И осталась – тайна. И – память. И ещё различим иногда голос, тающий постепенно, исчезающий вдалеке. Только ветер ненастный снова прилетит, прошептавший слово, столь знакомое, из бывшего, да цветок шевельнёт в руке.

Рудик Кан. Журналист. Поэт. Мой земляк. И друг мой давнишний. Голова точёная. Спину держит прямо. Ходит размашисто. Смотрит ясными, тёплыми добрыми, с грустью тихой и светлой, глазами повзрослевшего разом ребёнка или старца, на белый свет. Он работал годами в редакциях самых разных местных газет. Был хранителем наших – всей группы молодых криворожских поэтов из начала шестидесятых – текстов, им же тогда, на машинке, вечерами перепечатанных, да и прочих материалов. Может быть, когда-нибудь он обнародует их, покажет современными людям? Хотелось бы вновь увидеть всех нас, героев, правдолюбцев и смельчаков, полных сил, вдохновения, задора, в том, что прежде мы сочиняли. Жил он близко совсем от меня. Так что виделись мы постоянно. Говорили мы часто, подолгу, то гуляя вдвоём по улицам

нашей Гданцевки, густо заросшей тополями, листвой шелестящими на ветру, то в его квартире, небольшой, но такой уютной, где врывается в открытую форточку свежий воздух весны, или осени, или лета, или зимы, где покой был предвестием воли, ну а воля – началом доли, где ненастные знаки боли возникали вокруг, – обо всём, чем когда-то жили, дышали, что потом случайно узнали, что теперь вернётся едва ли, что в себе сквозь годы несём, как огонь, для других незримый, но для нас – то необходимый, неизменный, неукротимый, очевидный, как ни крути, нас вперёд упрямо ведущий, неизбежных свершений ждущий и прозрений в жизни грядущей на юдольном нашем пути. Он потом переехал, стал жить в другом, далёком районе. И не видимся мы подолгу. Но старинная дружба – жива. И стихи наши прежние живы, и души дорогие порывы, и над всем, что с нами навеки, молодая шумит листва.

Алик Учитель. Друг, с юных лет моих, криворожских. Старший друг. Мудрый друг. Серьёзный. Понимающий. Добрый. Внимательный. И надёжнейший. Светлый друг. Золотой. Александр Давидович. Словно с давних холстов прославленных, всем известных испанских художников к нам сошедший, в нашу не только непростую, но слишком уж сложную, но зато и доселе прекрасную, потому что дарована всем, чтобы жить и работать в ней, явь. Небольшой, но пластичный, стройный, крепкий, сильный и духом, и телом, фантастически просто выносливый, небывало работоспособный. Как он всё успевает? Да так вот. Потому что он прозорлив, образован, умен, талантлив, смел, упорен, внимателен к людям. Он учёный известный. Профессор. Создаёт институты. Бывает постоянно в командировках. Помогает всем, кто к нему обращается. Помнит – всё. Всех поддерживает, опекает. Он – творец. И жизнь его – творчество. Созидает. Миры творит. Он, как Хлебников говорил, из творян. Хорошо разбирается и в искусстве, и в литературе. Он всегда – в работе, в движении. Ну а дома, когда, бывало, прихожу я к нему, повидаться, побеседовать, он – чудесный собеседник, радушный, приветливый, чуткий, очень гостеприимный и внимательный друг. И с ним – Соня, светлая фея из сказки, изумительно добрая, искренняя, вся в полёте, порою восторженная, увлечённая и поэзией, горячо любимой, и музыкой, неизменно красивая, верная идеалам, его жена. Разговоры наши и встречи – незабвенны. Во имя речи и во имя свершений новых мы живём. В который уж раз убеждаюсь я: дружбы – святы, годы наши – давно крылаты, люди есть особые в мире. С нами он. И время – за нас.

Марк Бирбраер. Волшебник Маркус. Настоящий волшебник. Давний друг мой. Редкостный. Очень верный. Киевлянин. В былые годы – путешественник страстный, бывавший в самых разных местах страны – той, которой на карте нынче нет, которая всё же – с нами, в нашей памяти, в наших снах. Невысокого роста. Лёгкий на подъём – когда-то, давно, в дни, когда он был помоложе. Сквозь очки – жарчайший, ярчайший, жгучий, солнечный, Львиный взгляд. То-то в августе он рождён. Летний, тёплый, земной поклон – кручам киевским и ярам, паркам, улицам и дворам. Здесь – отчизна его. Он сед. Восставал, и не раз, из бед. Из болезней. Он – волевой. Несмотря ни на что – живой. Будет жить он и впредь. Всегда. Есть над градом – его звезда. Сберегает его судьба. Свежий ветер сотрёт со лба пот лишений, страданий, зол. Не случайно он в мир пришёл. Словно вестник добра. Для всех, с кем знаком он – и чей успех был предсказан им встарь. Вперёд смотрит он, вглубь и

ввысь. Встаёт свет над ним, чтоб сияньем стать. Призван он, чтоб любить и знать, в жизнь, в юдоль. С чередой лет ярче стал несказанный свет. Крепче – дружба. Верней – слова. Зеленой и шумней – листва над его головой седой. И душою он – молодой. Мудрый. Искренний. Книголюб. Смысл событий и суть вещей прозревающий. Зрячий. С ним – хорошо мне. Ведь он храним высшей волею. Что-то в нём от пророка есть. Словно днём, даже ночью светло, когда рядом он. И чисты года, дни, минуты, мгновенья. Снег или дождь, и разливы рек, и в пучине мирской ковчег, век минувший и новый век тоже – рядом, и жизнь – светла. Счастье. Радость. Прилив тепла. Марк. И – Мери, его жена. Словно в непогоду, вдруг, – весна. Свет апрельский. Сады в цвету. Путь – и в тайну, и в красоту. Дверь, открытая в новый день. За оградой, в глуши, – сирень. За порогом – небес простор. Вдосталь – музыки. Лад. Костёр. Несгорающая свеча. Отсвет солнечного луча. Отзвук песен – с высоких звёзд. Над пространством – воздушный мост. Марк и Мери. Друзья мои. Над минувшим – комет рой, восходящих светил следы. Продлеваются их труды, чудеса бытия дая. Над грядущим – горит заря.

Эдик Рубин. Друг мой давнишний. Киевлянин. Рыцарь без страха и упрёка. Чуткий. Внимательный. Деликатный. Изобретатель всевозможных чудес технических. И не счесть различных дипломов и патентов, которыми встарь до предела была завалена вся квартира его. Но средств это раньше не приносило. И работал он – инженером. Словом, творческий человек. Совершенствовался. И жил, по привычке, скромно и просто. Он любил свой Киев. Он был совершенно своим – в богеме. Круг его знакомств был широким. Круг друзей его – тесен был. Тонкий, стройный, – струнка, звучащая на ветру весеннем, когда расцветали вокруг акации и каштаны, цвела сирень, и в Днепре, на просторе водном, словно в дивном, текучем зеркале, отражались и чайки белые, и плывущие облака. Или – осенью. Или – зимой. Или – в летнюю пору. Всегда в нём звучала волшебная музыка бытия. Был он честен и стоек. Был надёжен. Знаток поэзии. Хорошо разбирался в искусстве. Знал он – многое. Жил – свободно, независимо. От всего, что мешало ему. Он мог отстраниться от всякой всячины надоевшей. И просто – жить. Но – по-своему. Без подсказок. Знал он сам, как ему поступать. Он уехал, давно, – в Израиль. Вместе с Олей, женой своей, замечательной, тонкой художницей. Оказался он там, на новой, обрётённой вовсе не в молодости, а в достаточно зрелом возрасте, сердцем искренне принятой родине, и востребованным, и понятым. Дом в пустыне. Работа. Средства к жизни – в общем, вполне достаточные, чтобы ездить по разным странам, путешествовать, принимать и гостей, к нему приезжающих, и действительность, всю, и мир, весь, и всё в этом мире – таким, как сложилось, как вышло. То есть принимать всё – как дар. Порой приезжает он в Коктебель, вместе с Олей. Совсем седой. Но – звучащий всеильной музыкой бытия, которое всюду, где бы ни был он, сквозь пространство и сквозь время идущий, – с ним.

Вот он машет рукой – издалёка. Приближается, вроде. Идёт? Нет, сидит. В инвалидном кресле. Но в пространстве – сквозь время – движется. Неизменно – сюда, ко мне. Из былого – навстречу грядущему. Как на свет. На пламя свечи. На сиянье ночных созвездий. Крупный, крепкий, чернобородый, с сединой сизовой. Гена Бессарабский. Скульптор. И рядом – ангел. Маша, его жена. Он взволнован. И оживлён. Он доволен:

гости пришли. Навестили его – в мастерской. А работа – пусть подождёт. Взгляд лучистых, добрейших глаз – из немыслимых лет – на нас. И – на каждого. И – на всех. И – улыбка. И – взлёты рук. Вверх. И в стороны. И – навстречу. Всем он рад. Привечает – всех. Говорит – о высоком, важном. И для каждого, и для всех. Длинный стол. Крепкий чай. Идёт бесконечно беседа наша. Говорим. Читаем стихи. Голоса молодые наши остаются надолго здесь. Даже, может быть, навсегда. Остаются – в памяти нашей. Превращаются в изваянья. Так он вылепил и меня, молодого, худого, стройного, вдохновенно стихи читающего, руки, словно в молитве, раскинувшего в обе стороны, с головою, запрокинутой в небеса, в трансе явном, в порыве, в полёте, но и здесь, в юдоли земной.

Было всех вас когда-то много, из былого, из круга СМОГа. Поредели друзей ряды. В небе – свет путевой звезды. Тишь да глушь над приморским кровом. Перемолвиться не с кем словом. И уходят в тексты слова. Да и память с ними – жива.

Шумит над вами жёлтая листва, друзья мои, – и порознь вы, и вместе, а всё-таки достаточно родства и таинства – для горести и чести. И празднества старинного черты, где радости нам выпало так много, с годами точно светом налиты, и верю я, что это вот – от Бога. Пред утренним туманом этажи нам брезжили в застойные годы, – кто пил, как мы? – попробуй завяжи, когда не всё ли в общем-то едино! Кто выжил – цел, – но сколько вас в земле, друзья мои, – и с кем ни говорю я, о вас – в толпе, в хандре, навеселе, в беспамятстве оставленных – горюю. И ветер налетающий, застыв, приветствую пред осенью свинцовой, немотствующий выстрадав мотив из лучших лет, приправленных перцовой. Отшельничать мне, други, не впервой – впотьмах полынь в руках переминаю, седеющей качая головой, чтоб разом не сгустилась мгла ночная.

Что-то вроде пунктира. Наброски. Или, может, штрихи. Или краткие, из минувшей эпохи, истории. Или попросту – то, что вспомнилось мне, седому, прямо сейчас. Раз пришло – говорю об этом. Благо время – в родстве со светом. И поэтому – в добрый час!

Вот и вышло – ушла эпоха тополиного пуха ночью, в час, когда на вершок от вдоха дышит лёгкое узорочье. Над столицей сень сквозная виснет маревом шелестящим – и, тревожась, я сам не знаю, где мы – в прошлом или в настоящем? Может, в будущем возвратятся эти шоры и касанье ко всему, к чему обратятся, невесомое нависанье. Сеть ажурная, кружевная, что ты выловишь в мире этом, если дружишь ты, неземная, в давней темени с белым светом? Вспышка редкая сигаретки, да прохожего шаг нетвёрдый, да усмешка окна сквозь ветки, да бездомницы выбор гордый. Хмель повыветрит на рассвете век – железный ли, жестяной ли, где-то буквами на газете люди сгрудятся – не за мной ли? Смотрит букою сад усталый, особняк промелькнёт ампиный, – пух сквозь время летит, пожалуй, повсеместный летит, всемирный. Вот и кончились приключенья, ключик выпал, – теперь не к спеху вспоминать, – но влечёт мученье – тополиного пуха эхо.

Где в хмельном отрешении пристальны дальнорзоркие сны, что служить возвышению призваны близорукой весны, в обнищанье дождя

бесприютного, в искушение пустом обещаньями времени смутного, в темноте за мостом, в предвкушении мига заветного, в коем – радость и весть, и петушьего крика победного – только странность и есть.

С фистулою пичужью, с присвистом, с хрипотцой у иных, с остроклювым взъерошенным диспутам из гнездовий сплошных, с переключкою чуткою, цепкою, где никто не молчит, с круговую порукою крепкою, что растёт и звучит, с отворённою кем-нибудь рамою, с невозвратностью лет начинается главное самое – пробуждается свет.

Утешенья мне нынче дожидаться бы от кого-нибудь вдруг, с кем-то сызнава мне повидаться бы, оглядеться вокруг, приподняться бы, что ли, да ринуться в невозвратность и высь, встрепенуться и с места бы вскинуться сквозь авось да кабысь, настоять на своём, насобачиться обходиться без слёз, но душа моя что-то артачится – не к земле ль я прирос?

Поросло моё прошлое, братие, забытьём да быльём, и на битву не выведу рати я со зверьём да жульём, но укроюсь и всё-таки выстою в глухомани степной, словно предки с их верою чистою, вместе с речью родной, сберегу я родство своё кровное с тем, что здесь и везде, с правотою любви безусловною – при свече и звезде.

## 5

Андеграунд – словцо с выкрутасами, с барабанными прибабасами, для частот самых низких типичное нынче, броское, заграничное.

Целенаправленный, резкий, прямолинейно-раскатистый звук его – чужд и тяжёл нашему, ко всему, вроде бы, только – вроде бы, вот что важно запомнить, привычному, чуткому, нет, абсолютному, если с речью он дружен, слуху.

Термин с дикой, кичливой претензией – нет, вы только себе представьте – не на что-нибудь там поскромнее, мол, чего мелочиться, хватит, надоело, бери повыше, рой поглубже, займи пространство, да и время, врасти корнями в землю, в небо пусти побеги, торопись гнездиться, плодиться, невзначай о цене рядиться с кем-нибудь, да хотя б с Хароном, или с критиком, неким звоном пусть услышится кем-то что-то, не нужны ведь для слухов ноты, всеохватнее, понахальнее, посмелее, – на универсальность.

Что-то сделанное, вещественное, но никак, никогда – не духовное, что-то зримое, наподобие дорожного указателя: только в этом езжай направлении – и не вздумай в пути сворачивать никуда, ни вправо, ни влево, никуда тебе больше нельзя, только прямо, туда, куда тебе, сам ты видишь, сам слышишь, указано, – ну а больше, – смотри мне, нарвёшься, коль зарвёшься, на неприятности, залетишь ты в зону опасную, налетишь на преграду властную, вразумят тебя мигом, умеючи, будешь знать, что почём, – никуда.

Этакий чужеродный, белыми хлипкими нитками неведомо кем и когда наспех пришитый лейбл – на истёртой, местами в клочья среди скитаний былых изорванной, ношенной-переносимой, но зато и привычной, надёжной, своего, отнюдь не заморского, не заёмного вовсе, незачем занимать, ведь своё-то исстари нам дороже всегда, отечественного, покроя и производства, пускай и действительно грубой, да, замечу тут же, надёжной, от всех, каковы бы ни были, мыслимых и немыслимых бед столько лет защищавшей и тела наши, может, и бранные, только всё ещё крепкие, в шрамах и рубцах, наследье сражений,

и невзгод, и всего, что пройдено, что испытано встарь когда-то, и души крылатые наши, всё ещё, нет, не выброшенной с глаз куда-то долой – ей-Богу, жаль расставаться! – ткани минувшей эпохи.

Скрепя – не впервые – сердце, приходится, как ни брыкайся, как ни крути, увы, что ж поделаешь, так уж вышло, так сложилось, надеюсь – временно, ни секунды не сомневаюсь, что, бесспорно, не навсегда, употреблять иногда это вот, нам навязанное, подброшенное на крыльцо, с чем-нибудь там да связанное неведомо кем, словцо.

Оно уже внедрено, оно по-своему, исподволь иногда, а то и в открытую, в лоб, впрямую, исправно, работает.

Кому-то оно удобно, наверное. Наверняка!

Выгодно, может, кому-нибудь? Не взято ведь с потолка!

Откуда-то – появилось. И – вот оно, здрастье, – пришло.

Что же нам всем остаётся? Только вздыхать тяжело.

Стерпится – слюбится? Так? По старинке? И – по инерции? Поскольку вот так-то – проще? Не думать. И не гадать.

Обходиться – тем, что всучили. Неизвестно – кто. И – откуда. Второпях. Наобум. Всем – оптом. Со всегдашним: пускай, сойдёт.

С наплевательским: ничего, переварят, потом – привыкнут. С издевательским: вот вам всем! Получили? Довольно с вас!

Что за звук в словце – нехороший? Нежелательный. Бестолковый.

Что за смысл в словце – подземельный, да и только? И есть ли смысл?

Где же – свет? Ну, просвет хотя бы. Выход, выдох, прорыв, полёт, воспарение. Где – дыханье? Где прозрение – наперёд?

Неужели привыкнем к этому, нам подброшенному, словцу?

Привыкали и не к такому ведь. Сколько раз – не сочтёшь вовек.

Неужели словцо дурацкое будет всем нам ещё к лицу?

Примирился ли с ним когда-нибудь терпеливый наш человек?

Ох, не знаю. Верней: не думаю.

Настроение – впрямь угрюмое.

Ночь темна. И душа – в смятении.

От неточности – где спасение?

Покуда более-менее точное определение, как ни грусти об этом, как ни вздыхай, не найдено, куда, пожалуй, разумнее и проще куда говорить, (не когда-нибудь там, потом, в отдалённом, туманном грядущем, а сейчас, в наше время, или же, что вернее, в странную пору междувременья, в дни, когда попытались мы все надышаться и свободой, и чем-то ещё, вроде воли, скорее – разгула всевозможных страстей и всяческих, на поверхности оказавшихся, непотребных порою, вывертов и каких-то ещё пируэтов, цирковых, балаганных, обманных, карнавальных – у одиночек, общемассовых, маскируемых под народные – у толпы, запрудившей вначале площади, стадионы, потом – экраны телевизоров захватившие под прицел своих цепких глаз, в ожидании многочисленных, громогласных, попсовых, любовных, а затем и кровавых зрелищ, сплошняком – негативных известий, самых свежих, горячих событий, происшествий, гламурных диких, моды, слишком изменчивой для непривычных к такой пестроте и роскошествам всяким, голов, непрерывной стрельбы, погонь, голых девок, грудей и задниц, бриллиантов, дворцов и яхт, путешествий и приключений на любой из возможных широт, заграничной, вполне устоявшейся, в пику нашей, кондовой, жизни, заграничной, легко и просто пожира-

емой, и глазами, и не только глазами – всем человеческим естеством, той, которую так несложно оказалось усвоить, освоить, с характерным для нас умением тут же, сразу, переосмыслить, подогнать под мерки свои, жизнью – гидрой, химерой, мнимостью, не годящейся, на поверку, чтобы жить по её законам столь недавно ещё – советским, а теперь – эсэнгэшным, российским, украинским и прочим людям, чтобы жить не явью, а просто имитацией то ли яви, то ли так, непонятно чего, бестолковщины, да и только, – но уже надышались дурманом, напиться успели яда, всех запретных ранее, сладких, но с горчинкой, плодов, то ли райских, то ли адских, поди разберись в кутерьме повальной, вкусить, и явилось, во всей красе парфюмерной, псевдоискусство, и подобье литературы неизвестно когда расплодилось, и буквально целые армии стихотворцев, шаблонных, безликих, безголовых и безымянных, развелись, на пустом ли месте, на безрыбье ли, среди разрухи и разброда, среди новой мглы, где зажглись, вместо тех, небесных, всем привычных созвездий – галактики бесконечных, как тягомотина с пепси-колой и жвачкой, рынков, – и ушли, отодвинулись в тень, кое-кем позабылись даже достижения наши бывшие в настоящей литературе, в настоящем искусстве, в нашем, а не чьём-нибудь там, искусстве, в нашей, кровной, литературе, столько долгих десятилетий непрерывно гонимой, но – выжившей, уцелевшей, навек сохранившей и дыханье своё, и свет, настоящей, вовсе не мнимой, не для всех, не для масс, пусть – для избранных, понимающих, что к чему, настоящей, иначе – подлинной, настоящей, неувядаемой, прорастающей сквозь года, создаваемой – навсегда, сознаваемой как призвание, как горение, как дарение людям, ждущей от них внимания, понимания, озарения, устремлённости – к свету, к чуду, к постижению движенья речи, – не затем ли в молчанье всюду зажигают ночами свечи настоящие, да такие в наших грустных пределах есть, тоже выжили, уцелели, несмотря ни на что, читатели, наши самые дорогие, пусть неведомые, порою, но вернейшие, всё же, друзья), – ну так вот, подчеркну опять, говорить разумней всего и проще намного сегодня: другая литература, другое искусство, другая культура, – такой вот всех примиряющий термин, предложенный – повторяю, поскольку слышал это я однажды в Москве от него самого – Сергеем Ивановичем Чуприниным.

По крайней мере, уж это по-русски всё-таки сказано.

И важнейшую эту деталь, а точнее всего – камертонный, пусть на время, покуда головы как-то разом не просветлеют у людей наконец-то, звук, пусть ещё глуховатый, но всё же тон всему задающий звучанью предстоящему, нарастающей и грядущей музыке всей, строю, ритму, движенью, пластике всех возможных определений, толкований решительно всех, из которых когда-нибудь, несомненно, ещё появится долгожданная и чеканная, лучезарная, светлая формула, я опять-таки не случайно, а сознательно, даже больше, из упрямства, и – по чутью, по нитке, поскольку в них-то и таится зерно, из которого к свету нужный росток пробьётся, чтобы в рост устремиться, подчеркнута.

Почему? Это как – почему? Что за странный вопрос! Нет в нём надобности, ни малейшей. Да потому, что это, поймите, поверьте мне, крайне важно, жизненно важно. Как воздух, необходимо.

Уж простите меня, читатели дорогие, за тысячи раз всюду употребляемое всеми кому не лень и вроде бы нынче вконец заезженное выражение.

Однако – именно так. И никак не иначе. Как воздух. Нужный – для жизни слова. Поскольку слово должно, раз уж это русское слово, жить в стихии речи родной.

А то, представьте себе, этакое, разэтакое, невесть что, да и только, словно сварганенное в Голливуде мастерами по спецэффектам, –

то ли залётное, жуткое инопланетное чудище, то ли земной мутант, – пучится криво, по-рачьи, тычется в горло клешнями по-крабьи, при этом вопя истошно, как будто бы «чёрт!» бесконечное и назойливое, из штатских боевиков, неожиданно превращая в небывалое:

андегр-р-раунд!..

И едва успеваешь порою отмахнуться от наваждения поскорее, про-бормотав, по традиции:

чур меня, чур!

Да, подарочек – ну хоть куда.

Что с ним делать? Как быть?

И всё же...

Почему тогда, почему же, объяснит ли кто-нибудь, именно оно, это вроде бы чуждое, вне всяких сомнений навязанное нам, наивным и одержимым, нам, романтикам, идеалистам, русским людям, таким, как-то уродились, таким, как есть, ни убавить и ни прибавить, пере-делать нас невозможно, принимайте нас всех таковыми, вот мы, все, на виду, словцо, пробуждается вдруг в духовной глухомани пятидесятых,

пробивающимися настойчиво сквозь глушилки и щели в занавесе, том, железном, несокрушимом, всем казалось, прочно сработанном, не Левшами, конечно, другими, тоже классными специалистами, по приказу кремлёвских властей, почему-то для всех убедительными голосами радиостанций чужеземных, всей мощью освоенного до последнего миллиметра, переполненного свистящими и шипящими позывными, новостями, разоблачениями, обличениями, обобщениями и подробностями, эфира, и запретным, с едкой горчинкой, с холодком, по хребту сквозящим, с пересохшим горлом, с обилием возникающих столь стремительно, что не знаешь, куда их девать, воспалённых, мятущихся мыслей, с тенью страха вблизи, за стеной, с ощущением личной отваги, личных новых открытий, личной, безусловной, новой победы над всеядной, повальной ложью, с каждым новым, отнюдь непростым, шагом к правде, к честности, к вере, гипнотическим, сладостным шелестом самиздатовских, притягательных для любого из нас, для всех, если проще сказать, страниц отзывается из крылатых, несмотря на то что пытались эти крылья подрезать, смелых и пытливых шестидесятых,

налетевшим с запада, пряным, незаметно пьянящим, дразнящим, возбуждающим, притягательным, наркотическим ветерком слишком смутно, так, по верхам, представляемой нами свободы и видениями заморских, фантастических, невозможных столь недавно, почти нереальных, но теперь обретших реальность, существующих в мире и даже достигаемых, кажется, стран томит, а кого-то и мучает, тянет к себе, призывает вырваться в ним, увидеть собственными глазами, что же в них есть такое особенное и в чём же отличие их от нашей многострадальной страны советской, в семидесятых,

всеобщей надеждой на некие желанные изменения к лучшему, пусть это лучшее расплывчато и туманно, и многое под вопросом, и нет ни-

каких оснований считать, что действительно лучше станем жить мы, и всё утрясётся, перемелется, позабудется, прояснится, то слабо брезжит, то с неожиданной силой вспыхивает, разгораясь подобьем зарева над страной, в восьмидесятых, –

и, наконец, магической дудочкой крысолова, расслышанной всеми вовремя, влечёт за собой в девяностых, –

дабы выйти нам всем, взявшись за руки, разом, из темноты к свету, явиться в мир – из родимых привычных берлог, из обжитого подполья, из прокуренных подземелий: вот и мы, приветствуем вас, не обессудьте, земляне, принимайте нас поскорее такими, какие мы есть, со всеми нашими русскими особенностями и странностями.

Непростое словцо, действительно.

Выходит, что непростое.

Загадочный код земного, отечественного, знакомого достаточно хорошо, чтоб считать его можно было нам, по-свойски вполне, своим, обжитого, русского времени и общего, планетарного, неведомого, существующего с неизбежностью всюду, пространства, со всеми возможными тайнами и упованиями всеми, заключён в нём, никак не иначе.

Ещё ведь, ну и дела, и не названо по-человечески, ещё и русского имени, так-то, братцы, не получило, – а поди ж ты! – с места в карьер начинает работать, старается, обнаруживает свою нешуточную энергетику.

А всё, собраты мои, товарищи дорогие по скитаниям и сражениям, одержимые общим служением речи нашей родной, которой равной в мире подлунном нет, потому, что, произнося крутоватое это словцо, через силу произнося, будто и не говорим мы, а, допустим, вместе мычим, ощущаем мы подлинность, правду, заключённую всё-таки в нём, кожей чувствуем всюду, хребтом, и никуда от этого нынешнего ощущения не денешься, потому что это выстрадано, это – наше, наш, немалый, жестокий опыт, наша жизнь, земная, дарованная нам, чтоб свет в ней сберечь, наше творчество.

Кто же мы? Кто мы такие?

Мы – люди неофициальные.

Мы – другая культура, другая совсем, не советская вовсе, слава Богу и слава судьбе, слава речи родной, но – русская.

Из другой мы, как говорится, оперы. Из другой, да, другой совершенно, странной, для кого-то, ну что ж, пускай так считают, не всё равно ли, если было всё именно так, пусть и трудной, скрывать здесь нечего, но зато и прекрасной жизни.

Я – из другой, не вашей, а нашей, литературы, – как с другой, кому-то известной, а кому-то неведомой, дальней, хоть и рядом она, рукою дотянуться можно, планеты.

И Коля Шатров, и Губанов Лёня, и Ворошилов Игорь, и Величанский Саша, и все остальные, считанные, хоть и было всех нас довольно много, избранные и призванные, словом, навеки – наши...

Конечно, куда привычнее и проще теперь говорить, кому приспичит, любому, и старому, и молодому, и критикам, и поэтам, и писателям, и художникам, разномастным, в наши-то дни, с бестолковщиной их повальной, с узаконенной неразберихой, с их понятиями, перемешанными, перепутанными, подменёнными неизвестно чем, с их бредовой

имитацией прежних, когда-то, в годы страшные, сделанных теми, чьи заслуги не спрячешь, открытий, – неофициальные, так, и никак не иначе, и в давние времена, и в нынешние, так сложилось, литература и искусство, неофициальная, так уж вышло, сограждане, помните и в грядущем об этом, культура.

Пусть, эх, что там, была не была, слово вспыхнуло, даже – подпольные: романтичнее, согласитесь, и таинственнее, – хотя, впрочем, слишком по-заговорщицки, с отголосками всех революций, как известно, кровавых, звучит, – а, значит, а то и значит, да то и значит, вы вслушайтесь в это слово, в смысл его вдумайтесь хоть разок, не совсем то.

Подспудная, подземельная – ничего себе определение, так и хочется взять то фонарь, чтобы что-то вокруг разглядеть в темноте непроглядной, кремешной, то лопату, чтоб рыть себе лаз и наверх прорываться, хоть лучше бы с Ариадниной нитью в руке выбираться из лабиринта к свету, к людям, к природе, – культура?

Ну, это уж, братцы, и вовсе какое-то «из-под глыб»!

А может, чего там, стоит ли гадать да ломать себе головы, и без того усталые, всё-таки авангард?

Но что это – что за зверь, что за птица, что за субстанция, что за сгусток энергий, кипящий новоявленной плазмой, – такое?

Опять-таки толком никто сроду не объяснит.

Речь идёт о нашей стране.

И она, как известно многим, а может быть, даже, и всем землянам, на протяжении долгих тысячелетий, за которые мы, увы, чего только не наслушались о себе, совершенно, представьте, решительно не похожа на другие, со всех четырёх сторон поступательно, плотно обступившие нас, окружившие, и пытающиеся, особенно в последнее десятилетие ушедшего века, а также в начале нового века, свысока, в основном, с высоты демократии и свободы снисходительно, с едким прищуром всё поглядывая на нас до вздыхая о нас, заблудших, неразумных и бестолковых, несговорчивых, гордых, упрямых, этак вроде бы миролюбиво, по-отечески прямо, участливо, вразумлять нас, таких-сяких, напроказивших, набузивших, не желающих признавать и грехи, и ошибки свои, чуть ли не по-матерински журить и почти по-братски наставлять нас на путь, по их, не по нашему вовсе, мнению, вот что сразу в глаза бросается, настораживает, заставляет поневоле задуматься, истинный, имеющие, не без этого, понятное дело, свои характерные, скажем так, особенности и собственные взгляды на жизнь, хорошую, размеренную, наверное, подконтрольную власти, с денежной лихорадкой в жидкой крови, разбавленной аспирином, сытую, и на искусство, но всё равно ведь – иные, не нашенские, «немецкие», как и давным-давно, в старину, с её трезвым суждением о природе вещей и явлений, те, где не мы живём, а совсем другие народы, те, где почвы родной, насущной, помогающей выживать и дышать в любых обстоятельствах, нет для русского человека, те, в которых нет речи русской, чужие, совсем чужие для нас, а ежели даже и географически близкие – всё одно для души и для сердца слишком далёкие страны.

По мне, так уж лучше всего – найти, пускай и намучившись с этим поиском, верное слово.

А то парадокс получается. Очередной, на отечественной, ко всему-то привычной, почве.

Смысл и суть слова, в общем, – ясны.

А имени своего у слова – доселе нет.

Господи, осенило бы хоть кого-нибудь, что ли, однажды, – так, как когда-то – Губанова, со словом, девизом, призывом, кодом, кличем, ключом, паролем, набатом, символом, определившим путь всей нашей плеяды, – СМОГ!..

И, тем не менее, раз уж корёжащее, нарушающее привычную артикуляцию словцо уже внедрено – временно – в нашу речь, придётся, морщась, конечно, и сквозь зубы, само собой, да ещё и с вызовом вечным боевым, врождённым, открытым, поигрывая желваками на обветренных, выжженных зноем, холодами прихваченных, крепких, азиатских, упрямых скулах, его иногда, что поделаешь, пусть нечасто, употреблять.

Андеграунд, наш, на отечественной почве, на почве, нам хорошо знакомой, родной, – сознательно повторяю, что именно русский, на ней, на нашей с вами, сограждане, порою ещё целинной, а порой и возделанной почве, а не где-то там, за морями, в благополучных странах, – явление чрезвычайно сложное, уж поверьте мне, полное, впрямь под завязку, противоречий всяческих, на удивление пёстрое, разнородное и разношёрстное.

Всякой здесь твари по паре.

Наряду (так, видно, давно уже повелось, и в этом, что делать, есть какая-то закономерность, неминуемая, досадная, вопиющая, столько лет привносящая в нашу среду хаотичность, изрядную путаницу, нарушение понятий и правил, бестолковость и суету, словно вирусов разных, мутирующих моментально, в любую эпоху, только б им расплодиться скорее, ну а там будь что будет, нашествие) с подлинными творцами – предостаточно, просто девать их некуда, так и роятся, мельтешат, раздражают, нагледят, набиваются и в друзья, и в соратники, тут же цепляясь за любую возможность как-то проявить себя, утвердиться, разгуляться, заматереть, лишь мнящих себя таковыми.

За полвека столько, прямо вам скажу я, без церемоний, без намеренных скидок на что-нибудь примиряющее, стирающее незаметно углы и грани, для порядка, или в угоду неизвестно кому и чему, без оглядки на чьи-то мнения, рассуждения и догадки, в коих чувствуешь жёсткость хватки, дирижёрской палочки взмах, лишь бы вызвать брожение в умах, поддержать его и продлить по возможности долго, чтобы разобраться было труднее в том, что ведомо нам давно, в том, что, птицей влетит в окно, если надо, поскольку правду никому ведь не утаить, с нею надо считаться всем, в том числе и различным умникам, толкователям и гадалкам на кофейной гуще, радателям за какое-то панибратство, не иначе, в искусстве нашем, в нашей, трудной для неофитов и любителей помолоть языками, литературе, запуталось и, завихряясь, туманясь, переплелось, что грядущим, вполне возможным, исследователям, надеющимся знатоками прослыть когда-нибудь постигаемого с трудом всеми, оптом, взаимодействия разнородных стихий, энергий, измерений, времён, пространств долго ещё придётся добираться, кряхтя, до сути.

Это явление дивное, совершенно оригинальное, потому что – своё, незаёмное, со своими, лишь так, достоинствами и своими, увы, недостатками, взлётами и падениями, поисками и открытиями, и уж точно,

в этом сомнения не должно быть у всех, – небывалое, – на Западе нет и не может быть у него никогда ни отдалённого даже, пусть и крохотного, подобия, ни, тем более, двойника.

Наша неофициальная отечественная культура, быть может, задумана выше была, вполне вероятно, что было всё именно так, начиналась и развивалась – я сознательно повторяю и подчёркиваю всегда эту верную, ежели вдуматься, и правдивую мысль, – как новый, русский, ставший в двадцатом столетии неминуемым, Ренессанс.

Как обошлась жестоко с нею, с культурой, то есть хранительницей духовности, спасительницей души, советская, с кумачовыми знамёнами над страной, от запада до востока, от севера и до юга, куда ни взгляни, действительность – всем нам хорошо известно.

Это трагедия, равных которой в зримой для нас, прожитой нами, выстраданной послевоенной истории страны – ведь губили, гноили, топтали, травили, давили, рушили, выжигали, изничтожали, по-вражьи, в раж и во вкус войдя, с остервенением, даже с наслаждением изуверским, с пунктуальностью запредельной, с монотонностью механической, непрерывной, бесперебойной, не что-нибудь там, а культуру, духовность свою! – немного.

Изломанные, изувеченные, печальные, страшные судьбы, исковерканные биографии, изнурительная борьба, год за годом, за выживание, постоянные, видно, по плану, по команде, вестимо, по графику, по спискам, с доносами сверенным, одобренным сверху, преследования со стороны властей, донельзя, вконец, да так, что страх поселялся в домах жильцом, прописанным здесь надолго, может – навечно, изматывающая всех, кого ни возьми, ни вспомни, не целыми днями вовсе, но целыми десятилетиями, всю жизнь, коль на то пошло, неопределённость, условность самого, куда ни взгляни, уязвимого, человеческого, беззащитного, бесправного существования в таких безнадёжных условиях, риск, игра со смертью, повальная нищета, сплошные бездомницы, аресты, допросы, слежка, процессы над инакомыслящими – неминуемо задевающие и искусство, психушки, ссылки, милицейский и кагэбэшный, регулярный, всеядный надзор, отчаяние, алкоголь, невозможность свободно дышать, с великим трудом обретаемое душевное равновесие, запреты, втихую, но жёсткие, исполняемые старательно, со рвением и усердием, на издание, во пределах, русских, родных, поэзии и прозы, на выставки живописи, на исполнение музыки, – и, в противовес, вопреки этому многолетнему, нескончаемому кошмару, – становление духа, неистовая творческая работа, взаимопомощь, налаженная, бесперебойная связь с единомышленниками, интенсивное, замечательное, не заменишь его ничем, на высоких тонах, общение, выработанная в бурях, отчеканенная в невзгодах, кристаллов цельнее и чище, закалённое стали, своя этика, не позволяющая идти на уступки, участие золотых, надёжных друзей, пристальное внимание соратников по среде к сделанному тобой и сделанному другими, отсутствие, напроць, цинизма и эгоизма, жертвенность, высокое, высочайшее горение, понимание творчества как прорыва вперёд, в грядущее, к звёздам над миром, а то и как подвига, то наивность, то ясная трезвость в оценке той ситуации, в которой мы все оказались, гордое осознание собственной правоты и собственной, личной причастности ко всей одарённой когорте, к общему делу создания нового, только так, своего, навсегда, искусства, редкостная сплочённость и единство всей

этой буйной, колоритной, мятежной братии, чуть ли не государство в государстве, вроде воинственной, вольнолюбивой, могучей, независимой Запорожской Сечи, с тем уточнением, что принимались в неё не только мужчины-воины, но и женщины, тоже воительницы, с богемным образом жизни, со своими, лишь так, понятиями о чести и о достоинстве, особенностями пытливой, своенравной, пронизательной мышления и поведения на людях и в быту, своеобразной, искренней рыцарственностью, верностью идеалам, легендами, нравами, собственным стилем одежды, пристрастиями, привычками, шкалой ценностей, речью, с высоким штилем и сленгом, способами добывания необходимых средств, так мы их называли, помню, к существованию...

Вот что более чем очевидно, даже на первый взгляд.

Ну а лучше всех, то есть верно, по Хлебникову, до точки, опыт весь призвав свой немалый, для поддержки, по-настоящему, понимает это лишь тот, кто и сам в нашей шкуре когда-то, в дни эпические, лирические, в годы прежние, побывал.

Отечественный андеграунд – явление, или творение наше, или горение, или же, как и сказать об этом, толком не знаю, как обобщить мне это, выразить точно и кратко, из ряда вон выходящее нечто, не только российское, но, следует помнить, общее для всей огромной былой Империи, произросшее на всей огромной, избыточной, чудовищной территории бывшего, упразднённого, за ненадобностью, в угоду неизвестно кому, Союза, – отсюда его многослойность, многомерность, вариативность, я бы сказал, что даже полифоничность, вот именно, как в музыке, если прислушаться к общему, состоящему из множества элементов, тонов и полутонов, звуков и призвуков, стройному, слаженному звучанию.

Создан он был, не сразу, разумеется, но постепенно, с течением лет, служивших почвою для него благодатной, самыми разными людьми, буквально великим, (здесь не место подсчётам дотошным из области математики, но не жизни конкретной), множеством людей, – причём, не забудьте, пожалуйста, запишите себе, для памяти, на заметку возьмите, среди его создателей, это важно, для вас, отметить, были не только поэты, прозаики, живописцы, композиторы, барды, актёры и так далее, но и те, кто слушали наши тексты на всякого рода чтениях – квартирных, частых, привычных, и более редких, бывших событиями, в институтских, переполненных до отказа, и в библиотечных залах, кто читали и перечитывали тексты эти с листа, заучивали наизусть, а потом в самиздате их охотно распространяли, кто бывали, время от времени, в мастерских у художников левых и видели там, а то и на выставках кратковременных, живопись их и графику свежую, те, кто случали на полулегальных концертах авангардную музыку сложную или всеми любимый джаз, ценители наши, поклонники, собиратели, обожатели, друзья, подруги, приятели, пропагандисты ярые нашего творчества, жертвенные, вдохновенные, незабвенные, люди самоотверженные, искренние, живые, дорогие навек, те самые, которых стало теперь так немного, увы, – те, кому необходимо было и крайне важно всегда всё то, что когда-то мы, их поэты, именно их, и художники, и композиторы, их любимцы, их вдохновители, современники их, создавали.

Сформировалась, как-то незаметно, сама собою, а может, вполне вероятно, по желанию высших сил, почему бы и нет, уникальная, иначе

не скажешь, как там ни пытайся сказать попроще, подоступней теперь, среда.

Помимо поэтов, писателей, художников и музыкантов, то есть людей сугубо творческих, личностей, жаждущих проявиться и состояться в этих, таких различных, но в то же время и родственных, несомненно, духовными нитями связанных областях, в неё, как свои, на равных, на таких же, общих для всех, условиях и правах, входили и правозащитники, и священники, и техническая, жадно тянущаяся к искусству русская интеллигенция, и студенчество, и колоритные, самобытные, иногда поразительно яркие люди из самых различных слоёв тогдашнего, пусть и советского, не всё ли равно теперь, как его называть, ведь другого тогда и в помине, вот что, просто не было вовсе, общества.

Было кому показать то, что ты сделал недавно.

Чаадаев не зря говорил: «Слово звучит лишь в отзывчивой среде». Заметьте: отзывчивой. Той, которая отзывается на звучащее слово. То есть – не просто из любопытства или из праздности, что ли, или же, может, из вежливости, нехотя, слову внимающей, но – конечно же, образованной, не случайной вовсе, но – избранной, и внимательной, и понимающей.

Лучше, пожалуй, не скажешь.

Поэтому и большая серия книг моих воспоминаний, вернее, моей, необычной, как нынче знатоки считают, весьма своеобразной прозы, над которой так много я работаю, называется «Отзывчивая среда».

Как теперь, в наши дни, по прошествии времени, отшумевшего незаметно, к тому же немалого, вон их сколько, десятилетий, где-то там, позади, за гранью века, трудного для души и для сердца, бурного, страшного, но родного, нашего с вами, вот что нам забывать нельзя и средь нынешнего междувременья, и в грядущем, если, даст Бог, доживём до лучших времён, определить, когда, как и кем был создан и выстроен в уникальную то ли систему, то ли звёздную россыпь, то ли человеческую, земную, но с небесной защитой, общность разных личностей, разных судеб, разных, в общем-то, биографий, достижений разных, и в слове, и в других искусствах, единый, между тем, для всех нас, особенный, не вмещающийся ни в какие рамки, рвущийся на простор из застенков и из подвалов, прорывающийся сквозь сумбур городской и кремлёвский гнёт к свету, к людям, наш андеграунд?

Может, он был всегда, всюду, на протяжении всего двадцатого, толком не осмысленного, столетия, а может, поди разберись теперь в едва различимых, но доселе живых истоках, он существовал и раньше.

Литературные и художественные течения и группы начала века (акмеизм, футуризм и так далее), обилие всяческих, пёстрых, долговечных и кратковременных, движений, объединений, сообществ, кружков, столичных, а также провинциальных, их расцвет, в двадцатых годах, – это, в немалой степени, тоже ведь андеграунд.

Но он ещё и осознанное, упорное, сквозь невзгоды со стиснутыми зубами, с желваками, с певчими горлами на вселенском диком ветру, в непогоду, среди бездомниц, нищеты, житейских нелепостей, толкотни вокзальной, привальной, с костерком ночным, передышки перед новым рывком вперёд, в путь под звёздами, предначертанный не случайно, и с честью пройденный, с холодком рассветным отчаянья, со свечой извеч-

ною чаянья, со свершениями желанными, с обещаньями счастья туманными, с беспросветной тоской, с просветлениями, озарениями, прозрениями, серебром седины, всеобщее, наше, братья, противостояние.

Тут сразу же вспоминается Мандельштам, прозорливец, скиталец, страдалец, судьба которого, сквозь время, сквозь поворот незримой спирали космической, сравнима с судьбой Шевченко, изгнанника и провидца, и обэриуты – Хармс и Введенский, и Заболоцкий, и Шаламов, – и вот уже выстраивается, растёт, расширяется звёздный перечень имён, без коих немыслима отечественная культура.

А что такое, скажите мне, мистическое, провидческое творчество, многолетнее, без малейших надежд на издание, хоть когда-нибудь, в жутких условиях, в одиночестве беспросветном горьких дней, Даниила Андреева, если не андеграунд?

А судьба и творчество Анны Ахматовой, гордое, мужественное, с двадцатых до середины пришедших шестидесятых?

А долголетнее, тихое, упорное, вопреки любым катаклизмам, творчество Евгения Леонидовича Кропивницкого, подмосковного затворника и учителя многих славных людей, создавшего, в яви нашей, школу свою?

А над бедами поднимавшее, бескомпромиссное творчество Филонова и Малевича, Татлина, Фалька, Фонвизина?

А Шостакович, с его твёрдым сопротивлением, в музыке, в жизни, жестокому, беспощадному часто, режиму?

А вся история с «Доктором Живаго» – вначале с долгим и мучительным сочинением романа и поступательным, но решительным всё же внедрением текста машинописного в сознание современников (я видел своими глазами пастернаковскую записку, позволявшую, в пятидесятых, одному из моих знакомых получить роман для прочтения, и сам этот акт сознательный, этот жест, широкий и щедрый, – мол, пускай молодёжь читает самиздатовскую, тогдашнюю, второй экземпляр или третий, разберутся, перепечатку, – говорит, безусловно, сам за себя), а потом и с изданием, вынужденным, на Западе, своего, знаменитым ставшего в одночасье, многожды изданного, сокровенного произведения?

Список можно и продолжать, потому что мгновенно, тут же, по вспышке, так я подобные состояния называю, возникают, вдруг, параллели, сопоставления, нити, незримые, прочные, сразу же протягиваются от автора к автору, от читателя к слушателю, от слушателя к зрителю, – и возникает, укрупняется, всё растёт понятие андеграунда, такое, как мы, живущие в начале столетия нового и едва проводить успевшие столетие предыдущее, себе его представляем, – каждый, впрочем, по-разному.

Николай Шатров (не слыхали? ничего о таком не знаете?) – замечательный русский поэт, и десятая доля наследия которого так и не издана до сих пор почему-то, – вот уж стыдобища для просвещённых соотечественников, ценителей драгоценной поэзии русской! – только я и делал на родине, в меру сил своих и возможностей, публикации в разных журналах, публикации, из которых целый сборник уже наберётся, – ну и слава Богу, – хоть так, пусть читают живое слово, –

Шатров, говорю я с грустью, вспоминая вновь Николая, человек небывалый поистине, по культуре своей, по развитию, по духовности ясной своей, человек просветлённый, особый, ибо дар его был –

осиянным, ибо люди, ему подобные, столь редки и неповторимы, – ещё во второй половине сороковых годов и в начале пятидесятых, живя вдали от Москвы, в провинции, в глухомани духовной, писал стихи такой небывалой силы, каких, помимо Ахматовой, Заболоцкого и Пастернака, относившегося к Николаю, замечу здесь, с восхищением и неизменным почтением – несколько позже, когда, наконец, они познакомились и даже, представьте, сдружились, в то схлынувшее в былые навеки, грустное время в России никто не писал, –

но думал ли он когда-нибудь, что это и есть андеграунд?

И знал ли он вообще такое слово? Помилуйте, откуда? Конечно же, нет.

Однако, поэт настоящий, это знающий сам, без подсказок и мнений чьих-то весомых в придачу, он жил, он работал.

Вот так, мой читатель, жаждущий разобраться во всём, украсить вариациями своими, словно в музыке, музыке жизни, прежде времени, скромно звучащую, без фанфар и литавр, многотрудную и без этого грохота, тему, всю в бемолях сплошных, в миноре, в основном, но с мажорной основой, вот что странно, не правда ли, тему, дорогую для сердца, мою, а не чью-нибудь там, то есть кровную, тему личную и трагичную, не без лирики, с примесью эпоса, как обычно я говорю, поясняя что-нибудь нынешним любителям старины, которая, между прочим, права была часто, по-своему, и которую вам осмыслить придётся когда-нибудь, то островками, то порознь, где-нибудь в безнадежной глуши, на отшибе, да и в столичных коммуналках, – да мало ли где! – создавался, существовал наш отечественный андеграунд.

Время потом всё равно собрало всех в единый сгусток, дало возможность общаться, работать и видеть воочию результаты этой работы.

Остался ли андеграунд в безвозвратно ушедшем прошлом – или, вполне возможно, живёт он и в настоящем?

Да никуда, поверьте на слово мне, он не делся.

Куда ему исчезать? Что за надобность? Что за поспешность непонятная? Что за причуда? Что за прихоть, в конце концов?

Театральность какая-то, право, бутафория, с бархатным занавесом, с устаревшими вдруг афишами, с извещением о закрытии гастролей или сезона, с отзвучавшими и забытыми до поры до времени драмами и трагедиями, оставшимися разве только в памяти зрительской да в актёрском репертуаре, в бестолковом предположении этом, тут же заглохшем, есть.

Исчезновение – мнимость. Условность. Прочерк рассеянный, сделанный кем-то чужим, посторонним, растяпой, ленивцем, давно и привычно скучающим на службе, в тексте, которому жить да жить ещё, без таких вот, ни к селу ни к городу, прочерков, жить да жить, пережить поколения, позабыться, на время, чтобы, разом вспомнившись, оживая, возвратиться, уже навсегда.

Зачем ему пропадать? В каких, скажите на милость, неизвестных, дальних краях? За горизонтом, что ли?

Пропажа – словно продажа. В рабство, может быть? На галеры? Куда ещё? Пропадать – так с музыкой? Тоже бред.

Пропажа – словно поклажа. Тяжёлая. Тяжелее тоски, например, матёрой. И то ведь: была – и нет.

Андеграунд же, пусть не по-русски называется он, пока что, ничего, потеряем, когда-нибудь имя русское он обретёт, – присмотритесь –

здесь и повсюду, жив-здоров, да и вам того же пожелать в любую минуту, дружелюбно вполне, готов.

Как в минувшем существовал, так и ныне он существует.

Разумеется, безусловно, я не спорю, само собой, как и всё абсолютно в мире, андеграунд, конечно, меняется.

Новое поколение – понимает его по-своему.

Ну а мы-то, старая гвардия, – понимаем его по-своему.

Каждый так его понимает, как умеет. И каждый – прав.

И любому он, при желании, свой характер покажет и нрав.

Следует помнить о том, что слишком уж многих соратников наших нет, как ни горько с годами осмысливать это, как ни трудно с этим смириться, как ни грустно без них, в живых.

Что ни плеяда, что ни компания –

всюду зияния. Выбыли.

Были в когорте – и выбыли.

Нет их. Люди ушли.

Те, кто выжили чудом, – держатся.

Сызнава надо – выстоять.

Сколько помню себя – выживаю.

И – держусь. И – стараюсь выстоять.

Будучи верен давно уже, не от хорошей жизни вовсе, и не от блажи, не по прихоти, не по причуде какой-нибудь, но по причинам разным, вполне серьёзным, выработанной этике, никому себя не навязываю.

Знаю, что тексты мои всё равно, вопреки преградам и нелепостям всяким наших свободолюбивых дней, превращающихся незаметно в друг за дружкой куда-то идущие, а куда же, да кто его знает, кто подскажет и кто увидит их отток, может быть, в никуда, в пустоту, а возможно, к высотам новым, радужным, долгожданным, подуставшие, битые, тёртые и выдавшие виды годы, будут изданы, даже при жизни, не такой, как у всех, моей, непростой, заковыристой, личной, беспокойной, отнюдь не тепличной, но ветрами всеми эпохи неспроста, полагаю, овсянной, драгоценной, творческой жизни, жизни-песни, да, именно так, жизни-сказки, жизни-легенды, жизни жуткой, жизни прекрасной, жизни взрывчатой, огнеопасной, трудовой, поскольку тружусь я, неизменно, упорно, всегда, и горит надо мной звезда, и лежит предо мною путь, и ясна мне порою суть бытия, и вселенной весть, а загадок и тайн не счесть, как и прежде, и новизна яви нашей щедро сполна, почитаема свято правь, и её ты со мною славь, и открыты мне глубь и высь, и созвездья свечей зажглись в память прошлых суровых лет, и в грядущем я чую свет негасимый, – тексты мои, тексты, будем их так называть, и стихи, которых я столько написал, что хватило бы их не только на мост до серебряного месяца, как говорил Хлебников, но и дальше значительно, до Венеры, пожалуй, и проза моя, непохожая ни на кого, необычная, и по пластике, и по ритмам, и по структуре, проза – музыка, проза – поэзия, со своею полифонией и гармонией, со своим стилем, строем, дыханьем, законами, всё, что я написал и, надеюсь, верю, впредь написать сумею, будут изданы и прочитаны.

Знаю твёрдо – правду свою.

Разумеется, как же иначе, ничего не поделаешь, так всё сложилось давным-давно, и нельзя ничего теперь, как ни бейся, переиграть, да и незачем это делать никому, ни мне, ни другим, даже с лучшими

побуждениями, потому что, здесь нет секрета никакого, и нечего умные или в меру практичные головы понапрасну ломать, не старайтесь, ничего не выйдет у вас, обойдётся всё без прикрас, без надуманных параллелей, без ненужных и глупых сравнений, надо ль сравнивать, ведь живущий несравним, как сказал поэт, всё хорошее в жизни бывает, как и встреча в романсе старинном, только раз, единственный раз, я и раньше себя относил, что любому, надеюсь, понятно, и доселе себя отношу к своеобразной, но подлинной, вот что важно помнить, культуре нашего андеграунда.

Каково моё положение ныне? Что ж, об этом – скажу.

Ощущение: приближения – к небывалому рубежу.

Состояние: сплошь – рабочее. Трудное. Труды и дни.

Вижу: время теперь – охочее до других. Я давно – в тени.

Я – затворничаю. Сознательно. Я живу – от всех в стороне.

Только звёзды смотрят внимательно на меня. Да луна в окне.

Только море со мной бескрайнее, как и прежде, накоротке.

Ничего в этом нет случайного. «Я один, и перо в руке».

Так сказал Гумилёв. Одиночество, как и творчество, днесь со мной.

И провидчество, и пророчество – здесь, вот в этой глуши земной.

Речью русскою, исцеляющей от страданий и бед, я жив.

Речью, исстари возвышающей всё, что пел, от людей не скрыв.

Когда меня, почему-то, в течение четверти века не издавали на родине, был я в неофициальной русской культурной среде очень известен, и даже – это было со мной – знаменит.

В эпоху, невероятную, для нынешних поколений, для нового, незнакомого, или, может быть, полужнакомого, на всех нас ни в чём не похожего, с примесью слова расхожего, с печатью нового быта, вместо скудных даров общепита советского, на молодых, без морщин и без шрамов, лбах, но с обильными татуировками на теле, свежего племени, в эпоху, можно сказать, мифическую, героическую, из былин, из легенд, из преданий глядящую прозорливо и пытливо сюда, на всех существующих, по выражению Толи Зверева: «я не живу, я существую», и всех живущих всё-таки, то есть осознающих себя живущими, самиздатовскую, поистине фронтовую, родную для нас, грозную, читателей у меня было, и это ведь было, предостаточно, как и слушателей.

Жил я тогда, скрывать нечего здесь, очень трудно, временами настолько трудно, что казалось, труднее уже не бывает просто, ни с кем, в том числе и со мной, но всегда, очень много, в любых обстоятельствах, даже самых жестоких, работал.

У меня было самое главное, неотъемлемое, очевидное и бесспорное, для людей окружения моего, для знакомых и незнакомых, знатоков поэзии, или же просто скромных любителей слова, дорогого для них, живого, пусть неизданного, не беда, ведь оно-то придёт всегда к человеку само, придёт, сквозь бесчашье, и страх, и гнёт постоянный, сквозь сонм преград, и ему будет каждый рад, и оно приходило встарь, и горел среди дня фонарь, и горела свеча в ночи, и звенели впотьмах ключи, открывая за дверь дверь, и спасти от любых потерь нас общение вновь могло, словно вставшее на крыло над просторами всей страны, где стихи по-зарез нужны были в годы, когда брала в окружение души мгла, но, в

бессилии озверев, исчезала среди деревьев, растворялась, клубясь, вдали, уходя в никуда с земли, пропадая, сходя на нет, и высокого слова свет побеждал, уж в который раз, всё дурное, чтоб слёз из глаз понапрасну, зазря не лить, прозревая, а значит – жить, быть всегда самими собой, петь, дышать, не спорить с судьбой, ибо линии судеб вновь приводили с собой любовь, и надежду, и веру, впредь призывая смелей смотреть и в грядущее, и вокруг, вот и рос магический круг, или дружеский, или тот, что в бессмертье потом войдёт, чтоб духовную в мире нить протянуть и всегда хранить всё горение наше там, где небесный возникнет храм на крови людской, на земной почве древней, для всех одной, – у меня было самое ценное из всего, что могло только быть у поэта, скитальца, любимца человеческих добрых сердец, им дарящего речь свою щедро, всем, везде, у меня было – имя.

Под настроение, или же, чаще всего, когда-то, в молодости, от безвыходности, мог я приехать в любой город страны, и крупный, и небольшой совсем, провинциальный, тихий, в глухомань какую-нибудь, в райцентр, – и меня там знали, и принимали там, охотно, порою – надолго, что бывало, конечно же, кстати – наконец появлялась возможность отдышаться прийти в себя, пообщаться с единомышленниками, – и потом, с Божьей помощью, снова за труды свои браться – то есть писать, и стихи, и прозу, – те книги, а их немало, где давно уже сказано всё – о себе, таком, каков есть, и о времени, горьком – и всё же драгоценном, прекрасном, чистом, и не чьём-нибудь, а моём.

...Шелестели жёлтые листья под ногами, похрустывал снег в гущине лесной, таял иней по садам, клубилась над шляхом, поднимаясь столбами, пыль, рассыпался песок прибрежный с тихим шорохом в бухте дальней, вместе с плеском волны морской оставаясь в моём сознание, вызывая воспоминанья, на мгновенье сразив тоской, чтоб воспрянуть столь же мгновенно, поглядев на старые стены, услышав голоса вдали, чьи-то странные песнопенья, или каменные ступени вверх куда-то меня вели, – был я счастлив, и счастье это стало целой лавиной света, нет, сиянием впереди, и души поднимало крылья, оставаясь целебной былью, и сжимало сердце в груди, и вставали ночами звёзды над землёю, и птичьи гнёзда создавались, из края в край принося повсеместный щебет, лепет губ на заре и трепет слов, и буйство пернатых стай, и цвели хризантемы, или всюду розы с шипами были провозвестницами вестей о таком, что забыть не в силах, что откликнулось кровью в жилах на пороге людских страстей...

В долгий, сложный период скитаний я воочию убедился в том, что я пишу – не напрасно, что стихи мои – людям нужны.

Было столько видано мною, что казалось это – войною, многолетнею, затажною, на просторах моей страны.

То с разбитою головою, то затравленный, волком воя, не в ладах с пустою молвою, поднимался я из невзгод.

Сквозь утраты и сквозь обиды, нищий, битый, выдавший виды и срывающий покров Изида с тайн, вставал я и шёл вперёд.

С голодухи мои виденья и бессонные сплошь раденья то сгущались единой тенью, то дробились, роясь вблизи.

С каждым шагом и с каждым взглядом продолжалась борьба с распадом, и казался мне сущим адом на пути поворот стези.

Дом родительский был спасеньем, он единственным стал везеньем, слов не сдавшихся воскресеньем, чувств хранилищем, навсегда.

Осень, лето, весна с зимою над мирскою цвели чумою, над бессмыслицею немой, вместе с речью, не без труда.

С начала шестидесятых немалое, или, вернее, внушительное число любителей и ценителей поэзии собирали, по частям, по листочкам, каждую мою, рукою моею сделанную почеркушку, всякий мною написанный текст, и порой не где-нибудь, скажем, в музее Литературном, что было тогда невозможным, для меня, да и для музея, и вовсе не у меня под рукою, среди моих многострадальных бумаг, но именно там, у них, находилось то, что нередко мною среди бездомниц, – в силу множества обстоятельств, представляющихся сейчас даже мне, пережившему всё это, фантастическими, чудовищными, небывалыми, зазеркальными и такими даже, в которых выживал я поистине чудом, но, однако же, выживал, восставал из всего, что мешало, что давно уже тяготило, от чего приходилось часто уходить а то и бежать, чтобы где-нибудь там, в глуши, в одиночестве и покое, пусть и временном, и – на воле, что бывала тогда едва ли не важнейшим условием жизни, многотрудной и многогранной, с Божьей помощью, отдышавшись в тишине и в тепле, воспрянув, прозревая, работать снова, – постоянно терялось или забывалось где-то, а то и кое-кем потихоньку растаскивалось, так, на всякий пожарный случай, впрок, – а вдруг потом пригодится? – или даже уничтожалось, из боязни, из вечного страха, чтоб спокойнее жить, такими, что играли только в своих, а на деле были чужими, потому-то так относились и к бумагам, у них однажды мной оставленным на хранение, и к рисункам, и даже к вещам, – и развеивалось годами мною созданное – с ветрами, просквозившими душу, всюду, где придётся, по белу свету, разбазаривалось, воровалось, исчезало, уничтожалось, на помойки тайком выносилось, в ключья мелкие ночью рвалось, торопливо в огне сжигалось, и горело, – да не сгорало! – возвращаясь ко мне – сквозь время – сбережённое, сквозь невзгоды, золотыми, видать, людьми.

Позже мне, как и многим другим современникам, литераторам, издававшимся редко или же находившимся в чёрных списках, то есть вообще не издававшихся на родине, приходилось, чтобы кормить семью и не казаться властям праздным, что-то там пишущим, в стол в основном, тунеядцем, которого все считали почему-то, в богемной среде, и давно, серьёзным поэтом, что никак не могло убедить в этом тех, кто жили по правилам общепринятым, твёрдым, советским, по каким-то странным понятиям, с директивами и приказами, со шкалою своих, по указке, продиктованных сверху, ценностей, зарабатывать, честно, упорно, как говорилось раньше, в поте лица, на хлеб переводами разливанной, как море, необозримой, расцветшей в любом ауле, в любом кишлаке, в горах, в долинах, в лесах, в степях, в пустынях и в городах, разноязычной поэзии народов СССР, – переводил я очень хорошо, это быстро поняли, – и в итоге образовалась почему-то целая очередь поэтов, декоративных, в основном, но порой и хороших, из союзных республик, жаждающих, чтобы книги их перевёл именно я, только я, непременно – я, и никто другой, вот ведь как, – но к началу девяностых годов, неожиданно для желающих, переводить я, сознательно, прекратил, – пусть и вышло к этому времени уже вроде и вдосталь сборников разных авторов, пере-

ведённых мною, столько труда и нервов, из упрямства, на это затратившим, из желания – сделать получше, а вернее всего – по-своему, дать дыханье чужим словам, сделать так, чтобы жили они в речи русской, чтобы звучали и для русского слуха – славно, чтобы лад в них возник певучий, ну а с ладом – и ясный свет.

С восемьдесят седьмого по восемьдесят девятый год, в кои-то веки, так я скажу, вздохнув грустно и вспомнив долгий, слишком уж затянувшийся, период, когда меня, человека, это уж точно, совершенно аполитичного, живущего только поэзией, только искусством, на родине, мною любимой с детства горячо, вообще не печатали, вышли три мои небольшие, очень скромные, книжки стихов, урезанные донельзя и старательно изуродованные имевшей и в пору бурной, на первый взгляд, перестройки в отечестве нашем, бывшем, вполне законное место и бесчисленные разветвления, по издательствам, и редакциям, и везде, вообще, где следовало цепкий глаз внедрять, для порядка, да ухо держать востро, во избежание всяческих нежелательных отклонений от верного курса, цензурой, и они, эти книжки, вышедшие, наконец-то, казалось многим, но на деле с таким запозданием, преизрядным, не по летам, никакой мне особой радости, разумеется, не принесли.

Груз написанного за несколько полнокровных, в порыве, в полёте, в неизменном движении, вверх, вглубь, и ввысь, и вперёд, к открытиям и прозрениям, в стихии речи, в сонме тайн и гармоний новых, щедрых творческих десятилетий тяготил меня и томил.

Это, к чести их, понимали некоторые мои, надёжные, настоящие, проверенные на прочность, как любили мы говорить меж собою порой, друзья.

Они настояли, буквально, заметьте себе, настояли на издании книг моих, многих книг, в их подлинном виде.

В книгопечатании, вот что важно, как раз к началу девяностых произошли радикальные изменения.

Похоже было на то, что начиналось повсюду, по городам и весям, всеобщее просветление.

То, что ранее напечатать было попросту невозможно, теперь почему-то стало возможным. Вот чудеса!

Смилостивились, наверное, глядя на нас тревожно и участливо, с пониманием, высокие небеса.

Друзья, да ещё и отзывчивые издательские работники, спасибо им, добрым людям, всем, помогли мне издать, одну за другой, небольшим тиражом, так уж вышло, девять книг стихов моих, девять книг, значительных по объёму.

Вернее будет сказать так: это – семь томов стихов моих, в девяти, чередой вышедших, книгах.

Вот названия их, по моей хронологии, начиная с шестидесят четвёртого, вслед за которым пришло время СМОГа и другие, хоть и тяжёлые, но крылатые времена для меня: «Путешествия памяти Рембо» (в двух книгах, поскольку только так издать удалось), «Возвращения», «Отзвуки праздников», «Ночное окно в окне», том в твёрдой обложке «Звезда островитян», и написанные в девяностых «Скифские хроники»

и «Здесь и повсюду» (в двух книгах, крохотным тиражом, не в Москве уже, а в Кривом Роге).

Книги мои – не даром был я уверен в этом ещё в молодые годы свои, молодые, Боже, то есть давным-давно, знал, что когда-нибудь так всё в итоге и будет – к читателям сами пришли.

Читатели же мои – ждали их, терпеливо, надеясь, отчасти на чудо, но больше на справедливость космического порядка скорее, чем на бравурные изменения в жизни общества и строя, тоже давно.

Множество добрых, серьёзных, важных, полезных отзывов, разных, устных и письменных, было на эти книги – от настоящих моих, живущих кто где, и в России, и в прочих, сплошь зарубежных, вот как нынче вышло, читателей.

Кроме кое-каких, урезанных, по привычке, или сознательно, так, на всякий случай, редакциями, воробьиного носа короче, небольших заметок в газетах, никаких статей и рецензий – ничего – о книгах моих – к удивлению и досаде настоящих моих читателей, поначалу лишь огорчавшихся, а потом, постепенно, ставших кое-что понимать, а позже – наконец-то и прозревать, – в периодике нашей, донельзя переполненной новостями на все случаи жизни, дорвавшейся наконец до желанной свободы, многогласной и смелой, не было.

Всё это показательно, даже больше, закономерно, именно в наши дни, в переходное, промежуточное, торопливое время, сейчас, когда, как обычно я говорю со вздохом, не то что понимания, но и внимания, человеческого, простого, в кутерье сплошной, в суеде, в толкотне пустой, в маеде, в разобщении, не дождёшься.

И в который уж раз, сознательно, чтобы поняли, что к чему, чтобы в корень глядели, чтобы научились видеть и слышать нити, тропы и струны времени, повторяю я – зрящий, слышащий, – то ли новью земною днешней, то ли кровью людской кромешной, то ли явью, почти нездешней, отзывающиеся слова: не случайно, совсем не случайно самое что ни на есть распространённое ныне выражение – без лица, без нутра, без голоса, – «как бы».

Как бы время. Как бы свобода.

И так далее. Вот она, мгла! –

в маске – встала над мутной водою,

обернулась – разрухой, бедою.

Что – в пространстве, под смутной звездой?

Пепел, угли, смола да зола.

Да столетье – родное, седое.

Да разброд. Рубежи – чередой.

Да сиянье – вдали – золотое.

Да остаток земного тепла.

Начиная со знаменательного, для меня, а может, и знакового, девяносто первого года, живу я, став поневоле затворником, даже отшельником, так привыкли считать, ну и ладно, пусть считают, не всё ли равно, мне-то что, в основном в Коктебеле.

В Москве, из которой стремительно и едва ли не навсегда, на глазах у всех, на виду, в какую-то эмиграцию запредельную, что ли, куда-то в Зазеркалье, как можно дальше, уходит, махнув рукою на прощанье, высокий дух, оставляя всех нас в сиротстве новоявленном, непривычном, страшноватом для душ, лишённых прежних крыл, я бываю редко.

Так редко, что проще, пожалуй, сказать: почти не бываю.

Обстоятельство это дало подходящий, удобный повод моему знакомому давнему, поэту, весьма известному, Жене Рейну, как-то, наверное, не без умысла, скрытого слишком примитивно, под настроение, что возможно вполне, заявить, и не где-нибудь вдалеке, но, представьте, здесь же, поблизости от меня, у нас, в Коктебеле, то есть буквально в нескольких, всего-то, шагах от меня, – говорю об этом сейчас и ещё говорить намерен, потому что это – не шуточки, потому что это меня и задело, и даже ранило, потому что это иначе как безобразием и назвать-то мне никак, поймите, нельзя, – так и есть, безобразие просто, безобразие, да и только, – показательно для «как бы времени», – а для Рейна – что же? – привычно? органично? в порядке вещей? – сомневаюсь, – да кто его знает, если так вот, вдруг, между прочим, преспокойно он мог заявить:

– Алейников исчез с литературного горизонта.

Я, конечно же, возмутился.

Даже в ярость пришёл тогда.

Что это за нелепые, необдуманные заявления?

Так, лишь бы брякнуть что-нибудь на людях, между прочим, скользь, чтобы сразу поняли: всё-то он, Женя, знает?

Что это за всезнайство липовое? Зачем ему всё это? Да, к тому же, это ему не идёт.

Вроде бы, человек серьёзный, действительно знающий, литературу, положим, или кинематограф.

Импульсивный, понятно, мнительный, ревнивый, с кем не бывает, навёрстывающий упущенное, но хороший ведь человек.

Талантливый, даже очень. Чем же он озабочен? Тем, что давно с ним не виделись? Ну, возьми да в гости нагрянь.

А тут сам, зачем, неведомо, словно вполне осознанно, взял да провёл меж нами ненужную, острую грань.

«Исчез!» Подумать ведь только! Да ещё и «с литературного горизонта!» Ну и бредовое, выспренное выражение!

Что-то со вкусом нынче, с точностью изъяснения у знакомых моих происходит. По верхам сплошное скольжение.

Никуда я не исчезал.

Только и делаю, что работаю да работаю.

Пишу, как и прежде, стихи, прозу, воспоминания.

Люди – мои читатели – сами ко мне приходят.

И книги мои – выходят.

Впрочем, несколько позже, со временем, которое, как утверждают издревле, действительно лечит, со временем, проясняющим изречённые мысли, дабы отчеканить их, по возможности, по способностям человеческим и потребностям, неминуемым, хоть единственный раз, в слова, тот же Рейн, уже с пафосом явным, и не только с пафосом, но и, как почудилось мне, с убеждённостью, даже больше – по-человечески, честно, искренне, ясно, просто, говорил, какой я великий – для него – человек и друг, да ещё – какой я великий, как он, Женя, считает, поэт.

Вот какие, увы, перепады, непредвиденные, с парадоксами, в построениях у знакомых и в самом выражении этих настроений загадочных, скачущих ртутным столбиком, – в слове – бывают!

Но это – ещё цветочки.

Ягодки – впереди.

Это просто-напросто меркнет перед вырвавшимся на волю из глубин души, где, возможно, даже в полдень были потёмки, озадаченным восклицанием другого, и тоже давнего, знакомого моего, ранее, в годы советские, – известного правозащитника, борца с режимом, упрямого, несгибаемого, с характером, нынче – довольно известного российского, из лагерей вырвавшегося прозаика, Лёни Бородин, которому я однажды, году в девяносто четвёртом, припомнив былое, припомнив общение наше, хорошее, дружеское почти, в нелёгкие для обоих восьмидесятые, как-то, расчувствовавшись и сразу же, конечно же, разволновавшись, поскольку всё близко к сердцу принимаю, так уж устроен, разыскав среди старых записей поистёршийся номер его телефона домашнего, голос услышать захотев, узнать – как он, что с ним, здоров ли, пишет ли, издаёт ли теперь свою прозу? – взял да вдруг, по чутью, по наитью, как бывает всегда, позвонил.

Он с ходу воскликнул:

– А мне сказали, что ты умер!..

Вот уж, иначе не выразишься, поистине чудеса!

Ну, сказали тебе, допустим, да мало ли что говорят столичные безобразники, так, чего уж проще, возьми да позвони, спроси у близких моих, узнай сам, не с чужих, услышанных от кого-нибудь где-нибудь слов, где я, что со мной, лично, сам, удостоверься, что жив.

И такое, как видите, нынче, в годы мнимой нашей свободы и жестокого разобщения человеческого, бывает.

Ничего не поделаешь. «Редко, но бывает». Пора привыкать?

Но – к чему? К абсурду и бреду? И кого в этом нам упрекать?

Лишь одно меня утешает: не случайно, знать, говорят, что, согласно поверью старинному, если думают почему-то, что ты умер уже, это значит – долго будешь ещё ты жить.

Хорошо бы, коль откровенно говорить, пожить мне подольше.

Для того, чтобы сделать больше.

Чтобы замыслы – вон их сколько, и не счесть, поди, сразу – свои, как всегда – не как у людей, раз-два, и обчёлся, и хватит, нет, куда там, с размахом, с полётом, среди стихий, измерений, времён, и пространств, и тайн, и наитий, и открытий, среди гармоний, – максималистские, да, только так, и никак не иначе, искони, и навеки, в слове, в зрелых-то, это уж точно, своих, с трудами, столь нужными для души, привыкшей, давно уже, день за днём, упорно трудиться, летах находясь, воплотить.

Не случайно, ох, не случайно Чуковский Корней Иванович говорил, что в России писателю долго жить надо. Прав он. Теперь его стал и я наконец, прозревая, возмужав, погрузнев, понимать.

Долго – значит, не для безделья, не для прихотей, не для блажи, даже здесь, в глуши киммерийской, или, может, в прибрежном раю, где живу я, седой, бородатый, скиф, певец эпохи, треклятой и прекрасной, светом обаятой сквозь туман, а для многих трудов.

Для того, чтоб дыхание речи, по возможности, в мире продлить.

Долго – стало быть, не в одиночестве, даже в горечи дней, а с Богом.

Как бы время рождает новые, в годы прежние невозможные, как бы правила, как бы надежды, как бы – вроде бы – отношения.

Увы, это вовсе не время, помнить надо, а междувременье.

Одной ногой – мы стоим в прошлом, другой – пытаемся шагнуть, шатаясь, вслепую, наугад, не упасть бы, в будущее.

Старые ориентиры – далеко позади, а новые – надо ещё разглядеть.

Привычное уединение и светлая сосредоточенность, пушкинские, подтверждённые опытом всем, оправданные каждым словом, покой и воля – вот что нужно мне, давно уже, с юных лет и доселе, всегда и везде, для работы моей.

Оттого я и в пору безвременья, при малейшей даже возможности, уезжал из Москвы и работал, в основном – в родительском доме, в Кривом Роге, на Украине, где я вырос, где почва моя, где истоки, где родина речи.

Теперь я живу годами в доме своём, у моря.

Всегда я мечтал об этом – и это всё же сбылось.

В нынешнем, какбывременном, грязноватом и неразборчивом в средствах при достижении цели, меркантильной обычно, хаосе участвовать я не желаю, брезгую, руки потом ведь не отмоешь, в него соваться незачем, нет, нельзя категорически, в нём гибельная закваска, болотная мешанина, – да, к тому же, мне просто некогда.

Мне идёт, как ни грустно такое вспоминать, как ни трудно об этом говорить, пусть нечасто, вкратце, как ни странно, восьмой десяток, и надо, в моём-то возрасте, ещё очень многое сделать.

Конечно, что есть, то есть, и факт остаётся фактом, ничего не поделаешь с этим, да и делать, если пошло на то, ничего не надо, нет в этом нужды никакой, мало ли что бывает на свете, в мире, с глобальным подходом к простым вещам, да и сложным, до кучи, понятиям, андеграунд – не весь, разумеется, частично, в отдельных случаях, весь-то вряд ли на это купится, потому что живы понятия, до сих пор, о долге и чести, о горении и призвании, и не стёрлась всё-таки память о великом братстве богемном, и не выжжены идеалы прежних лет железом калёным отношений нынешних, новых, с их тусовками и разборками, с их практичностью и циничностью, и непросто, с их непривычностью, нам навязанной, выживать, и приходится не сдаваться, монстров сонмам сопротивляться, – превратился в истеблишмент.

В любые ведь времена кто-то да продаётся, кто-нибудь да пристраивается поудобнее в этой жизни.

Велик и коварен соблазн остепениться, быть, дорвавшись до выгод и благ, вроде бы уважаемым.

Только – ну-ка признайтесь – кем? Липовыми почитателями?

Обществом? Каково это хвалёное общество?

Дух покидает нередко таких бывших соратников.

На смену былому горению – приходит жалкое тление.

Никого я не осуждаю, ибо каждому ведь своё, каждый волен, если приспичило, поступать, в наши дни, по-своему.

Нельзя – изменять себе.

Нельзя – выдавать, лукавя, желаемое за действительное.

Нельзя – хорохорясь, работать на потребу псевдокультуре.

В грядущем – «как слово наше отзовётся»? Вопрос – на века.

Ответа – не слышно. То-то и оно, как любят порою приговаривать люди простые, далёкие от искусства, но близкие, ближе некуда, к повседневности, к жизни, к яви.

В искусстве всегда должно быть – «то», а вовсе не «то-то».  
На то оно и искусство.

Поневоле снова, с улыбкой, и со вздохом, вслед за улыбкой, и с прищуром грустным сегодняшним, вспоминаю один эпизод.

И ещё, при случае, вспомню.

Может, я говорил об этом где-нибудь? Ну и что с того?

Никакой это не повтор.

Это, прежде всего, – утверждение моей собственной, личной, позиции.

Однажды в ПЕН-клубе, где я, человек, далёкий от всяческой суеты, групповщины, казённости, канцелярщины, официальщины, состою, в числе разновозрастных, разномастных российских писателей и поэтов, бывших властителей дум и нынешних посетителей презентаций и премиальных церемоний, мои знакомые, почёсывая затылки облысевшие, протирая запотевшие в духоте, в толкотне, в болтовне, повальшой, непотребной, стёкла очков, гадая, недоумевая, вопрошая обескураженно, почему это я, в недавнем сравнительно прошлом, такой, – несмотря на то, что меня, при советской власти, в отечестве четверть века не издавали, но потом-то, в свободной России, всё же вышли книги мои, их читают, их любят, ценят, – широко известный поэт, даже, можно сказать, знаменитый, ну, по-своему, да, но всё же, здесь, кого ни спроси, да припомнят, поднапрягшись, тряхнув стариною, непременно, строки мои, – затворником натуральным живу вдали от Москвы, твердили мне, поднимая назидательно указательные заскорузлые пальцы свои, головами качая в такт, выразительно, укоризненно и сочувственно глядя в глаза или, чаще, куда-то глядя мимо глаз: надо быть на виду, надо, принято так сейчас тусоваться, иначе забудут, или, в лучшем случае, станут, все, так проще намного, и легче, и спокойней, считать блаженным.

И тогда, все доводы выслушав, я ответил знакомым так:

– Хорошо, считайте меня блаженным. Но тусоваться, вместе с вами, теряя время, просто некогда мне. Я работаю.

И знакомые отшатнулись от меня – и простёрли руки к небесам – и седые головы предо мной склонили они.

И смотрели мои знакомые на меня, как, наверное, смотрят на пришельца с другой планеты в их, с тусовочной практикой, дни.

Был навсегда закончен переговорный раунд.

Жить – не учили больше.

Это ли не андеграунд?

Спас ли, ежели громко, с пафосом неминуемым, об этом сказать, андеграунд, наш, разумеется, русский, вовсе не заграничный, лишь о нашем веду я речь, нашу, могучую, русскую, лишь о ней моё слово, культуру?

Да, он самый, такой-сякой, руганный-переруганный, обвиняемый ретроgrадами во всех возможных грехах, порицаемый, осуждаемый всеми, оптом, кому не лень, изучаемый с запозданием преизрядным, и то по верхам, наобум, понаслышке, вслепую, прославляемый с осторожностью, уж как водится, задним числом, всё же помог ей выжить.

Предпринял ли он, андеграунд, отечественный, конечно, хоть когда-нибудь, определённые усилия для разрушения её, культуры отечественной, традиционного кода?

Разрушители были и есть, как известно, во все времена, при желании можно их счесть, но на деле-то грош им цена, а в будущем – лишь презрение наших, умных, надеюсь, потомков.

Важны всегда созидатели, их не так уж много, – но всё-таки они, созидатели, русскую культуру, в который уж раз, настрадавшись при жизни, спасли, продлили её дыхание.

Спросит кто-нибудь: каковы были – если такие были – отношения между нашим андеграундом и «публикующей» литературой, – шире, чтобы всё охватить, – искусством?

Традиционный вопрос.

Понимаю, что без него, лежащего на поверхности, встающего перед глазами у нынешних культурологов, – так теперь называют этих толкователей, подводящих базу некую под любое направление и движение, шаг, и жест, и шёпот, и крик, всё годится, был бы предмет для того, чтоб молотить языком, рассуждать о том да о сём, с умным видом, всё обосновывать, сочинять статьи, даже книги, притворяясь, что разбираются лучше всех они в месиве этом, – наподобие странного знака, из пространств ледяных Зодиака к нам, на Землю, порой слетающего, почему-то напоминающего то басовый ключ, то скрипичный, то какой-то штрих нетипичный, то, из надписи на заборе старом, буквы, известные всем, то фетиш, то дикарский тотем, то египетский иероглиф, вроде шахматного ферзя, то шуруп, – ну никак нельзя.

Говорить за других – не буду.

Полагаю, что сами они, хоть однажды, способны высказаться.

Посему – скажу о себе.

Начиная с давних времён, с шестьдесят второго ещё года, от официальных литераторов, от поэтов, широко известных тогда, в основном, в том числе и действительно хороших, и авангардных, по тогдашним, с восторженным тоном, в разговорах о них, торопливо, иногда, на глазок прикинутым восхищённой публикой, меркам, и советской ругательной критикой, словно в сказке, мгновенно, стремительно, до небесных, почти, высот, вознесённых, вроде Миколы Винграновского на Украине или сверхсовременного, левого, с молодецким задором, героя и звезды, на унылом фоне прочих, слишком традиционных, в большинстве своём, устаревших безнадежно, прежде всего для читающей и бунтующей, ждущей звёздных своих билетов, романтической молодёжи, к новизне устремлённой, Андрея Вознесенского, в притягательной для наивных провинциалов, на семи холмах своих вставшей посреди империи грозной, многобашенной, краснозвёздной, благосклонно стихам внимавшей, нам казалось тогда, Москве, да от всяких, не называть ведь всех подряд, слышал я когда-то о себе и своей поэзии вдосталь очень хороших, лестных, а порой и самых высоких, выше некуда просто, слов.

Поэт, почитаемый мною, настоящий, знающий цену слову, Тарковский Арсений Александрович, не случайно, видимо, но со всей присущей ему серьёзностью, в любых своих, чётких, веских, сжатых, обдуманных фразах, репликах и суждениях, произносимых им твёрдо и независимо, в любых, где бы ни был он, даже вовсе не кабинетных, но почти фронтовых обстоятельствах, ещё в шестьдесят пятом и шестьдесят шестом годах, в период гонений на меня, по причине разгрома разгневанными властями легендарного нашего СМОГа, встав на мою защиту по собственному почину и проявив при этом небывалую силу духа, втолковывал официальной, чуждой ему совершенно, злобной,

жаждущей крови, писательской шатии-братии, что в стихах моих «каждая строчка гениальная», что меня следует не губить, а поддерживать и беречь.

На моём, для всех неожиданном, устроенном как-то спешно, по чьему-то, видать, указанию сверху, чтобы взглянуть на меня, заодно и послушав, что же там я пишу такое, что шум неумолчный вокруг меня и не думает угасать, но, скорее, наоборот, разрастается непрерывно, раздражая кое-кого, удивляя и озадачивая, да всё чаще, авторском вечере, прямо в логове вражьем, в «гадюшнике», так его называли все мы в середине шестидесятых, то есть прямо в Центральном Доме литераторов, то есть тогда же, в отдалённые, уходящие постепенно в область преданий, в мифологию, озарённые молодую мою славой, незабвенные времена, в феврале шестьдесят шестого, те, кто слушали, как стихи свои всем собравшимся здесь читал я, то вздыхали от чувств нахлынувших, то слезу пускали украдкой, то, совсем не скрываясь, плакали, выражали бурно своё восхищение, и наиболее потрясённые ими услышанным почему-то упорно и слаженно, будто слова другого, попросту, не могли второпях подобрать, чередую, один за другим, называли меня «самородком», что, по их представлениям, видимо, представление всем давало о таланте моём, полновесном, и – каком же ещё? – золотом, называли – как обзывали, а казалось им – величали, – ну а некий особенно пылкий, возбуждённый, взъерошенный слушатель вдохновенно с места вскочил – и, рукой на меня указывая, как отрезав, громко, уверенно, зная дело, видать, со значением, с медью в голосе, с блеском в глазах, со слезою, впрямь различимою на его румяной щеке, огорчительно броско, актёрствуя, слишком прямолинейно, подчёркнуто и торжественно всем заявил:

– Кого мы, товарищи, видим перед собой сейчас? Мы видим, товарищи, нашего простого советского гения!..

И так бывало когда-то, встарь. И не только так.

По-всякому, так скажу я теперь, когда-то бывало.

Да мало ли что – если вспомнить хорошее – почему же не вспомнить хоть иногда об этом? – в прежние годы, во мгле бесчашья глухой, где жили мы все, и в годы, когда посветлее стало вокруг, – обо мне говорили?

Если даже десятка три в превосходной степени выдержанных, тех, давнишних, серьёзных высказываний – о стихах моих – исходящих от писателей официальных, здесь, в столбец, попробовать выписать, то займёт это всё, пожалуй, не один десяток страниц.

Для себя – ни выгод, ни благ никаких не извлёк я из этого.

Мне и в голову не приходило – что-то там, для себя, – извлекать.

Говорят – значит, так считают.

Ну и ладно. Пускай считают.

Это – личное – их – мнение.

Это – личные, их, – похвалы.

Мне же следует – двигаться дальше.

Мне же – надо просто работать.

Что и делал – в годы былые.

Чем и занят – в зрелых годах.

Мнение о моём творчестве сформировалось в бурный и ослепительно яркий период СМОГа.

Да так, почему – неведомо, не загадка ли это, в памяти некоторых современников, и остался я, это надо же, автором молодых своих писаний, стихов, которые они до сих пор не усвоили и не осознали, – что уж говорить, да и с кем говорить, о моих, недоступных, видимо, для сознания их, необычных, и по форме, и по содержанию, с максимальной, светлой, оправданной и единственно верной свободой в каждой фразе, полифонией, тяготением к синтезу, пластикой, речью, с музыкою в родстве, смелой ритмикой, долгим дыханием, по чутью, по наитью созданных, как всегда, позднейших писаниях?

Из писателей официальных толком никто никогда ничем – кроме добрых слов порою, сказанных искренне, а то и написанных даже, в письме, например, обнаруженном этак лет через двадцать, тридцать, случайно, когда бумаги уцелевшие я разбирал, – мне, беззаконной комете в кругу, расчисленном кем-то, разнообразных светил, сомнительных, тускловатых нередко, призрачных даже, как месяц дневной, фантомных, типичной белой вороне, заезжему странному гостю, пришельцу инопланетному в компаниях и группировках, везде, где свои понятия были о том да о сём, свои блюлись интересы, задачи житейские ставились и творческие свои, свои выдвигались лидеры, свои достигались цели и средства любые годились для этого, – не помог.

Да и я никогда ни к кому с просьбами о пристройстве текстов своих, со времён юности, не обращался.

Хоть куда-то? Лишь бы – в печать?

Лишь бы где-то – публиковаться?

Просить об этом – кого-то?

Зависеть – вдруг – от кого-то?

Нет. Не в моих это правилах.

Этика наша, тогдашняя, но, скорее всего, всегдашняя, не позволяла идти на поклон к неприятным людям, обивать пороги редакций, унижаться, обиды терпеть от чиновников и прощелыг, от разнузданных псевдоумников.

Чтобы тексты мои читались, попадали в хорошие руки, мне, в течение долгих лет, слишком долгих, так уж сложилось, по судьбе, что же делать, было достаточно самиздата.

Мне всегда была дорога независимость, ну а нынче, в дни таких испытаний на прочность, что подумаешь: Боже мой, ничего себе времена, и поди гадай, отрываясь от своих трудов постоянных, ненадолго, чтоб, отдышавшись и встряхнувшись, их продолжать, что труднее и что дороже, старина ль, где были мы вхожи в наших грёз и надежд чертоги, или то, что пришло в итоге и чертоги крушить принялось, и незнамо что началось, распоясалось, раскрутилось, расплодилось и раздробилось, разгулялось в лихом галопе, точно в детском калейдоскопе всех деталей цветастых рой, кто за этой стоит игрой, что встаёт впереди, в туманах, что в сплошных предстоит обманах отстоять, утвердить, сбросить, и чему же порукой речь, и кого же она спасает и по-прежнему не бросает, и откуда ветер такой над безмерной моей тоской, над бездонной морскою бездной поднимается, с мукой крестной, по старинке, накоротке, и откуда цветок в руке, хризантемы осенней ветка, и какая стезя нередко приведёт на порог печали, и зачем головой качали облетевшие тополя, и куда повернёт земля всех радений былых и встреч,

и зажгутся ли сонмы свеч в разобщенье земном, где миг понимания столь велик, что с вселенной сравнялся вдруг, и разъялся незримый круг, и духовные нити вновь протянулись, и есть любовь, чтобы их на заре скрепить да криничную воду пить в глухомани моей, в тиши, что надёжнее для души, чем столичная кутерьма, и расцвет моего письма продолжается сквозь распад, раем сделав крошечный ад, чудом сделав окрестный бред, и целебный забрезжит свет впереди, за горами, там, где негданных вдосталь драм, где трагедий и впрямь не счесть, где грядущего чую весть, благо явь с давних пор со мной, и прозрение придёт с весной, чтобы петь, словно в первый раз, в ясный полдень и в добрый час, – ничего себе времена, и какие встарь семена были брошены в почву нами, чтоб возшло над ростками пламя, и развеялось, и ушло, и расправленное крыло не обуглилось, и весло не сломалось на лодке где-то, и настало для мира лето просветления, после гроз, и сказал бы я всем всерьёз, что в единстве живём давно и в родстве с тем, что нам дано, и дорога сквозь век долга, – тем более дорога.

Разрешённая, официальная литература, и, в паре с нею, искусство, такое же, разрешённое, официальное, – и наша среда, в которой была, да и есть, и останется, наша литература и наше искусство – два разных, таких далёких, что дальше некуда, вроде, лагеря, – нет, если официально всякую называть можно сегодня лагерем, что вполне для неё годится, то нам, пожалуй, пристало имя другое – стан.

Стан – в этом нечто звёздное, раннее, но и позднее, дали, да небо грозное, воля, порыв, разбег.

Свет и полёт, горение, чувств и речей дарение, жизнь, вопреки старению, взгляд из-под влажных век.

Свечи в ночи, молчание, тёмных теней качание, долгое вновь прощание, ветер, уменьше ждать.

Встреча в пути неожиданная, осень, пора туманная, верность, весна желанная, гордость и благодать.

Стан – это круг живой.

Сад с золотой листвою.

Стан: драгоценный сон.

Стан. Или, может, – стон?

Стан: отрицанье стен.

Стень. Или – кровь из вен.

Стан. И над ним – звезда.

Творческая среда.

Никогда не был я перебежчиком, никогда не пытался подладиться к чему-нибудь, чуждому мне, противному, неприятному, отвратительному, ненужному, ради мнимых каких-то выгод и дешёвых базарных льгот, в общей стадности, групповщине, по какой-нибудь там причине пребывать, от кого-то зависеть, изловчиться, как-то подстроиться – к чему и кому? зачем?

Одиночество – мне по нраву.

Я имею на это право.

В этом – доблесть моя. И слава.

Путь в грядущее. Насовсем.

Был всегда я сам по себе.

И за всё – спасибо судьбе.

Потому что она – моя.

Вместе с клеймами жития.

Образ времени. Голос. Речь.

Всё, что с детства сумел сберечь.

Всё, что создал – во мгле земной.

И поэтому Бог – со мной.

Литературоведам и нынешним искусствоведам, людям, с большим запозданием идущим за нами следом, всяким, и потолковее, и по верхам глядящим, чающим пустословия, с умничаньем скользящим, амбициозным часто, вот, мол, они зубасты, многого просто не знающим, что-нибудь вечно хающим, что-нибудь возвышающим, что-то за всех решающим, удобно сбивать нас в стаи, в какие-то группы, течения, вроде организаций общественных, с канцелярским, компьютерным и чернильным неистребимым душком, – так им проще намного, привычнее, так спокойнее, по традиции, устаревшей давно, замшелой, только нет им до этого дела, только что им чей-нибудь смелый взгляд на вещи, им недосуг разбираться во всём, что было, что дышало в полную силу, что наполнило кровью жилы, чьею новою светло вокруг, так, на всякий случай, надёжнее, так удобнее, прежде всего.

Но литературу, искусство и в былые года, и теперь, в наше с вами, вроде свободное от нелепых оков и запретов, от всего, что мешало дышать, петь, работать, рваться в пространство, познавать этот мир, в котором, слава Богу, все мы, земляне, современники и соратники дорогие, доселе живём, а на самом-то деле сложное, как и прежде, как и всегда, как и в будущем, полагаю, тоже будет когда-нибудь, время, создавали и создают – личности, единицы.

При любых обстоятельствах я, искони, всегда и везде, на юдольном пути, ведущем к заповедной звезде, стремился, восставая из бед упрямо, воскресая в огне, встречая новый день, словно дар небесный, оставаться самим собой.

Разрушению мира я противостою – словом.

## Навстречу 800-летию Нижнего Новгорода: эпохи, судьбы, факты

### Николай БЕНЕДИКТОВ

Российский политический деятель, философ, писатель. Родился в 1949 году в Горьком. Окончил историко-филологический факультет Горьковского государственного университета. Доктор философских наук, профессор. Избирался депутатом Государственной думы третьего и четвертого созывов.

Автор ряда книг, в том числе «Русские святыни» (Москва, 2003) – о системе ценностей русского народа. Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

### «ОЧИЩАТЬ ВНУТРЕННЕГО ЧЕЛОВЕКА»

– учил возродитель Афона

русский старец Арсений Афонский (1775–1846)

Так случилось, что имя святого старца иеросхимонаха Арсения Афонского, уроженца Балахны, даже у нас, на нижегородской земле, не слишком известно. Редкие словари его упоминают. А между тем по духовному его подвигу, по роли его в сохранении и утверждении православия в мире я бы без колебаний поставил его в один ряд с другим прославленным нашим земляком Серафимом Саровским.

Поскольку судьба старца неразрывно связана с Афоном, с Афона и начнем.

Итак, Афон, или по гречески Агион орос, то есть «Святая Гора», расположен на Халкидонском полуострове. На карте северо-востока Греции, в греческой Македонии, видна как бы рука трехпалая, вдающаяся в Эгейское море. Северный «палец» и есть полуостров Афон, длиной до 60 километров, шириной до 10 километров, высотой около 2000 метров. Климат благодатный, снег бывает редко и ненадолго, птиц мало, зверей почти нет. Роскошная растительность: лимоны, апельсины, груши, орехи, каштаны, виноградники. Удобные гавани и легкое сообщение по морю. Люди здесь давно, однако точных сведений раньше IX века мало. Сами монастыри у христиан появляются в IV–V веках, а на Афоне в X веке. Русский монастырь святого Пантелеимона основан в 1080 году.

Напомню, что монастыри сразу и всегда были центрами духовного просвещения и развития церковных искусств (письменности, иконописи, хорового пения и т. п.). Ближайший большой город на материке – Салоники, или Солунь, и случайно ли основателями славянской письменности-кириллицы считаются солунские братья Кирилл и Мефодий?

С Афона же пришел и основатель Киево-Печерской лавры святой Антоний. Отсюда же в XIV веке пришел на Русь и исихазм (от греч. *исихия* – молчание, безмолвие), ставший духовным стержнем и русско-го монашества. Он возбранял монахам пустые разговоры и утверждал приоритет дела, привил сильную мистическую струю, превратившуюся в принцип русской жизни и спасшую русское мировоззрение от уклонов и тупиков рационализма. Теоретиком исихазма является афонский монах Григорий Палама. На Руси же живым воплощением этого учения стал Сергий Радонежский.

Афон формально считается греческой территорией, но по факту это единственная в мире самостоятельная монашеская республика. Верховная власть здесь принадлежит Священному Киноту, который состоит из делегированных в него представителей афонских обителей. На Афоне расположено 20 больших монастырей, 12 скитов и до 700 отдельных келий. Монахов здесь бывало до пяти и шести тысяч в среднем, в иные времена доходило до двадцати и даже сорока тысяч. Нет ни городов, ни деревень, не допускаются ни женщины, ни даже животные женского пола.

Монастыри в XIX веке были киновии и идиоритмические.

В киновиях, то есть общежительных монастырях господствует «строжайший коммунизм» (выражение из «Русского Вестника», 1873, кн. 4, с. 654), никто не имеет ни права личной собственности, не держит ни денег, ни пищи в своей комнате без редкого и исключительного позволения начальства. Ведь монах должен уничтожить в себе своеволие и подчиниться Божьему замыслу, посредником же и толкователем Божьей воли становится духовник. (Великий философ Константин Леонтьев был консулом в Салониках, долго жил на Афоне, пытался стать монахом и понять смысл монашеской жизни. Он понял необходимость отрицания собственной воли (своеволия) и высказал оригинальную мысль, что киновии могут быть прекрасным образцом для изучения основ коммунизма, «который, как частное проявление общественной жизни, возможен, но лишь под условием величайшей дисциплины и даже, если хочешь, страха». Коммунизм не изобилие (Хрущев), а долг и дисциплина (К. Леонтьев). К этому философу мы еще вернемся.)

Не разрешается в кельях без позволения начальства беседовать по двое или по трое, нельзя иметь лампы или свечи для чтения без спроса, нельзя выйти за ворота. На Руси, например, у Сергия Радонежского в монастыре был именно такой тип монастыря, а после XIII века в России все монастыри общежительные, а с середины же XX века – и все православные монастыри в мире. Монастыри задавали идеал христианской жизни, и случайно ли на Руси у народа, как выражался, по свидетельству В. Шульгина, князь Долгорукий, не выросла шишка собственности?

Идиоритмические можно перевести как своеобразные. «Идиот» по-гречески значит «частный» или «личный», отсюда и уклад в таком монастыре принципиально другой. Подчиняясь определенному общему уставу, монахи имели право жить сравнительно свободно. Общего обязательного стола нет, каждый может есть в своей келье, один монах может быть богат, а другой не иметь ничего. Всех своих денег отдавать в кассу монастыря, как в киновиях, монах не обязан. Всем выдавалось нечто

общее из кладовых (масло, мука, яйца и т. п.), а сверх того каждый мог приобретать все, что хочет. Некоторые занимали в таком монастыре по пяти, шести и десяти комнат, имели в банках или в своих сундуках большие деньги помимо того вклада, который они внесли в кассу обители для получения комнат или других привилегий. Они одевались в шелковые рясы, сидели на широкой турецкой софе, ели мясо в скоромные дни (в русских монастырях это запрещено), а в постные рыбу, ездили порой в Афины, Стамбул, Одессу, Кишинев и т. д. Таких было примерно 5% в обители. Остальные монахи были бедны, работали при церкви, служили, варили кушанье, месили хлебы, рубили дрова. Все они получали небольшое жалованье, на сторону работать не могли. Любой монах в таких монастырях не обязан был ходить на службы в церковь, мог прочесть молитвы у себя в келье. Пища, одежда, общество на его усмотрение. Он мог пригласить кого-либо пообедать с ним, побеседовать, помолиться вместе, погулять. Конечно, нельзя было не держать постов, ходить без разрешения в другой монастырь или на ярмарку.

Идиоритмические монастыри существовали на Афоне издревле и лишь недавно упразднены.

Монахи на Афоне могут жить и в келлиях – небольших скитах. Для этого они покупают землю у монастырей, которые поделили меж собой весь полуостров. По этому договору покупатели имеют право иметь особую церковь, большой дом, посадить виноградник, масличные деревья и огороды, завести скот, построить домашние пристройки и иметь не более 15 человек братии. Договор заключается на старца и его двух учеников, которым в случае смерти старца по старшинству отходит келлия и все достояние. Жизнь в келлии нестрогая, но столь же общежительная, как в киновиальных монастырях.

Бывают еще и кавиоты, или отшельники, имеющие небольшие домики, но без церквей, сада и огорода. Они имеют право взять в сожители одного монаха без права наследования земли, которая по смерти отшельника отходит монастырю. У них есть какие-то деньги. А есть и сиромахи, у которых никаких денег нет. Живут они в пещерах, землянках, иногда на скопленные деньги снимают теплый угол у кавиотов как квартиранты. Одежду, хлеб, сухари и изредка деньги они получают из монастырей, а на другие надобности вынуждены зарабатывать вытачиванием ложек, крестиков, вязанием четок, шитьем одежды, башмаков и другими ремеслами.

В церковном отношении Афон формально подчинен вселенскому, то есть Константинопольскому, патриарху, однако же тот имеет право вмешиваться в дела афонцев только по их просьбе. Вся территория Афона принадлежит монастырям на основании грамот, полученных от византийских императоров и подтвержденных турецкими султанами. Центр Афона – Карея, прежде скит, а теперь резиденция монашеского управления. Здесь расположены подворья всех монастырей. По субботам здесь бывает торг, трижды в год ярмарки, монахи сбывают свои изделия купцам, у которых здесь лавки. Светская власть также представлена на Афоне. Здесь есть губернатор, полицейские, почтовые служащие, торговцы, ремесленники, персонал медпункта и недавно открывшегося отделения банка. Губернатор назначается Министерством иностранных дел Греции, он отвечает за безопасность и порядок на Афоне. В Карее есть тюремная башня, где на хлебе и воде сидят осужденные советом, кузница, бойни баранов, до 120 домов; постоянно живущих монахов, прислуги, купцов и ремесленников до 700 человек.

Как видим, совсем стать совершенно независимыми от мира и монахи, даже и объединенные в республику, не могут. Сохраняются и другие противоречия. Так было и во времена Арсения. Конечно, в Писании сказано: «Нет ни эллина, ни иудея», однако в миру они есть, и национальные различия мешают жить людям. Еще в «Деяниях апостолов» говорится о том, что «произошел у Еллинистов ропот на Евреев». На Афоне живут греки, сербы, молдаване, болгары, грузины, русские, украинцы (во времена Арсения их называли малороссами), и с этим приходится считаться.

Арсений Афонский жил на Святой Горе в XIX веке в период господства турок над Грецией и Афоном, поэтому надо сказать несколько слов о турецкой власти. Ислам, как известно, появился в VII веке и сразу стал бурно распространяться, сначала с арабскими завоеваниями, затем арабов сменили турки. В 1453 году турки завоевали Константинополь (который с тех пор стал Стамбулом), а вся Греция с Афоном стала турецким владением. Турецкие завоевания продолжались сотни лет, однако период «бури и натиска» в конце концов закончился. В 1571 году в битве при Лепанто (автор «Дон Кихота» Сервантес участвовал в этой битве и потерял там руку) турки были разбиты на море, и прекратилась их морская экспансия. В 1683 году польский король и великолепный полководец Ян Собеский разбил турок под Веной и тем самым прекратил их экспансию на суше.

В XVII–XVIII веках сужение турецкого влияния продолжалось. В 1768–1774 гг. Русско-турецкая война, проявившая гений фельдмаршала Румянцева – его громopodobные победы при Ларге и Кагуле, переход Дуная сделали его Румянцевым-Задунайским, – разгром турецкого флота в Чесменском бою, взятие Крыма показали растущую мощь русских и ослабление турок. Следующая война 1787–1791 гг. проявила гений флотоводца Ф. Ушакова и полководца А. Суворова. Морские битвы у Керчи, Тендры и Калиакрии, сухопутные у Кинбурна, Фокшан, на Рымнике, взятие Измаила, взятие Очакова Г. Потемкиным, разгром турок в Мачинском сражении Н. Репниным продолжили быстрое уменьшение турецкой силы и соответственно турецкой империи. В начале XIX века русско-турецкое противостояние продолжалось. В войне 1806–1812 годов турки потерпели тяжелое поражение в Афонском морском сражении, в котором адмирал Д. Сенявин нанес сильнейший удар по их морским силам, а к Афону война приблизилась очень близко. В этой же войне Кутузов блестяще победил в Руцукской битве турецкую армию.

Это перечисление необходимо, чтобы предметно представить многовековую обстановку жизни Афона.

И наконец, в 1821 году начинается греческое восстание – война за независимость. Партизанская война была воспринята туркам как предательство и обман, нарушение всех договоренностей, существовавших между властью и христианскими организациями. Это привело обычно достаточно веротерпимых турок в весьма раздраженное состояние. Последовали карательные акции с их стороны. В Стамбуле был повешен вселенский патриарх Григорий, брошен в воду, два дня его труп носило по волнам, прежде чем он был подобран русским судном и вывезен для погребения. Турки ограничили не только посещение, но и всякое сообщение с Афоном. Вооруженные турки вошли на территорию Афона, где начались избиения и убийства с грабежами. Монахи были убиты или разбежались. **Афон умирал.** Остались случайно выжившие и нигде не показывавшиеся люди. Такова была обстановка к появлению на Святой Горе будущего святого старца Арсения.

И во время его жизни на Святой Горе жесткое противостояние с турками продолжалось. Греческая война за независимость продолжалась до 1827 года. В 1828–1829 была еще одна Русско-турецкая война. А в 1830-х годах египетский паша Мухаммед Али вышел из повиновения турецкому султану и повел войска на Стамбул, однако был остановлен русским десантом и с Россией не стал сражаться. Почему-то самый красивый и могущественный мужчина Европы русский император Николай I посчитал необходимым сохранить существующее положение. Иными словами, для христиан в период подобных обострений в турецкой империи время было тяжелое, да еще добавлялись противоречия и склоки между болгарами и греками, между русскими и греками, между малороссами и русскими.

Далее обратимся к тому, что писал об Арсении Афонском его духовный сын игумен Парфений (Агеев).

В жизнеописании говорится, что родился будущий старец Арсений в Балахне Нижегородской губернии от благочестивых родителей-мещан, фамилия которых не сохранилась. При рождении он был наречен Алексием. В юности обучался чтению и письму. С раннего детства с увлечением читал Божественное и святоотеческое писание. На двадцатом году жизни оставил дом и пошел странствовать по русским монастырям. В Московской губернии в Пешношской общежительной обители три года проходил различные послушания. Затем собрался путешествовать в молдавские монастыри, в то время славные своими подвижниками. Его духовный отец старец-игумен отговаривал, однако в конце концов благословил на этот путь. Алексий дошел до Киева, поклонился Киево-Печерским чудотворцам, нашел себе спутника Никиту из Тульской губернии, с которым впоследствии сорок лет подвижничал вместе. В Молдавии они обошли все монастыри и скиты, нашли духовного отца в Балашевском скиту. Он и постриг обоих в монашество, Алексий стал Авелем, а Никита – Никандром. Он же настоял, чтобы Авель стал иеромонахом, то есть не только монахом, но и священником. 18 лет до смерти старца два друга подвизались в Молдавии, после чего обоим привиделась необходимость идти на Афон.

Что имели, раздали братьям, с собой взяли немного денег и книг и отправились в путь. Никакие уговоры братьев на них не подействовали. Дошли до порта, сели на корабль и приплыли в Константинополь, где и увидели, как христианская кровь льется по улицам, где недавно убили патриарха Григория. Жизнеописатель Парфений пишет: «Сами греки говорили им: Зачем вы, отцы приехали теперь? Захотели разделить с нами горькие минуты? У вас ведь в Молдавии не режут так баранов, как нас здесь режут ежедневно по сто и по двести, и это происходит прямо на площадях, при всех... Отправляйтесь обратно в Молдавию. На Святую Гору вам идти невозможно, хотя бы вы и очень желали этого. По морю корабли не ходят, а по суше добраться до Афона невозможно, потому что всюду рыщут разбойники. И сама Гора Афон полна разбойников, в монастырях же, притесняя монахов, живут турки». С трудом перезимовали в Константинополе. Денег не было, их книги не покупали, жили милостынею, подвергаясь всяким надругательствам.

Весной оставили книги у одного грека, а сами пешком отправились на Святую Гору. Постоянно на них нападали разбойники, побиют, отберут сухари, поиздеваются, однако братья особо у них было нечего. Их и отпускали. Примерно через месяц дошли до Афона. «Вот что увидели они на Святой Горе: жилища монашеские опустели, сады одичали и заросли лесом, монастыри стоят запертые, а ополчение Царицы Небесной разбежалось по разным

странам: иные скрылись по непроходимым лесам, горам и вертепам, иные затворились внутри монастырей – и мало кого из них можно было увидеть. Русский монастырь вовсе запустел и стал прибежищем диких зверей. Братия его скиталась по Святой Горе, не имея места, где главы приклонить».

Странники пошли в Иверский монастырь, где была чудотворная икона Царицы Небесной – покровительницы Афона, помолились ей и просили принять в свой удел. Икона была украшена золотом, серебром и драгоценными камнями. Отцы наши спросили греков, почему она не спрятана, почему турки не похитили драгоценности, ведь турок полон монастырь. Греки ответили: «Вот уже третий год живут в монастыре, а еще нога их не ступала в храм. Когда разозлятся на нас, начинают требовать от нас золота и серебра и церковной утвари, то мы отвечаем, что не имеем их, хотя на самом деле все спрятано... Показываем им эту святую икону и говорим: “Вот на иконе много золота и серебра и дорогих камней, если вам угодно, то возьмите себе”. Они же, стоя в дверях, говорят: “Мы не можем к ней подступить. Нас одолевает страх. Вон она на нас как сердито смотрит!” – и отходят посрамленные, не в силах что-либо сделать. ...Еще скажем вот что: год тому назад великое было смущение и тревога на Святой Горе, так что и оставшиеся отцы, афонские жители, хотели бежать отсюда вон. До этого смущения пребывало на Святой Горе всей братии до сорока тысяч, а ныне осталось не более одной тысячи. Да и те хотели оставить свое место и бежать кто куда». Однако многим явилась Богородица и сказала, что пока ее икона в Иверском монастыре, то бояться нечего. Пришельцы провели в обители неделю, а потом им предложили одну келлию в скиту Иоанна Предтечи с малой церковью. Отцы наши стали жить там, возделывали огород, резали ложки... Но рукоделие их никто не покупал. Продолжалось смутное время более 4 лет. Голодно, хлеба не было, однако собрали они себе великое богатство духовное – душевное спокойствие и безмолвие – соединение ума с Богом. Отцу Авелю дал Господь дар рассуждения и прозорливости, а отцу Никандру дар слез, так что он плакал о грехах своих до самой смерти.

Далее жизнеописатель рассказывает:

«Когда после смутного и скорбного времени послал Господь Бог на землю мир: пропали все разбойники, всюду настала тишина и спокойствие, – тогда и братия вновь стала сходиться на Святую Гору. Тогда и православные христиане потекли на поклонение к ее святыням. И отцам нашим стало легче. Начало продаваться их рукоделие. Пришел один купец и купил все, у кого что было. Отцы продали свои ложечки и получили за них две тысячи левов, то есть 400 рублей. Отец Авель сказал тогда отцу Никандру: “Да, теперь поправим все наши нужды”.

Однако в скором времени пришел к ним один мирянин просить милостыню. Отец Авель спросил его, откуда он и какую имеет нужду. Мирянин стал отвечать ему со слезами: “Я, отче святой, с острова Хиоса. Жену и детей моих турки взяли в плен. Требую за них пять тысяч левов. И я собираю их уже два года. Набрал, слава Богу, три тысячи, а две тысячи еще надобно. Бог даст, и это помаленьку соберу”. Услышав это, отец наш сказал ему: “Зайди ко мне в келью, и я чем-нибудь помогу тебе”. Тот зашел, отец же наш вынул все деньги, что имел, и отдал ему со словами: “Возьми, иди и выкупи жену свою и детей”. Мирянин же, не в силах поверить ему, говорил: “Отче святой! Что глумитесь надо мной?! Мне и без того тяжело. Дайте мне один лев, и я пойду”. Отец ему отвечал: “Нет, чадо, я не глумлюсь над тобой. Как могу я обижать человека с такой бедой! Возьми все да иди с Богом”. Пришедший к отцу заплакал, не зная, как ему поступить, а отец вложил ему деньги за пазуху и проводил его до двери.

Отец Никандр, видя это, заплакал горькими слезами и сказал: «Отче, что ты наделал! Зачем ты отдал все деньги? Четыре года мы трудились и думали покрыть все свои нужды, а теперь вновь будем иметь скорби». Отец же наш ответил ему: «Ох, отец Никандр, разве мы будем совершенными монахами?.. В самое трудное время Господь не оставил нас, пропитал... Теперь, слава Богу, рукоделие продается. Вновь будем работать да продавать плоды наших трудов, а лишние деньги отдавать Богу. Зачем беречь лишнее?..» Отец Никандр умилился, просил прощения и до самой смерти ни во что не вмешивался, а только плакал».

Вскоре оба постриглись в великую схиму. И стали они жить как старец с учеником, и прожили в скиту Иоанна Предтечи десять лет. Потом они перешли в келлию во имя святителя Иоанна Златоуста. Восстановили разрушенную келлию и стали жить по пустынному уставу и не занимались ни садом, ни огородом. В это время прославил Господь отца Арсения. Жизнеописатель пишет, что со всех уголков Святой Горы шли к нему для исповеди и духовного руководства, особенно иеромонахи и иеродьяконы, жившие в греческих монастырях. Вскоре и для всех русских он также стал духовником. И не только великороссы, но и малороссы, болгары, сербы и молдаване приходили к нему за советом. И греки почитали его за великого старца, нередко смиренно прибегая к его мудрости. Имя отца Арсения почитали на всей Святой Горе, многие просились к нему в ученики, жить вместе с ним и отцом Николаем. Однако они никого не принимали, считая, что с ними никто жить не сможет – слишком тяжело. С того времени, как они пришли на Святую Гору, отец Николай прожил 19 лет, а отец Арсений 24 (пришли в 1822-м). И не вкушали они ни рыбы, ни сыра, ни вина, ни масла. Пищей для них были сухари, которые они носили на своих плечах из Иверского монастыря к себе на гору (примерно полчаса ходу).

Еще любили черные квашенные баклажаны, посыпанные стручковым красным перцем. И всегда ели один раз в день в третьем часу пополудни, а в среду и пятницу не ели вообще. Распорядок дня у них был такой. После трапезы до вечерни чтение духовных книг. Затем вечерня, повечерие, молитвы, затем ночь с молитвой, спали сидя час или прохаживались. Часов у них не было, но до них доносился колокольный звон с Иверского монастыря. В полночь молитва, потом утренняя по уставу, после канон Пресвятой Богородице с акафистом. С утра резали по десять ложек на брата, работая в разных местах, и всегда с умной молитвой. Напомню, что исихасты постоянно читали короткую умную молитву: «Господи Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй мя грешного. Аминь».

Часто посещали их насельники Святой Горы и миряне. Если кто начинал при них говорить осуждающе о своем брате, то они прекращали беседу. Всякого ближнего любили больше, чем самого себя, что ясно показывали их дела. Кто бы к ним ни пришел с какою нуждою, они никого из келлии своей не отпускали унывающим. Кто телесной ради нужды скорбел, того они поддерживали материально, если даже это было сверх сил. Последние свои книги отдавали в залог, чтобы помочь ближнему, а уж после того, как им поможет Бог, выкупали их обратно. Кто душевную скорбь имел, того утешали благами своими беседами. Бедные имели в них помощников, скорбящие – утешителей, немощные грехами – скорое исправление и освобождение от них.

Так писал о них иеросхимонах Парфений (Агеев) и приводил множество примеров. Ведь ему они помогли также. Когда инок Парфений пришел на Афон, то не имел никаких средств для жизни. И старец Ар-

сений дал ему денег на покупку набора инструментов для последующей работы и заработка. Однако денег не хватало на покупку. Тогда старец дал ему свои книги для залога, дескать, потом выкупим. И пока инок Парфений шел в Карею для покупки и залога, то от чувства признательности неоднократно прослезился.

У отца Арсения первый вопрос ко всем приходившим был таков: «Доволен ли ты брат, не имеешь ли какой нужды?» Многие из учеников отца Арсения не могли вместить его образа жизни и нестяжания. И говорили: «Кто может вместить твое нестяжание? Что Господь нам пошлет, то ты раздаешь прочим». Он же говорил им: «Всеми силами старайтесь очищать внутреннего человека и не принимать никаких прилогов дьявольских». Понимая, что не все могут вынести его образ жизни, он их отпускал жить отдельно, но только на Святой Горе.

**Отец Арсений сделал на Святой Горе великие распоряжения, и никто не мог ему противоречить.**

Эта фраза иеросхимонаха Парфения показательна и важна: приходилось старцу Арсению разрешать склоки и между монахами. О противостоянии греков и славян на Афоне много писал В.А. Маевский. К сожалению, возникали трения и между самими славянами. Приехал из Саровской пустыни на Афон иеромонах Палладий и определился жить в скит Святого пророка Илии, однако быстро умер. Живущие в ските малороссы нашли после него «лестовку и малую манатейцу». «Лестовка» происходит от «лестница» на русском, своего рода четки для подсчета молитв и поклонов, а «манатей», видимо, мантия, то есть облачение высших монахов. Малороссы взбунтовались, посчитав это претензией на главенство русских, раскричались, что это раскол, что этому покровительствует недавний настоятель обители духовник отец Арсений. Жалобу послали патриарху, и он потребовал к себе старца. Собрались и пошли к патриарху пешим путем в 1000 верст старец Арсений и его сотоварищ монах Николай. Патриарх их выслушал, все понял, удивился, что пеши шли, ведь это тягота большая. А лестовку и манатейку они объяснили тем, что в Саровской пустыни имеют такое для келейного правила. Патриарх дал им денег на морской путь и написал, чтобы таких старцев не беспокоили клеветой, иначе клеветник будет отлучен от церкви. По благословению отца Арсения игумен Ильинского скита иеромонах Павел уступил в споре за игуменский пост братьям-малороссам и оставил им свою должность, благодаря чему сохранились добрые отношения между малороссами и великороссами. А чтобы снять оставшиеся противоречия, отец Арсений дал благословение молодым подвижникам организовать новый скит специально для великороссов.

По его же благословению иеросхимонах Аникита (бывший князь Ширинский-Шихматов) принял приглашение греков и поселился в древней русской обители. Своими и собранными деньгами бывший князь очень сильно помог монастырю, оплатив все его долги и нужды, фактически сделал его самостоятельным. Однако уже без благословения (согласия) Арсения рекомендовал не того человека в руководители монастыря. Явно духовидения (понимания) сути и смысла, возможностей и способности (самовлечения) людей Аниките не хватило, а из послушания и дисциплины он вышел. Результат был печальным. Монастырь опять захламляло. Вот тогда Арсений и рекомендовал по обращению монахов другого духовника. И по его же, отца Арсения, благословению духовно возглавил монастырь молодой отец Иоанникий, будущий Иероним, порекомендовавший в настоятели Макария, который успешно управлял потом десятки лет.

Славился отец Арсений и своими чудотворениями. Например, в 70 лет с больными ногами он проделал путь за сутки в 75 верст по горам (для обычных людей трехсуточный). Внешний вид отца Арсения описывают так. Он был среднего роста, борода средняя с проседью, голову держал всегда наклоненной на правое плечо. Лицом был чист и светел. Характер имел веселый, но очи его всегда были полны слез. Был весьма сух, но на лице его всегда играл румянец. Речь у него кроткая, немногословная и приправленная духовной солью. Старец был весьма начитан и всегда подкреплял свои доводы свидетельствами из Священного Писания. Говорил и приводил свидетельства Писания наизусть, чему немало удивлялись и ученые люди.

Умер великий старец 24 марта 1846 года. Он оставил преемника. Спросили его ученики: «На кого оставляешь нас?» «Возложив слабеющие руки на голову отца Иеронима (Соломенцова), великий старец сказал: “Вот ему оставляю вас, ему передаю все”». Велел подходить к нему на благословение и на благословение к преемнику своему, новому общему духовнику отцу Иерониму. Так отец Иероним был возведен на новое высокое служение рукою своего умирающего духовника и старца.

Обращаю внимание читателя на то, что отец Арсений Афонский был безусловным духовным руководителем Святой Горы и оставил такого же руководителя, почему он и считается восстановителем Афона после страшного времени 20-х годов XIX века. Уже поэтому он и достоин всемерной памяти нашей, его земляков, и всего человечества.

А теперь я попытаюсь рассказать о сути духовного руководства. Необходимость в этом есть. Вспомните современный «телеязык», который не всегда можно понять и мне, человеку с высшим образованием и со знанием английского языка. Все эти «лайфхаки», «вау», «хаблы», «синглы», «баттлы», «хорроры», «баннеры» не просто раздражают, но и требуют перевода. Видимо, и церковные термины, сами понятия и форма изложения требует перевода, пояснения. Неслучайно католики считают правильными «священными» языками древнееврейский, греческий и латынь, ведь они не искажают изначальный смысл. Конечно, искажений в таком случае нет, однако все ли знают древние языки? И что проще и действенней – выучить эти языки или попытаться постичь смысл учения под руководством знающих людей всем прихожанам? Ведь и католики нередко не понимают церковных текстов. И конечно, многие неверующие и атеисты не понимают традиционных христианских текстов. Терминология чужда, кажется ненужной болтовней, этакой «аллилуйщиной», как выразился один мой собеседник. По словам другого критика христианства, «все эти “паки, паки, иже херувимы” внушают, однако непонятны». Думается, что и среди православных верующих мирян немало не очень понимающих смысл этих текстов. Они с терминологией не спорят, но термины кажутся им просто «церковными» хорошими словами, полностью воспринять их как прямое учение и указание к действию, к сожалению, не могут. Поэтому мне кажется не лишним смысла передать сущность жизни и понятий «молчальников» другими словами, может быть, излишне разговорными. Попытаюсь перевести или объяснить то, что не всем ясно.

Ведь что значит «Афон – удел Богородицы»? Если смысл христианства в том, что Бог стал человеком для того, чтобы человек стал богом, то «удел» означает своего рода покровительство Богородицы над экспериментальной площадкой по превращению человека в идеальное существо, в образ и подобие Бога. В подобие – поскольку Христос

имеет двойную природу и Бога, и человека (это у армян-монофизитов он только Бог, в этом случае невозможно становиться подобием). Человек – единственное существо в мире, не рождающееся с готовыми социальными навыками и предопределенным, изначально заданным мировосприятием. Человеческий ребенок, по рождении попавший в стаю волков, становится не человеком, но волком, – история Маугли всем известна. Для того чтобы стать человеком, надо приложить усилия и воспитателям, и самому человеку. Развитие личности продолжается всю жизнь. Монастырь и «удел Богородицы» предоставляют собой идеальный вариант для этого. Человеку может казаться, что он уже стал совершенным, но достаточно измениться условиям, как он, к ужасу своему, обнаружит, что он что-то вроде апостола Петра, трижды предавшего своего Учителя, и до совершенного состояния ему очень далеко. Христианство и говорит этому человеку, что надежда у него есть, надо не отчаиваться, надо стремиться вверх.

А как стать совершенным, если даже под руководством Христа был не только Петр-отступник, но и Иуда-предатель? Апостолы появлялись под прямым воздействием Христа (Саул-Павел) или под влиянием смерти и воскресения Иисуса. Так влиять человек не может, а потому кто же скажет про себя «свят есть»? Исключительно труден этот путь, и в этом мире невозможно его пройти полностью. Чтобы встать на эту дорогу и не сойти с этого пути или, сбившись, вовремя возвращаться на него, необходимы наставники-учители, старцы-духовники, исповедь и послушание. А кто может быть старцем и учителем-наставником? Это не тот, кто щеки надул, много книг прочитал и кто красно говорит, таких мы сегодня нагледелись. Это тот, кто своей жизнью показал, что он реально живет по тем законам и принципам, которые хочет привить ученику, и тот, кто обладает способностью обучить и руководить. Отсюда постоянная сосредоточенность на правильном пути и постоянное ощущение себя несовершенным. Для этого существует постоянная Иисусова молитва: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного».

Наставник лучше знает лучше, как достичь высот человеческих. Отсюда и дисциплина-послушание, отсюда и благословение – разрешение на твои будущие поступки. И исповедь очень помогает в этом движении. Рассказал духовнику о своей жизни и сложностях ее, ответил на вопросы исповедника, и взгляд опытного человека со стороны и не затронутого твоими сомнениями и страстями, увидит твои недостатки и причины их, и если ученик даже не сразу поймет и не согласится с выводами учителя-духовника, то в силу послушания и благословения пойдет правильным путем к вершинам человеческого совершенствования. Стоит вспомнить монахов Иверского монастыря, куда пришли два русских странника в 1822 году. Можно сказать про них, что они молодцы – сохраняли монастырь, икону, богатства обители. А можно сказать и так, что уйдя с Афона они попадали в никуда, могли быть ограблены и зарезаны, ведь в миру шла война. И потому не ушли они из монастыря из страха, с Афона, а богатства припрятали для себя, а не для будущего обители. Русских путников накормили не из христианских побуждений, а предполагая в них русских лазутчиков, ведь русские войска рядом. Русский император выступает покровителем всех православных, и он явно сильнее турецкого султана, значит, нужно у будущих владетелей заслужить это покровительство. Это я говорю не о конкретных монахах, а о сложности понимания сути человека. Как стать прозорливым и понимающим? Нужно хорошо видеть и понимать все, даже самые потаенные, мотивы поведения человеческого.

Вспомним уникальную книгу В. Богомолова «Момент истины (В августе 44-го)». В ней очень точно отражена важность поиска и понимания реальных мотивов поступков человека. На переднем крае все более-менее понятно – где враг, где друг. Но враг, фашистская орда становится все изощреннее. Важно спрятать свои мотивы и не болтать, и необходимо понять мотивы, а значит, и будущие поступки врага. Но не все на это способны. Это зависит от «самования». Я понимаю этот термин как своеобразную замену слов «самость», «сущность», «внутренний смысл роста личности», «личные способности», «личные таланты и возможности роста». Кто-то в силу личных особенностей (воспитания, образования, ума, опыта, обстоятельств) может быть золотым, кто-то серебряным, кто-то медным, но жить и поступать приходится уже сегодня.

Контрразведчик Таманцев видит маленького мальчика, 3-4 лет, сына русского командира, захваченного фашистами и перевозимого переодетыми в советскую форму нацистскими разведчиками для маскировки. После убийства фашистов малыш кричал и горько плакал потому, что тетенька (фашистка) казалась ему единственной спокойной опорой в этом сумасшедшем мире. И малыш не враг противникам фашизма, его нужно пожалеть. Или белоруска с маленькой дочкой, прижитой от нацистского разведчика-поляка. Она жила в чужой семье во враждебном окружении с 14 лет, конечно, не могла разобраться во всей сложности жизни, и советские контрразведчики, убившие ее мужа-любownika, кажутся ей врагами, ибо они разрушают ее мирок. Но на самом деле она не враг, она временно запуталась в хитросплетениях мира. Таманцев это понимает и оставляет ей продовольственный паек. Она не враг. А вот плохо относящийся к этой девушке сосед-горбун, когда-то помогавший партизанам, вызывает у Таманцева неприязненные чувства, поскольку у этого жлоба зимой снега не выпросишь, а партизанам он помог на всякий случай, ведь они (советские) явно начинают побеждать.

И последняя схватка в этой книге. Берут исключительно профессионального и страшного фашистского диверсанта Мищенко, русского по происхождению и врага по сути своей. И здесь же опять это самое «самование» во всей наглядности. Внешне враг Мищенко может казаться другом. Он и создает этот внешний образ. Привлеченный к операции контрразведчиков замкоманданта городка, боевой офицер, неправильно понимает происходящее, считает Мищенко товарищем, а ломаную речь контрразведчика – показателем тупости и необразованности, и отходит от инструкции, переступает запрещенную линию и погибает. Замкоманданта не враг, но дисциплины ему не хватает. А в бою это обязательное качество, нет его – и гибель.

Можно привести из этой же книги и противоположные примеры, говорящие о различной высоте людей, их способности к трезвой самооценке. То же «самование» можно приложить и к контрразведчикам. Старший лейтенант Таманцев – боевой скорохват, уникальный специалист по боевому прямому контакту, однако понимает, что у него «чердак слабо меблирован», а подполковник Поляков, по словам Таманцева, «если не бог, то заместитель бога по розыску». Эти примеры могут не убеждать, читатель может сказать что-то вроде «подумаешь, разные люди, ну и что?». Однако стоит вспомнить, что от понимания мотивов и смысла действий этих людей зависит жизнь и счастье сотен тысяч, если не миллионов, людей в громадной схватке с сатанинской ордой.

Так и духовник должен понимать сущность и смысл пришедших к нему за советом мирян и монахов, представлять ближние и дальние

последствия предполагаемых поступков и поведения в конкретных обстоятельствах руководимых им людей. Человек может не понимать смысла и значения рекомендаций, однако самое правильное – получить благословение духовника и его рекомендации выполнить. Это и называется послушание.

И, наконец, духовник и начальство. Соотношение их такое же, как у мудрого учителя и директора школы. Или у гениального конструктора и директора завода. Или у гениального ученого и ректора вуза. Сталин звонил артиллерийскому конструктору В. Грабину и спрашивал о том, как помогает ему директор завода Елян (не наоборот!), не стоит ли сменить директора. Большому ученому не нужно быть начальником. Помню разговоры с учеными нашего Горьковского университета академиком Г. Девятым и с заслуженным деятелем науки, профессором А. Анисимовым о ректорстве. Каждому предлагали возглавить университет, и они отказывались. Почему? Оба объяснили одинаково: ведь любые бумаги мне и так подпишут, а заниматься хозяйственной дребеденью неинтересно, да и государственно нерентабельно, ибо ректор их не может заменить, а они ректора могут.

Так и духовник и настоятель монастыря – не равноценные фигуры. На настоятеле лежит много других вопросов, хозяйственных, организационных, политических. Однако назначить старцем-духовником он никого не может, духовный авторитет признается учениками, последователями, массой. А вот когда назначил отец Арсений отца Иеронима духовником Руссика – русского Пантелеимоновского монастыря, а тот в свою очередь благословил (рекомендовал) настоятелем обители другого монаха, Макария, – никому и в голову не пришло возражать.

И еще о Константине Леонтьеве. От афонского подвижника – через того же Иеронима – протянулась незримая духовная нить и к великому русскому философу Последний, будучи консулом в Салониках, ближайшем к Афону большим греческим городом, пытался стать монахом на Афоне. Отца Арсения он не застал, а вот общение с его учеником Иеронимом было весьма тесное, и влияние отца Иеронима серьезное. Леонтьев искренне хотел стать монахом (в конце концов им и стал, только в Оптиной пустыни), однако духовник отец Иероним не благословил. Почему? Во-первых, потому что негоже уходить в монахи, когда с женой не разобрался. Есть ли у нее на жизнь средства? Если решена эта проблема, то возникает другая. Ведь люди о супруге что будут говорить? Злые языки скажут, что она так плоха, что от нее муж убежал в монастырь. Нельзя начинать хорошее дело (уход в монахи) с усложнения и ухудшения жизни других. Ведь путь в ад и путь в рай есть продолжение одного пути, просто разветвление в самом начале может быть всего лишь несколько сантиметров. А разве консульская деятельность не оказывается брошенной? Кто ее подхватит и как поведет? Возникает множество вопросов, без решения которых уход от мира не становится уходом в совершенную жизнь. И Леонтьев не пошел тогда в монастырь. Решал жизненные вопросы и только через большой период времени посчитал, что он готов к монастырю, и стал монахом. При этом он предоставил в Оптину пустынь рекомендации от отца Иеронима и отца Макария.

Обратите внимание: не философ Леонтьев учит Иеронима, а Иероним философа. И произносит речи так, что философ понимает, что слышит то, что созревало в душе его и что он со временем напишет. И он написал. В это время Леонтьев обдумывал, готовил, а несколько позже

в России написал две знаменитые работы. Одна большая – «Византизм и славянство». А вторую, меньшую, я рекомендовал бы почитать всем. Названа она блестяще: «Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения»! Почему я обращаю внимание на эту работу? Ведь иногда кажется, что ушедшие от мира афонские монахи живут только Богом или божественными текстами. А так ли?

Можно ли не заметить, что происходит во время жизни того же отца Арсения и отца Иеронима? Вокруг Афона идет война. Война в 1806–1812-м, в 1820–1827-м – греческое восстание, и, казалось, наступил конец Афону, в 1828–1829-м – очередная Русско-турецкая война, в конце которой русские войска впервые подошли к Константинополю и остановились фактически в предместье столицы, в Адрианополе, а при Иерониме – Крымская война, Синопский морской бой и оборона Севастополя... Можно ли не видеть того, что Россия, по сути дела, была единственным серьезным покровителем православия и Афона на Востоке?

Можно ли забыть, что западные крестоносцы в 1204-м завоевали и разграбили Царьград, создали на территории бывшей Византийской империи собственное католическое царство? И можно ли не заметить двусмысленного и лживого поведения европейского Запада в XIX веке?

В греческом восстании и Наваринском бою Россия действует вместе с Францией и Англией. Но чуть позже Франция и Англия проявляют себя в опиумных войнах в Китае. Под ширмой свободы торговли военной силой заставили Китай разрешить торговлю опиумом. Затем обрушились на Россию в Крымской войне. Эгоизм, подлость, неблагодарность «европейцев» (все больше к ним примыкали и США) проявляли себя все нагляднее.

Несомненно, духовник не мог не понимать происходящее в мире и не мог не передать это понимание своему ученику Леонтьеву. Трудно в данном случае не отметить очевидную связь: великий русский философ Константин Леонтьев был духовным внуком великого старца Арсения Афонского и сыном-учеником отца Иеронима. К сожалению, эта сторона жизни великих православных духовников мало исследовалась в нашей философской, исторической да и в художественной литературе. Мало изучался и исихазм, а это великое наследие просто требует и нашей памяти, и внимания.

В ряду тех нижегородцев, чьи святые имена навеки вписаны в историю России и всего православного мира, начиная от князя Юрия Всеволодовича, княгини Евдокии – супруги Дмитрия Донского, Кузьмы Минина и князя Пожарского, патриарха Никона и протопопа Аввакума, Серафима Саровского и до новомучеников XX века, великий старец Арсений занимает достойное место. Многолетний духовный руководитель (духовник) всего Афона, восстановитель как монашества в целом, так и конкретно русского монашества на Афоне, он многое сделал и для мирян, в смутное время своим громадным авторитетом сумев наладить мирную жизнь обитателей Святой Горы.

Его ученик старец Иероним продолжил его дело. И, следовательно, целая эпоха вызвана к жизни святым старцем Арсением и продолжается по сей день.

## Протоиерей Владимир ГОФМАН

Родился в 1953 году в городе Городце Горьковской области. Окончил Рыбинский авиационный техникум, историко-филологический факультет Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского и Московскую духовную семинарию. До рукоположения в сан священника работал литейщиком на производстве, журналистом. С 1993 года – священник Русской православной церкви.

Автор ряда поэтических сборников, книг прозы и множества публицистических статей. Лауреат ряда литературных премий, за книгу рассказов «Персиковый сад» в 2012 году удостоен диплома 3-й степени Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

## КУПОЛА, СМОТРЯЩИЕ В НЕБО

Храмы Нижнего: между прошлым и будущим

*Продолжение. Начало в № 5, 2019 – 2, 2020*

## СТРОГАНОВСКИЕ ХРАМЫ

Историки архитектуры говорят об особом стиле – «строгановском барокко», который характеризует храмы, созданные представителями династии промышленников Строгановых. Такой стиль, безусловно, есть. Невооруженным глазом мы видим отличие церкви на улице Рождественской от всех других церквей города. Так же и Смоленская церковь в Гордеевке не похожа на остальные, но как сестра сродни той, что и сегодня украшает бывшую Маяковку.

Почему стиль называют строгановским? Как уже говорилось, в этом стиле строили в XVII–XVIII столетиях храмы и другие здания по заказу купца и промышленника графа Григория Дмитриевича Строганова (1656–1715). Об этом человеке можно писать книгу, но мы здесь ограничимся лишь некоторыми сведениями о нем.

Григорий был единственным сыном крупнейшего северного промышленника («именитого человека») Дмитрия Андреевича Строганова и Анны Ивановны Злобиной. Крупный русский промышленник, землевладелец, финансист и политический деятель, он оказывал финансовую поддержку Петру I еще до коронации.

В 1700 году в Воронеже построил два фрегата, которые подарил Петру. Корабли были отправлены в турецкий поход. Известно, что он финансировал Петра I во время Северной войны.

Главный доход Строгановых составляла добыча и продажа соли. К концу жизни Строганов поставлял государству более 60% всей реализуемой соли. Во всех его владениях проживало более 45 тысяч душ мужского пола.

Григорий Дмитриевич, в свою очередь, пользовался особым расположением Петра: они переписывались, император крестил второго сына промышленника, подарил Строганову большие земли на Урале и собственный портрет, украшенный бриллиантами.

После 1685 года Строганов перестал жить в Сольвычегодске. Его резиденция была перемещена ближе к Нижнему Новгороду, в Гордеевку. Как предпринимателю ему было немаловажно выгодное географическое положение города и экономические преимущества, которое оно давало. В Гордеевке была построена Смоленская церковь. Позже Григорий перебрался из-за реки в сам Нижний. Рядом с пристанью им было отстроено большое подворье со складами, амбарами и возведен храм в честь праздника Собор Пресвятой Богородицы.

Строганов был человеком религиозным. Он вел активное строительство церквей и поддерживал монастыри. В то время стиль барокко в храмовом строительстве был весьма распространен. Но строгановские постройки отличаются, например, от московского барокко – при сохранении традиционного для русского храма пятиглавого силуэта, на него наносится пышный, словно вылепленный от руки барочный декор. В этом стиле Строгановым были построены: Введенский собор в Сольвычегодске (1689–1693, освящен в 1712), Иоанно-Предтеченская церковь Троице-Сергиевой лавры (1693–1699), Казанская церковь в Устюжне (1694), Смоленская церковь в Гордеевке (Нижний Новгород, 1694–1697), Рождественская (правильно церковь в честь Собора Пресвятой Богородицы) в Нижнем Новгороде (1696–1703), Спасо-Преображенский собор в Усолье (1727). Из них сохранились четыре храма. Две красивейших церкви Григорий Дмитриевич оставил нижегородцам. Вечная ему память!

## 1. Церковь в честь Смоленской иконы Божией Матери в Гордеевке

В 80-х годах XVII века по указу Григория Дмитриевича Строганова начато строительство домово́й каменной церкви в честь Смоленской иконы Божией Матери в Гордеевке. Придел в честь Киево-Печерских чудотворцев Антония и Феодосия был освящён митрополитом Нижегородским и Алатырским Павлом 22 декабря 1694 года. Освящение главного престола в честь Смоленской иконы Пресвятой Богородицы состоялось 25 июля 1697 года при митрополите Нижегородском Трифилии.

После переезда Строгановых в Москву в 1705 году Смоленская церковь стала приходской. Такой она и оставалась до революции и некоторое время после нее. В 1930 году церковь была закрыта. Ее хотели взорвать, но по настоянию сотрудников Горьковского краевого музея уникальное здание было сохранено. До начала 1990-х годов здесь размещался музейный склад. В 1993 году церковь передана

Нижегородской епархии. В 2005–2006 годах был позолочен главный купол.

В 2018 году в храме начались ремонтные работы, а в 2019 году – масштабная реставрация с восстановлением исторического облика по 3D-моделям и с применением резьбы из белого камня, которую планируют завершить к 800-летию Нижнего Новгорода в 2021 году.

И сегодня, как в старину, в храме два придела: главный – в честь Смоленской иконы Божией Матери и северный – в честь преподобных Антония и Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев.

Смоленская церковь является объектом культурного наследия федерального значения.

Рядом со Смоленской церковью, чуть выступая к дороге, стоит другой храм – в честь Владимирской иконы Божией Матери. Он построен во второй половине XIX века. И хотя к строгановскому стилю этот храм не имеет отношения, все же о нем следует сказать здесь несколько слов, хотя бы потому, что он вместе со Смоленской церковью составляет своеобразный храмовый комплекс, что является уникальным для Нижнего Новгорода. Да и сам храм и его история уникальны.

Когда-то на этом месте была построена Владимирская церковь иноком Порфирием в XVI веке. В уцелевшей от 1804 года описи церковного имущества говорится: «Владимирская церковь деревянная, об одной главе с железным крестом, крыта тесом, глава обита деревянною чешуею; с правой стороны придел во имя Покрова Пресвятой Богородицы – освящен, а левый придел не освящен». В 1812 году церковь была перестроена. Обновленный храм стал пятиглавым, с колокольной. Главный алтарь был освящен в честь Сретения Владимирской иконы Божией Матери. Все иконы шестиярусного иконостаса были греческого письма, с левой стороны царских врат находилась редко встречающаяся икона «Единородный Сын».

В 1902 году Владимирскую церковь было решено перестроить. Строительство велось по проекту архитектора Д. Фёдорова и было завершено в 1907 году. Освящение совершалось в три этапа, по мере достройки: в феврале 1908 года, мае 1908 года и сентябре 1909 года при архиепископе Нижегородском Назарии. Службы в этом храме проводились до 1926 года. В конце 40-х годов храм был приспособлен под пекарню, которая размещалась в нем до 1998 года.

В сентябре 1998 года храм передан Нижегородской епархии, в этом же году начались восстановительные работы. С того времени в храме совершаются богослужения. В нем три придела: главный – в честь Владимирской иконы Божией Матери (освящен в 2019 году), северный – в честь Покрова Пресвятой Богородицы (освящен в 2013 году), южный – в честь святителя Николая Чудотворца (освящен в 2015 году). Освящение совершалось митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием.

## 2. Церковь в честь Собора Пресвятой Богородицы (которую называют Рождественской или Строгановской)

Этот нижегородский храм является одним из лучших образцов строгановского стиля, отличается особой монументальностью и пышным декоративным убранством. По праву имеет статус памятника архитектуры федерального значения.

Но сначала о путанице в названии. Улица Рождественская и храм Рождественский – так обычно называют Строгановскую церковь. Но освящена она в честь Собора Пресвятой Богородицы, праздника, который следует на следующий день за Рождеством Христовым. Откуда же Рождественская? Когда-то недалеко стоял, действительно, древний храм в честь Рождества Богородицы (его разобрали в XIX веке), по нему и улица называлась Рождественской, а потом и Строгановскую церковь стали некорректно именовать по старой памяти «Рождественской», а правильно будет – Соборо-Богородицкая.

Возведение храма началось в 1696 году, через два года после освящения первого придела Смоленской церкви в Гордеевке. К 1701 году строительство было завершено, но случился пожар, и восстанавливалась церковь уже женой Григория Дмитриевича Строганова – Марией Яковлевной, в девичестве Новосильцевой. Освящен храм был в 1719 году преосвященным Питиримом (1719–1738), архиепископом Нижегородским.

Церковь с колокольней, двухъярусная: наверху расположен трехапсидный алтарь, моленный зал, бесстолпная трапезная и паперть. Храм пятиглавый, четыре главы поставлены по сторонам света, как в деревянных церквях. В подцерковье под трапезной располагались три изолированные кладовые. Снаружи и внутри храм украшен белокаменной резьбой (окна, порталы входов, приставные колонны).

История храма богата событиями, легендами и преданиями. В 1722 году он был закрыт Петром I. Император молился здесь за всенощным бдением 29 мая 1722 года, накануне своего 50-летия. По устному преданию, зафиксированному архиепископом Макарием (Миролюбовым) в книге «Памятники церковных древностей», Петр увидел в церкви иконы, написанные придворным мастером для столичного Петропавловского собора. Будто бы граф Строганов перекупил эти иконы. Это и послужило причиной закрытия храма. Открыт храм был только через два года по смерти Петра I, в 1727 году. Есть и другие версии закрытия Строгановской церкви императором. Что произошло на самом деле, наверно, мы не узнаем никогда, доподлинной информации на сегодня нет.

Церковь неоднократно горела (в 1768, 1782, 1788 годах). В 60-е годы XIX века колокольня начала катастрофически наклоняться, за 20 лет отошла на 1,2 метра. В 1887 году верхние ярусы были разобраны и собраны снова, что способствовало укреплению колокольни. Но при всех реставрационных и восстановительных работах и некоторых перестройках, которые были неизбежны за три века, церковь все же сохраняла в основном свой первоначальный облик.

В 1913 году храм был полностью отреставрирован снаружи и внутри, а в 1930-е годы закрыт большевиками. Было принято решение об уничтожении уникальной церкви, но настоятелю отцу Сергию (Сергею Константиновичу Вейсову), удалось отстоять храм. Здесь разместился городской музей истории религии и атеизма. Временно исполняющим обязанности директора музея был назначен сам отец Сергей, а сторожем – иеромонах Спиридон. Во время Великой Отечественной войны в помещении церкви располагался аптечный склад.

Слава Богу, был сохранен уникальный иконостас. Из 46 икон конца XVII столетия до нашего времени сохранилось 43. Все остальное убранство церкви было потеряно. В 60-е годы XX века Строгановская церковь была передана краеведческому музею под один из филиалов,

который и занимал ее до 1993 года. 3 июня 1993 года Строгановская Рождественская церковь была заново освящена митрополитом Нижегородским и Арзамасским Николаем.

22 октября 2004 года храм ограбили, было похищено 18 икон. 24 июля 2008 года в то время председатель Правительства Российской Федерации Владимир Путин передал Нижегородской епархии икону «Воскресение Христово», одну из тех похищенных. История такова. В 2007 году икона была куплена коллекционером в Эстонии и привезена в Россию: обнаружив её в каталоге похищенных вещей, он принял решение вернуть её Русской Православной Церкви.

Три столетия украшает наш город Строгановская церковь, которая, безусловно, является одной из визитных карточек Нижнего Новгорода. Глядя на нее, удивляются гости города. Глядя на нее, радуются и гордятся нижегородцы. 8 января 2019 года в престольный праздник храма – Собора Пресвятой Богородицы по окончании Божественной литургии состоялись освящения иконы всех святых и колокола-благовестника, отлитого на пожертвования прихожан к 300-летию любимой церкви.

## Андрей РУДАЛЁВ

Родился в 1975 году в городе Северодвинске Архангельской области. Окончил филологический факультет Поморского государственного университета, два года работал там же на кафедре литературы. После был охранником в ночном клубе, замредактора в рекламной газете, корреспондентом «Северного рабочего», пресс-секретарем Совета депутатов Северодвинска.

Участник форумов молодых писателей в Липках. Лауреат литературной премии «Эврика!» (2006). Автор книг «Жизнь по чужим лекалам», «Письмена нового времени». С критической и публицистикой выступает во множестве периодических изданий.

Живет в Северодвинске.

## ПРОРОК ВЕЛИКОГО ОБВАЛА

40 лет назад академик Андрей Сахаров был отправлен в ссылку в Горький. Кем он был – утопистом-мечтателем или инструментом в руках советской буржуазии, рвавшейся к власти?

Два важнейших момента для понимания роли в распадных событиях академика Андрея Дмитриевича Сахарова: его высказывания о советских войсках в Афганистане с использованием информации, взятой из западных СМИ, а также знаменитая речь на Первом съезде народных депутатов СССР в июне 1989 года. С трибуны он уже говорил о надвигающейся катастрофе, представил свои весьма абстрактные рецепты во спасение. Под итог выступления потребовал отозвать советского посла из Китая в знак протеста против событий на площади Тяньаньмэнь. Студенты, организовавшие там протестное стояние, хотели ускорения реформ и чего-то похожего на горбачевскую перестройку. В результате Советский Союз обвалился по худшему из возможных сценариев, а Китай устоял от соблазна падения в пропасть. По прошествии времени можно уже делать какие-то выводы на этот счет.

Что это было? Особая форма помутнения и страстная вера в утопию, которой следовало достичь любой ценой? Или что-то еще?..

Солженицын воспринимался мессией. Достоянием родины, которое мы по своей глупости потеряли. Он сидел в далеком Вермонте – своеобразном мировом Эдеме – и слал оттуда свои статьи о том, как нам все обустроить. Он будто эхо «правды» и дореволюционной России, которая сплелась в его бороде. В книге Александра Зиновьева «Катастрожка» говорится о том, что его вполне бы могли назначить царем.

По крайней мере, подобные были настроения в обществе, уровень доверия к Солженицыну был высочайший и безусловный.

Сахаров был здесь, на нашей грешной земле. Привлекал к себе внимание и гнев. Он был пророком гонимым, так и воспринимался, особенно после захлопывания его речей, практически побивания камнями. Ум, честь и совесть эпохи, по поводу которого даже генсек перестройки снисходительно улыбался, не говоря уже о «прорабах».

«Этот дряхлый телом подвижник с лицом идиота властвовал над умами, приводил в восторг толпы, диктовал вождям, останавливал армии, готовил изъятие “красных мощей” из Кремлевской стены», – так описал его Александр Проханов в книге «Последний солдат империи».

Каждый второй скажет, что академик-вольнодумец был образцом безупречной личности, духовным авторитетом. Много возвышенных и хвалебных слов о нем можно услышать. Кумир поколения, герой перестройки. Сахаров стал символом веры. Что-то говорить против – практически святотатство, равносильное оправданию сталинских репрессий.

Все вспомнят заученное, что в конце 80-х он один выступил против агрессивного большинства и сказал с большой трибуны под гогот и хлопки этой человеческой массы слово «правды» о советском присутствии в Афганистане. Скажут, что благодаря мужеству этого человека были выведены оттуда войска и спасены многие жизни советских людей. Или не спасены... но это уже другой вопрос.

Все это заученное. Сахаров для многих непререкаемый авторитет. «Икона» новых реалий, которая замещала прежних поверженных и растоптанных героев и духовных лидеров.

Но если отстраниться от практически религиозной веры в его авторитетность, что в итоге? Например, Сахаров – «совесть нации» утверждал о расстрелах окруженных советских солдат в Афгане, чтобы те не сдались в плен. Образ заградотрядов, который до сих пор является неперенным атрибутом разговоров о Великой Отечественной войне, перенес на современность всего-то. Говорил про войну на уничтожение целого народа, про афганских партизан, защищавших независимость своей родины. После подобное мы слышали уже в девяностые о чеченских борцах за независимость, потом для кого-то украинский майдан со всеми вытекающими из него «свободолюбцами» становились символами, противостоящими нашему тотальному угнетению и порабощению всего хорошего...

Его «правда», над которой смеялись и негодовали, приходила посредством сарафанной почты: где-то, откуда-то, из западной печати, а она, как известно, не врет. Авторитет этого информационного канала был незыблем, не то что у советских газет, которые не полагалось читать ни в какое время суток. Сахаров обманывался, заблуждался или стал заложником того образа мыслей и жизни, в который в одно время страстно окунулся, взыскав пророческого статуса, от которого недалеко и до юродства (у нас и сейчас «пророки» попадают в подобные ловушки и становятся их заложниками, взять хоть литератора Дмитрия Быкова)? Боролся долгие годы с чудовищами, но и сам же их порождал, так повелось от водородной бомбы. Потом принял деятельное участие в создании иной «бомбы», которая по кирпичику разнесла Союз.

Был он еще носителем культа гласности. Этому кумиру Сахаров долгие годы поклонялся. Потом этот культ положили в основу перестройки, и вся страна, соскочив с гонки вооружения, перешла в гонку гласности. Безудержную, беспощадную и любой ценой. В этом беге очень

скоро также возникло свое «водородное оружие», когда гласность попросту переставляла все с ног на голову, а черное объявляло белым. И это оправдывалось: чтобы разнести в пух все прежнее и порочное, чтобы не допустить возврата. Произошло смешение не языков, а моральных категорий во славу верховной морали. Отсюда те же афганские заявления Сахарова вполне соответствовали духу гласности, которая начинала уже откровенно пародировать реальность и заклинала духов постмодернизма – вывернутой наизнанку шубы.

Кстати, тот сюжет знаменитого выступления на съезде в 1989 году очень символичен. Пророк и толпа. Потом ее стали называть тупым или агрессивным большинством, быдлом. Смеющаяся, улюлюкающая, хлопающая, пытающаяся всеми силами перекрыть «голос совести», как рык приближающейся диктатуры. В том числе этот эпизод также подвел итог стране, после у нее не осталось никакого морального права. «Грех» этот можно было смыть только покаянием и распадом, самоликвидацией. С другой стороны, так возникал отечественный постмодерн: излом, выверт реальности, который заражал все вокруг. Возникал благими намерениями, преисполненный моральным правом и даже его диктатом.

Но тогда именно сахаровская правда была востребована, все остальное практически не воспринималось и выворачивалось наизнанку, представлялось злобной вылазкой темного прошлого.

Мстил ли Сахаров Афгану за ссылку в Горький? Едва ли. Скорее стал заложником моральной позиции, которая, как улыбка Джоконды, в какой-то момент стала людоедской. Моральная позиция перешла в разряд автоматических опций.

В какой-то мере Сахаров что патриарх Никон. И советская перестройка была попыткой избавления от отечественного двуперстия с выходом на вселенские перспективы, а для этого нужна вся пятерня, занесенная для рукопожатия (отсюда и новый раскол). Третьему не быть. Потому как за этой гранью – конец всему – ядерный апокалипсис, как неумолимая и грозная перспектива, формирующая новое мышление. Оно, как бункер спасения во время конца света, если кто не обзавелся им, то извините. С этим пятиперстием, идеализмом страна входила в большой мир, теперь уже надеясь если не возглавить его, то найти там свое достойное место. При этом, начиная с окраин и периферий, уже горели раскольничьи скиты. Многим было не по пути, но что поделаешь, ведь жертвы воспринимались вполне объяснимыми и во благо.

«Убежден, что только при условии возможно широкой гласности Запад сможет увидеть сущность нашего общества, и тогда эта деятельность становится частью общемирового движения за спасение всего человечества», – писал академик Сахаров в 1973 году.

Наше есть наше, а вот Запад – это уже не провинциальный, местечковый метроном, а мировой центр. Из-за отпадения от него мы и страдаем, будто изгнанники из рая. Поэтому многое делалось, чтобы соответствовать, чтобы заметили там, заметили и оценили наши старания. Приняли обратно блудных с покаянной...

Нужно было пророчески нести знание нового мышления, которое могло вполне стать равносильно религии, и кто его провозгласит, тот станет Римом. Пусть даже для этого надо было стать чуть или не чуть иным, отречься от себя прежнего, как будущий Сергей Радонежский от Варфоломея. Отбросить ризы и бэкграунд грозного СССР и стать приветливой и радушной Россией, стыдливой из-за своего прошлого

(иначе ворота измажут дегтем). Только преобразование это было равносильно полному сходу с дистанции.

Сахаров не занимался вопросами веры. Его религия – наука, и его грозный ветхозаветный Бог исходит из атомной реакции. Там и его личное грехопадение, связанное с водородной бомбой. Отсюда и деятельное личное, почти фанатичное стремление к избавлению от этого греха, вину за который он переносит на систему. Причем те только советскую, а глобальную систему мирового противостояния.

Свое перерождение он сам исчислял с 1957 года, когда «ощутил себя ответственным за радиоактивное заражение при ядерных испытаниях».

Основной тезис сахаровского светлого будущего в условиях нового мышления состоял в конвергенции социалистической и капиталистической систем. Все для того, чтобы уйти от тупика противостояния (в романе Александра Проханова «Последний солдат Империи» говорится про «миф о конвергенции, вульгарно упростивший идею всемирного, объединенного человечества»).

Эта теория приобретала большую популярность в послевоенные десятилетия. В перестроечном сборнике «Драма обновления» (1990 год) в статье «Социализм и призрак “конвергенции”» Ю.В. Шишков пишет, что развивали ее западные интеллектуалы, которым стало понятно, что «реальный социализм – не досадная ошибка истории, как представлялось им ранее, а достаточно жизнеспособный вариант общественного строя». Опять же война показала, что с «ним невозможно разделиться путем военного насилия». Отсюда и пошли попытки поиска «третьего пути» и создания гибридного общественного устройства. Была в этой теории и большая доля надежд на перерождение социализма в капитализм, через размывание различий и нивелирование достижений того же социализма. Автор статьи приходит к выводу, что обе системы могут считаться социализмом и капитализмом с большой натяжкой. Первая – «пока еще не социализм», а вторая – «уже не капитализм». Если так, то какая вообще разница? Если в стране только вывеска социалистическая, а реальная суть совсем иная? Почему бы тогда не пойти по капиталистическому пути, только не педалируя этой темой, ведь он «уже не капитализм»? постсоветская же реальность показала, что разница была, и она на самом деле принципиальная...

Об этой конвергенции академик Сахаров говорил и писал регулярно. Это сближение должно сопровождаться «демократизацией, демилитаризацией, социальным и научно-техническим прогрессом как единственной альтернативой человечества». Когда шли жесткие тенденции взаимного отторжения, он задавал совершенно противоположные тренды, в чем-то равносильные интернационалу прогрессивных людей, создающих новый и прекрасный мир, как панацею от глобальной катастрофы. Был он гражданином мира, которому претило разделение планеты на две противоборствующие системы. Быть может, он так открывал земли и становился первопроходцем, осваивающим новые просторы. Сложно сказать определенно, что им двигало в первую очередь. Но все-таки Сахаров оставался классическим советским человеком, даже в своем вольнодумстве и противоборстве. Разнося по миру свою благую весть, он в том числе занимался приращением пространств и умов для своей страны, которая должны быть улучшена, приближена к идеалу, но своя.

Советский строй еще в семидесятые годы он характеризовал как «государственный капитализм с партийно-государственной монополией». Отсюда становятся понятны его претензии к «мертвящей

официальной идеологии», которая ретуширует, скрывает это, возводит декорации вместо реальности. По сути, скрывает отход от первоначальных идеалов. Получается, что страна уже естественным образом движется к конвергенции с капитализмом, только этому встречному движению следует предать цивилизованные формы. Госкапитализм – это еще и предощущение будущего повального предательства элит контрреволюции сверху, которая произошла в конце восьмидесятых. Возможно, следовало прислушаться к предупреждениям академика в семидесятые, чтобы не было таких девяностых. Надо помнить, что в ту же перестройку был очень большой интерес к НЭПу, который постулировался в качестве утраченного шанса для страны как форма госкапитализма и той самой конвергенции.

Писал он и про расслоение общества, говорил о необходимости сглаживания этих противоречий. Например, через ликвидацию привилегий, на чем в конце 80-х делали свой политический капитал все, кому не лень, ну и, конечно, «олигарх» в этот деле – Борис Ельцин, бросившийся совершенно демагогически обличать привилегии партаппарата, с которым сам был неразрывно связан. Еще в 1971 году предлагал Сахаров публиковать должностные оклады, ликвидировать номенклатурные списки и прочее. Писал Андрей Дмитриевич и о «социальной справедливости», которую возводил в ранг основ «нравственного здоровья общества». В 70-е это были благие намерения, в конце 80-х они переросли в необычайно питательную почву, на которой делались многие «демократические» биографии.

При этом важно помнить, что в статье «О себе» академик пишет: «не являюсь чистым отрицателем нашего образа жизни, признавая много хорошего в наших людях и стране, горячо ее любя», отмечает вынужденный характер фокусировки на негативном, так как подобное умалчивается пропагандой. Возможно, он попал в ловушку, которая существует и сейчас в ситуации отсутствия патриотического гражданского общества. Поэтому либо сплошной одобрямс, либо скачки с саблями и криками: «Все прогнило, все крушить».

У выступающих за «все крушить» риторика апробирована и отработана многократно, принципиально ее и не меняют, просто ставят пластинку, пыль смахнут и заново крутят. Поэтому так и мобилизуются моментально, поэтому и прописали за собой это самое достоинство «гражданского общества». С другой же стороны, вроде как приходится на многое закрывать глаза, а если высказываешься и обличаешь, то сразу приписывают дрейф в иной лагерь, к желающим расшатать и раскатать по бревнышку дом. В этом большая опасность и ловушка. В этом и причина того, что диалога не получается: либо молчание, либо истерики, кликушество и крик. Так и сейчас в нашем обществе.

В голливудском фильме «Власть» про могущественного вице-президента США Дика Чейни показали упырей, если не дегенератов во власти, вообще без каких-либо моральных принципов, но готовых ради своей страны, ну и для себя, раскатать и обобрать весь мир. И пусть он провалится к чертям собачьим, лишь бы им на благословенной американской земле чай пить. Понятно, что картина – следствие внутриамериканской политической борьбы, но при этом глубоко патриотическая, когда показывают олимпийских богов, которые играют в свои вышние игры, строят козни, насилуют и убивают простых смертных. Им так положено и дозволено, потому как на холме и над любой моралью, а мораль – это они сами и их поступки.

У нас такое все-таки едва ли возможно. Без скреп, понимания, что такое хорошо и что плохо, без морально-этической составляющей и справедливости никуда. Мы все взываем земного рая и если герои, то не на олимпийских вышних холмах, а на грешной земле. Да и справедливость ищут не в свой заглазник, а всему миру. Поэтому все и ретушируется, прилизывается и выстраиваются декорации, которые сами и грохаются, чуть только ветер объявится. При этом кто-нибудь подсмотрит в замочную скважину и начнет голосить на весь мир: «Смотрите, как все прогнило!» Может, и не надо подобного, как во «Власти», но ведь там не пугаются довольно открытого и нелицеприятного диалога. Причем после него вовсе не расшатываются устои, а, наоборот, общество зажигается идеей избранности нации и человекобожеского статуса ее граждан. У нас же патриотический сегмент общества, как правило, профанируют, чтобы потом задвинуть в дальний чулан.

Это отступление к тому, что, скорее всего, академик Сахаров попался в эту самую ловушку: стучался, взывал, но его не слышали и лишь отмахивались. Но стук постепенно становится громче, неистовее, уже и сам он превратился в стук и грохот по этой непробиваемой до поры железобетонной номенклатурной стене...

Отсюда и проистекает «застой» – показатель болезни общества, его тупик. В это состояние страну погрузила бюрократия, которая в ««антиплюралистических» условиях» приобрела «самодовлеющий характер». Власть бюрократии Сахаров ведет с эпохи Сталина. Тогда это было общим местом. Все плохое в стране махом приписывали Сталину, а затем в порядке наследования брежневскому периоду.

По мнению академика, именно власть бюрократии была ответственна за «экономические уродства» и за «нравственную деградацию общества». Мало того, бюрократия «попирает социальную справедливость во всех сферах материальной жизни». В этом ее корысть. Затем разложение трансформируется в коррупцию: мафиозные группы, сращенные с партийным и государственным аппаратом (пример – знаменитое «узбекское дело»). Собственно, именно эта бюрократия, на которую Сахаров возлагал ответственность за многие пороки отечественного общества, позже и уничтожила саму страну.

«Симптом нравственной деградации общества» Андрей Дмитриевич видел в пьянстве и писал, что «для духовного оздоровления страны необходима ликвидация условий, толкающих людей на лицемерие и приспособленчество, создающих у них чувство бессилия, неудовлетворенности и разочарования». Приспособленчество, отсутствие внятных целей... Тот же девиз построения коммунизма уходит в сферу мифа, вертикальные карьерные лифты все более превращались в ширму и видимость. Возможно, это и есть тот самый пресловутый застой, сопровождаемый повальным пьянством. Насколько эта картина тотальна – вот вопрос...

Он многое предвидел и многое понимал, особенно до тех пор, пока его характер видения не приобрел довольно оголтелые формы. В 1974 году Сахаров писал о появлении Интернета, который он называл «всемирной информационной системой». Он подробно описывал ее структуру и делал вывод, что главной миссией ВИС станет то, что с ней «окончательно исчезнут все барьеры обмена информации между странами и людьми». Впрочем, тогда же он писал и о хозяйственном освоении Луны и астероидов, а также про «летающие города», которые бы выполняли «важные производственные функции». Что говорить, советские реалии настраивали человека на освоение пространств, и это был

очень перспективный вектор, который мы сейчас называем «советским космосом». Позже, уже в наши дни, глобальная коммуникация вполне заслонила для людей все космические перспективы и мечты об освоении. Тут «или-или»: или повязать всех безграничным общением, или вперед, дальше и вширь. Через Интернет мещанский мир победил, разве нет? Сидишь на диване, будто за пультом мироздания, и питаешься иллюзиями...

Распался Союз, и в хозяйственном освоении Луны необходимость отпала, по крайней мере, на многие десятилетия. По Сахарову сейчас мы бы там давно бы уже все хозяйственно осваивали и управляли движением астероидов.

Андрей Сахаров – классический советский утопист и идеалист. Сама эпоха перестройки, одним из символов которой он стал, явила всплеск утопических настроений. От генсека до простого рабочего – все жаждали все вокруг переделать и направить к лучшему. Мало того, у многих был свой рецепт-проект свершений и коренных преобразований. Самый простой – сбросить оковы прошлого. До основания, в ускоренном режиме, и понесется душа в рай...

Следует сказать, что Сахаров не бесплодный романчик-мечтатель, а продуктивный, направленный на будущее. Тот самый «красный человек». В чем-то наивный, где-то фанатичный и максималист, но плоть от плоти той системы, которая подстегивала мечты, а также страсть к справедливости. Сейчас такой тип едва ли возможен, стал бы ворчливой и склочной пародией на самого себя. Возможно, со временем и сам академик вырождается во что-то подобное, кто знает...

Советским утопистам в духе горбачевского «нового мышления» уже было мало Союза и соцблока. Да им и всего мира мало, ведь этот утопист был с безудержной тягой к освоению новых горизонтов. Хотели они не сдачи и разрушения огромной страны, а освоения капиталистической стороны планеты, через конвергенцию социалистической и капиталистической систем. Это воспринималось вполне реальным, как и управление астероидами. Но, когда все стало осыпаться, они лишь наблюдали фаталистами за этими процессами, а то и подстегивали их. Не получилось, что поделаешь, неудачный эксперимент, поэтому скорей все стереть и начать с чистого листа. Скорей прибиться к капиталистическому свету...

Правда, этот же принцип конвергенции и сближения систем все сильнее критиковался с закатом страны, когда шла сдача позиций по всем фронтам. «Но что сближать? Как можно сблизить постиндустриальное демократическое общество, пусть и несовершенное, пусть и с элементами неизжитого капитализма прошлого, и антинародный режим, в самых разных странах установленный коммунистической бюрократией?» – так писал в своей книге «Хождение во власть» Анатолий Собчак. Тогда уже все советское было подвержено жесткому остракизму и объявлено бесконечно порочным, ущербным и нежизнеспособным.

Андрей Дмитриевич был не просто утопистом, но еще и прогрессистом, с искренней верой в прогресс, который меняет не только фон, обстоятельства, условия жизни, но и самого человека. Сахаров настаивал на «неизбежности прогресса», который он понимал в контексте очень близком к горбачевскому новому мышлению. Мало того, жизнь цивилизации академик ставит в зависимость от прогресса: «Прогресс неизбежен, его прекращение означало бы гибель цивилизации». Понятно, что прогресс тут понимается в контексте преодоления поляризации

мира и его демократизации. Неслучайно понятие «прогресса» вошло в триаду его нобелевской речи, которая гласит: «Мир, прогресс, права человека». Есть в этой формуле что-то от идиллического демократического коммунизма. Идиллия близка, так, может, для ее скорейшего достижения можно чем-то пожертвовать? Например, Советским Союзом, гибель которого станет фундаментом нового мышления и нового дивного мира?..

В то же время он писал, что «общество не нуждается во внешней политике как средстве внутренней политической стабилизации, или для расширения зоны влияния, или экспорта своих идей; обществу чужды мессианство, заблуждения о единственности и исключительных достоинствах своего пути и отрицание пути других, органически чужды догматизм, авантюризм и агрессивность». Опять же благие цели, утопизм, братство, проповедь невмешательства в дела других стран, а по факту... Этот внешнеполитический мессианизм – своеобразный вирус, который всегда сопровождает мировую политику. Если не претендуешь ты, то мессианский стиль политики будут демонстрировать другие, делая акцент на своей исключительности и приписывая себе роль мирового жандарма. Сейчас, через многие годы после уничтожения, Союза мы это отлично наблюдаем на международной арене, которая превратилась в территорию диктата, догматизма и спекуляций.

Обращает на себя внимание, что Андрей Дмитриевич совершенно не видел опасности в обсуждении вопросов о возможности самоопределения и даже выходе союзных республик из состава СССР. По его словам: «юридическая разработка проблемы и принятие закона о гарантиях права на отделение имели бы важное внутреннее и международное значение как подтверждение антиимперского и антишовинистического характера нашей политики». Массового характера тенденций на выход он не наблюдал и считал, что с «демократизацией в СССР» они навсегда ослабнут. Больше демократии! Видимо, в конце 80-х ее было недостаточно, и прожектор перестройки слабо светил, а иначе ничто бы и не распалось. Впрочем, Сахаров оговаривается, что даже если какая-то из республик и выйдет из Союза, то соцблок не покинет. Выйдет, погуляет, а потом, может быть, и вернется. Аргументации здесь неведомы, кроме исключительно благих надежд и пожеланий.

Главный его посыл и отправная точка – это перспективы «гибели цивилизации и всего человечества в огне большой термоядерной войны». Собственно, с этого и началось сахаровское перерождение в далеком 57-м. Тогда ему открылся ужас того, что человечество находится в «критическом периоде своей истории». Угроза мирового «распада» и привела его к той самой мысли о преодолении разделения мира на «антагонистические группы государств», к сближению капиталистической и социалистической систем, что должно сопровождаться «демилитаризацией, укреплением международного доверия, защитой человеческих прав, закона и свободы, глубоким социальным прогрессом и демократизацией, укреплением нравственного, духовного личного начала в человеке». Напуганные перспективами всеобщего уничтожения самые разные страны и люди полуют друг друга – это же так просто...

Только вот загвоздка состоит в том, что основные проблемы виделись лишь в собственной стране, а тот же капмир, скорее, воспринимался за объект для подражания. Пусть не явно, но подсознательно он представлялся более передовым в отличие от тоталитарного советского. По мнению Сахарова, сближение должно происходить через

сотрудничество, основанного на доверии равноправных «открытых обществ», но вовсе не на основе «страха демократических стран перед их тоталитарными соседями». Кто есть кто – тут вполне понятно. Только академик не берет в расчет, что в «демократических странах» тоталитаризма и опасности для дела мира может быть не чуть не меньше, чем у их «жуткого соседа» (об этом, например, много писал философ Александр Зиновьев).

Собственно, логика традиционная и вполне понятна: обозримый мир во зле лежит, но чтобы не впасть в отчаяние должен быть образ идеала, к которому следует стремиться. Вот и создается восприятие мира, где с одной стороны прожектор гласности полностью высвечивает здешние язвы и пороки, а с другой – розовые очки, которые идеализируют все то, что остается за пределами этого разящего света. Так и производился романтико-идеалистический уклон, который разнес страну ради нового светлого будущего. Все практически в рамках оппозиции религиозного мировоззрения: мир горный – мир дольный.

Вроде как за мир ответственны все, но Советский Союз больше всех. Его проблема в том, что показал альтернативу, без которой человечество станет более понятным и безопасным – однообразным, где все под капиталистическую гребенку. Распад Союза меньшее зло по сравнению с гибелью человечества? СССР принес себя в жертву ради будущего планеты?..

Академик исходит из мысли «о неразрывной связи сохранения мира с открытостью общества, с соблюдением прав человека». Получается, что общество закрытое, где эти права нарушаются, и есть главное препятствие на пути дела мира...

По Сахарову конвергенция систем должна произвести «экономику смешанного типа, соединяющую в себе максимум гибкости, свободы, социальных достижений и возможностей общемирового регулирования». В этом регулировании должна быть особая роль таких организаций, как ООН и ЮНЕСКО. К чему на самом деле привело «сближение систем», теперь мы отлично знаем, в том числе какая декоративная роль осталась закрепленной за ООН...

В своей нобелевской речи Сахаров говорил о себе как о приверженце «космологической гипотезы», по которой «космологическое развитие Вселенной повторяется в основных своих чертах бесконечное число раз». Своеобразная цивилизационная реинкарнация. В его понимании «удачливые» цивилизации «должны существовать бесконечное число раз на “предыдущих” и “последующих” к нашему миру листах Вселенной». Сахаровский максимализм заключается в «создании жизни, достойной нас самих» и, соответственно, в прополке цивилизаций, чтобы лузеры и маргинальные не перескочили на другие листы. Так может пойти порча, а листы будут заполнены цивилизационными кляксами.

Он заявлял о себе как о реформаторе, но не революционере. «Нужны реформы, а не революция», – говорил Андрей Сахаров в той же нобелевской речи. Призывал к защите прав человека, но «без требования сокрушения и тотального осуждения этих режимов».

В те годы вся страна верила, что бывшие противники по холодной войне ей хотят только добра: «в успехе преобразований в СССР заинтересован и Запад, весь мир. Экономически сильный, демократизированный и открытый Советский Союз явится важнейшим гарантом международной стабильности, хорошим и надежным партнером для других стран», – писал Сахаров в статье, датированной февралем 1987 года.

Тогда страна на всех парах входила в новые реалии и заклинала их, внушала себе радужные перспективы. Угрозой миру Советский Союз, сдавая все и идя на любые уступки, уже перестал быть, осталось зарекомендовать себя надежным и равным партнером. Вот только кому они были нужны равные и с какой стати себе внушили, что всем необходим был именно сильный Союз? В тех двухполярных реалиях возможно, но ведь реалии катастрофически быстро менялись и осыпались на глазах, а мы все верили, что всем нужны равными и сильными и даже мысли не допускали, что нас можно попросту вычеркнуть и оставить за скобками на мировой периферии. Странно было бы сейчас продолжать верить, что всему свету нужна единая и сильная Россия. Вот то-то и оно: никому она такая не нужна, кроме себя самой.

Андрей Дмитриевич признавал, что Запад сделал ставку на изматывание Советского Союза посредством гонки вооружений. При этом утверждал про отсутствие шансов, что она «может истощить советские материальные и интеллектуальные резервы и СССР политически и экономически развалится – весь исторический опыт свидетельствует об обратном». Но уже совсем скоро на каждом углу нам будут вещать об историческом опыте, который свидетельствовал о неминуемом развале, и что Союз был нежизнеспособным...

Не исключено, что Сахаров был и прав: едва ли гонка вооружений надорвала Советский Союз до его развала. Все-таки, как поняли позже, в этой гонке был импульс и к развитию, и не только. Началось другое: руководство СССР решило стать законодателем мировой моды на разоружение. Генсек Михаил Горбачёв в своем «катехизисе перестройки» – книге «Перестройка и новое мышление» заявлял, что пережитки старого мышления препятствовали налаживанию сотрудничества между странами. Главный же пережиток – восприятие войны как продолжения политики иными средствами. Рассуждал он и в духе классического утописта о том, что новое мышление должно привести к «ненасильственному миру». Все это в общих чертах было близко и Сахарову.

Перестройка воспринималась непримиримой войной нового со старым и преступным. Академик Сахаров подчеркивал, что «убежден в абсолютной исторической необходимости перестройки. Это как на войне. Победа необходима». Цель этой битвы – стряхнуть все ложное, искусственное, подменное – все это насквозь поразило страну и общество: «Народ проходил на протяжении десятилетий развращающую “антишколу”, приучавшую многих не работать, а только создавать видимость работы, приучавшую к лицемерию, лжи, эгоизму и приспособленчеству». Необходима своеобразная форма очищения и опять же покаяния. И одно из главных действенных лекарств здесь – правда: «говорить только правду и всю правду и всегда подтверждать слова делами».

На этой основе и создавалась идеология гласности, которая должна была создать в стране «новый нравственный климат». Гласность – отсутствие запретных тем и преследований за инакомыслие. Но рассуждать о том, что эта гласность понесет в том числе и гигантские потоки лжи, с которой гласностью и боролись, особенно не старались. Возможно, полагая, что есть благая ложь или ложь во спасение, ради важной цели...

Примат гласности переходил в постулат о необходимости открытого общества. Это понятие, по мнению Сахарова, включает в себя «контроль общественности за принятие ключевых решений (повторение ошибки вторжения в Афганистан должно быть невозможным), свободу

убеждений, свободу получения и распространения информации, свободу выбора страны проживания и места проживания внутри страны».

Он расшифровывает значимость «права на эмиграцию». Оно позволяет человеку «выбирать то социально-экономическое устройство, которое является для него наилучшим». Видел он в этом праве и «гарантию мира», будто эмигранты соединяли страны и убирали противоречия между ними.

Страна буквально впала в разоруженческий раж и грезилась тем, что достаточно стряхнуть с себя всё оружие – так сразу и ворота в мир благоденствия распахнутся через тотальную конверсию. Даешь кастрюли вместо атомных субмарин! Советский Союз был охвачен перестроечным мессианизмом. Перестройка будто бы спасала не только страну, но и весь мир.

«Наша перестройка спасает мир. Это безусловно», – писал в те годы писатель Алесь Адамович. Поэтому все договорные и разоруженческие инициативы, помимо конкретного прикладного значения, в первую очередь работали на сверхидею «к 2000 году избавить планету от войн». Это тоже цитата из Адамовича. Подобную цель он воспринимал вполне достижимой.

В реальности же этот наивный пацифизм уже тогда работал на установление однополярного мира, который погрузил планету в череду локальных конфликтов и войн. Мало того, в этом новом мироустройстве войну даже стали называть гуманитарными акциями. Помните про гуманитарные бомбардировки? Сейчас же та политика наивного утопизма и взгляд на мир через розовые очки общечеловечества привели к тому, что угрозы глобального конфликта не просто вернулись, но многократно возросли, а новое мышление куда-то испарилась без следа. Всё дело в том, что мир уже несколько десятилетий прожил без ощущения паритета. Россию принуждали к разоружению, стреножили её новыми обязательствами и старыми договорами, которые всё больше напоминали игру в одни ворота – ради архитектуры нового мироустройства. У нас и до сих пор многие испытывают комплексы по поводу наличия вооружений, будто бы стыдно это, дурной тон...

В те давние перестроечные годы все мечтали, верили несбыточному. Казалось, только сделай шаг, как попадешь в райские кущи мира без войн и без всего плохого. Поэтому тогда не очень прислушивались, например, к Александру Проханову, который в своей статье «Оборонное сознание и новое мышление» писал, что именно армия и военная техника спасут мир и человечество. Тот самый паритет. Но кто его и схожие голоса в те годы слушал, когда генсек общался напрямую с общечеловечеством, видные публицисты и писатели грезилась скорым наступлением эпохи без войн, а армию воспринимали тяжким наследием старого ветхого мира?..

Пацифизм и разоружение – общий настрой перестроечного времени. Вооружение – тяжкая ноша человечества, чем быстрее мы это скинем, хоть в одностороннем порядке, тем скорее в светлое будущее попадем. Та самая гонка вооружений сменилась гонкой разоружений. Хотя, как оказалось, побегал во всю прыть только СССР, остальные делали вид. Но Союз делал это столь самозабвенно и не оглядываясь, что времени и желания оценить ситуацию попросту не было. Важно было обзавестись тем самым новым мышлением, показать его всему миру и стать лидером. В чем-то это было похоже на космическую гонку, но, повторюсь, разница в том, что никто здесь не преследовал и не состязался.

Во многом это был одинокий забег, и нельзя сказать, что в Союзе от этого не получали определенное удовольствие и кайф. Все-таки новое мышление на кону. Вот и Андрей Дмитриевич повторял: «Нужно новое мышление человечества!» Все для того, чтобы «отойти от края пропасти всемирной катастрофы». Все это правильно вроде, но отошли ценой своей страны, принеся ее в жертву этому новому мышлению и тому же тезису о необходимости сближения капиталистической и социалистической систем.

В своем новом мышлении Сахаров в открытом письме американскому физiku Сиднею Дреллу «Опасность термоядерной войны» (1983 год) дошел до утверждения, что после 1945 года началась «общемировая советская экспансия» и сейчас усиление СССР обрело «масштабы, опасно нарушающие международное равновесие». Что остается? Ослабить... Но почему только Союз нарушал это равновесие? Эх, да, Афганистан. Вторжение в эту страну академик назвал «поворотом в мировом равновесии», это была поворотная веха и в его восприятии Советского Союза. Как бы он, любопытно, назвал в этом контексте возвращение Крыма в состав России в 2014 году? Таким же опасным поворотом?..

В итоге произошло нечто схожее с тезисом о том, что «потенциальный агрессор... может рассчитывать на недостаток решимости подвергшейся нападению стороны пойти на это самоубийство, то есть может рассчитывать на капитуляцию жертвы ради спасения того, что можно спасти». Советский Союз всегда декларировал, что первым ядерное оружие применять не будет, то есть как раз и примерял себе роль этой жертвы агрессии, только лишь умножив ее жертвенность. Страна столько раз повторяла «миру – мир!», что ради этого была готова на любую жертву и ее принесла.

На самом деле, это был серьезный экзистенциальный выбор, и СССР, пройдя через Великую войну, сделал его. Подобный вопрос регулярно появляется и в наши дни. Говоря о нем, президент Владимир Путин произнес свою знаменитую тираду: «А мы как жертва агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Потому что они даже раскаться не успеют». Так он расшифровывал суть российской ядерной доктрины, что Россия будет применять ядерное оружие «только тогда, когда удостоверимся в том, что кто-то, потенциальный агрессор, наносит удар по России».

Выбор, на самом деле, сложный и требующий большой воли. Всем понятно, что Россия первой нажимать на кнопку не будет. Это аксиома. Ее ядерный арсенал необходим в качестве сдерживания и акта возмездия, после которого будет выключен свет.

Если сдерживать не получилось и ракеты уже летят, то весь смысл только в возмездии. Получается, что Россия из собственного эгоизма и мстительности может погрузить весь мир в ядерный кошмар. Она, видите ли, не готова смириться с локальным ядерным кошмаром только на своей территории. Поэтому любые милитаристские заявления страны тут же трактуются как размахивание ядерной дубиной и угроза человечеству.

В этой логической цепочке Россия может выглядеть безусловным злом, потенциальным убийцей человечества, у которой нет и высших целей в нажатии кнопки, кроме мстительности и эгоизма. То есть убийцей без какого-либо серьезного повода. Соответственно у Штатов для пуска всегда есть высшая цель. И это уже не насаждение демократии, которое удобно для решения локальных задач. Здесь целеполагание

метафизического характера: покарать зло. «Империю зла» – титул, унаследованный нами от СССР, который также находился в подобной ситуации, когда уничтожение мира выглядит абсурдным, так как не выполняет никаких задач, кроме возмездия.

Возможно, из-за этого экзистенциального выбора в свое время и спасовал Горбачев. Он не захотел быть, пусть хоть и потенциальным, но убийцей человечества. Поэтому и заявлял о новом мышлении в ядерную эпоху и об общечеловеческих ценностях. Если ты сдался, то у тебя не будет возможности стать убийцей мира. Горбачев попытался изменить ситуацию, но в реальности запустил процессы уничтожения страны, только другими средствами.

Русские не мстительны, им легко можно запудрить головы идеей жертвенности. Есть еще и большая толика фатализма: увидев ракеты над головой – смиришься с судьбой, а она за грехи дана... Не исключено, что в этом и расчет всей психологической атаки этого экзистенциального выбора. Тут, ведь на самом деле, необходима величайшая стойкость. Зачем нужна стойкость блокадного Ленинграда, если просто можно было сдать город? Зачем стирать земной шар, если можно стереть свою страну, пожертвовать ей ради высших задач спасения всего человечества? Такое вот искушения предлагаются, и им, на самом деле, очень легко уступить. Тем более что, как нас убеждали, все империи обречены, а Советский Союз изначально был нежизнеспособным образованием...

А что Штаты в этой ситуации? За ними право первого нажатия. Фатум? Гнев олимпийских богов?

Им не задают экзистенциальных вопросов, которые мрачат душу и леденят сердце. В их арсенале сверхзадач: насаждение демократии, а затем зачистка зла. Все видели, как разрушился Мордор во «Властелинах колец»: он весь без остатка провалился под землю, но этот провал совершенно не затронул других земель. Будто опухоль вырезали. Вот и Штаты в этой ситуации вроде как не представляют угрозы миру, а, наоборот, являются носителем блага и высоких мессианско-хирургических задач.

В своем выступлении на первом Съезде народных депутатов СССР в июне 1989 году Андрей Дмитриевич говорил уже не о вселенской катастрофе, а о советском государстве на ее краю: «В стране в условиях надвигающейся экономической катастрофы и трагического обострения межнациональных отношений происходят мощные и опасные процессы, одним из проявлений которых является всеобщий кризис доверия народа к руководству страны. Если мы будем плыть по течению, убаюкивая себя надеждой постепенных перемен к лучшему в далеком будущем, нарастающее напряжение может взорвать наше общество с самыми трагическими последствиями», – и далее заявлял об огромной исторической ответственности. Памятуя о стилистике того времени, можно прочесть в этом высказывании и расхожий призыв к ускорению перестройки. Призывал, ораторствовал, а параллельно с этим в Китае происходили события, которые, как стало понятно позже, не только сохранили страну от обвала, но и перевели на качественно новый виток развития. А Андрей Дмитриевич Сахаров завершал свое выступление требованием отзыва советского посла из Китая. Последовательный гуманист и поборник прав человека, ради которых пусть весь мир провалится в тартарары, а советский и подавно. Советский не жалко...

До обвала он не дожил. А если бы дожил, то, скорее, объяснил бы все словами и аргументами того же Александра Солженицына о нежизнеспособности системы и тому подобное. Можно сказать, что потонул

в водах обрушившегося цунамического потока обвала, попал в его водоворот и начал транслировать только инерцию потока, стягивающего в себя все вокруг. Был академик Сахаров разный, но, к сожалению, все сводилось, в конце концов, лишь к оружию разрушения. Особенно когда вера и надежда, вначале глухой стеной, а потом и Афганом, была подорвана. По большому счету это была история государственника, у которого пути с этим государством категорически разошлись. Они попросту перестали слышать и воспринимать друг друга.

Сахаров закрепился в качестве символа нового в противостоянии с «агрессивно-попulistическим большинством» (очень популярный в те годы термин историка Юрия Афанасьева). Того нового, которое, на самом деле, было обычным утопизмом, продолжением веры хоть в Царствие Божие на земле, хоть в светлый образ мирового коммунизма. Формы и оболочки этого утопизма всегда менялись.

Ум, честь, совесть и атакизмы преступного прошлого, улюлюкающего, хлопающего, готового загубить и захлопать все что угодно. Таким Сахарова и запомнили, таким и чтят. Пророк и толпа. Он мог бы стать созидателем и на самом деле повести людей к звездам и хозяйственному освоению Луны, но так получилось, что в том числе и с его именем связана одна из величайших трагедий в истории человечества. Он стал той самой водородной бомбой для Союза. Одной из многих.

Его победой стала его смерть. Таков был общий вектор от водородной бомбы и до смерти большой страны. Знаковый характер его смерти, кстати, отмечает Анатолий Собчак в своей книге «Хождение во власть». Он писал, что «за Сахаровым пошли, когда его не стало». Собчак называет его «последним гражданским пророком», который «побеждает не борьбой, а собственной смертью. И за гробом пророка пошла вся Россия, шла вся страна». Его смерть на самом изломе большой страны воздвигла ему памятник и плотно закрепила образ мученика, страдальца, обретшего, благодаря своей настойчивости в борьбе, пророческий дар. Был ли Андрей Дмитриевич на самом деле пророком – большой вопрос, но его пророческий статус прочно закрепился в сознании многих.

Страна пошла за его гробом. Куда она зашла, мы в общих чертах знаем, как и о том, что уже в девяностые пришло на смену утопизму и мечтам...

Но может же быть не только романтико-утопической взгляд, но и прагматический. А что если в основе всех действий, поступков и высказываний – все та же извечная борьба за власть? Ведь тот же Сахаров принадлежал к элите советского общества, пусть и блудной, оступившейся, но его привилегированность никто и никогда не оспаривал. И не он один, но очень многие знаменосцы новых реалий были этими самыми советскими элитариями.

«И вот представитель высшей советской буржуазии предлагает отменить монополию на власть коммунистической аристократии. Для того, чтобы передать ее выборным представителям буржуазии. Себе и своим приятелям», – это герой Эдуарда Лимонова рассуждает по поводу речи Евгения Евтушенко на Съезде народных депутатов («Иностранец в смутное время»). За поэтом академик Сахаров предложил убрать из Конституции все статьи, мешающие наступлению свободного рынка...

«Давно, со времен Хрущева, эти люди каждый по-своему воюют за власть», – отмечает Лимонов. И логика поступков проста: отобрать у коммунистов и передать представителям своего класса – «советской

буржуазии знания». Сам ведь Андрей Дмитриевич говорил, что в стране существует «государственный капитализм с партийно-государственной монополией». Убрать ненавистную монополию, и в сухом остатке должен остаться тот самый капитализм или некий гибрид его с элементами социализма.

Именно на примере Евтушенко и Сахарова Лимонов пишет о попытках буржуазии вернуть себе власть в стране, она «зубами и когтями рвет плотки за власть». Причем, придя к власти, этот класс будет еще более безжалостный к народу. Его цель – власть, собственность и свободный рынок, а там «будь что будет». Будет радикальный эксперимент, который переплюнет насильственную коллективизацию, а «платить за новый эксперимент будет народ». Обо всем этом Эдуард Лимонов сказал еще в 1990 году.

По поводу Сахарова он писал, что его классовое сознание горело ярко и сильно, так оно было сформировано: «Господин академик Сахаров попал еще в юности в защищенную от внешнего мира атмосферу высокооцениваемых государством ученых-вундеркиндов: в жизнь спецпоселков, специнститутов». Лимонов отмечает его твердый характер: «Однажды взбунтовавшись, он не успокоился, не вернулся на службу к партократии. Последовательный, он выражает интересы своего класса».

Наблюдая по телевизионной трансляции за церемонией похорон академика, лимоновский герой протестует против сравнения Сахарова с Ганди и Львом Толстым. По его мнению, «Сахаров был бы врагом Ганди», ведь в своей деятельности он был полной противоположностью: добивался разрушения «советского многонационального государства», был последовательным «сторонником одностороннего разоружения Советского Союза». Сахаровская деятельность была «антинародной» и «направлена на разрушение сложившегося при коммунистическом абсолютизме относительного равенства». И все ради защиты интересов «своего класса – буржуазии».

Лимонов называет его «сумасшедшим ученым» – Франкенштейном. Тут и мотивация его была в принципе понятна: месть правящему советскому классу за то, что вынудил приложить руку к созданию бомбы. Так он искупил свою вину и свое причастие к смертоносному. Тоже форма мести.

Кстати, в семейном союзе Сахарова с Еленой Боннэр – дочерью «репрессированного в эпоху Сталина Секретаря Компартии Армении» в лимоновской книге усматривается особый символизм: «Союз третьего сословия, рвущегося к власти» и «стремящихся отомстить за отцов и дедов». Мстительность была могучей движущейся силой того времени, пробуждают ее заново и в наши дни.

Можно ли в этом аспекте говорить об Андрее Дмитриевиче как о совести нации и только лишь в превосходных степенях в силу привычки? Или он был одним из «молотков» класса советской буржуазии, которая пробивала себе дорогу к вершинам власти, которая хотела подверстать под себе всю страну, в которой невозможно жить без свободного рынка, без частной собственности... Никаких соплей, никакой романтики и утопического града Китежа, только прагматика, битва за власть и за место под солнцем. Буржуазия собрала все свои силы в кулак, который стал ельцинским молотком для грандиозного реванша.

## НИЖЕГОРОДСКИЙ ВЕНОК СОНЕТОВ

Поэты клуба Dark Romantic Club решили сделать свой вклад в предстоящее празднование 800-летия Нижнего Новгорода и написали венок сонетов о самых красивых местах города. «Почти бесконечное число – восьмёрка и два нуля, это определённо располагает к округлым формам и закольцовкам. Разные почерки, стили, манеры, биографии, литературные течения. Один на всех – Нижний», – именно так рассказали о своем новом произведении авторы.

### Анастасия РОСТОВА

#### Магистрал

Московский, проводи меня в метро?  
И вот мы с Горьким смотрим на Покровку,  
Где покрывало Нижнего пестро,  
Театр зовёт выгуливать обновки.

Смеются музыканты невпопад,  
В ларьке конфеты сормовские сладки...  
Над Стрелкой распускается закат,  
Играет ветер бусами канатки...

Ступени Чкаловки струной дрожат в коленях,  
Остры рога железного оленя,  
Задумчив катер с именем «Герой»...

Деревня-Нижний, Нижний-мегаполис,  
Где полюс, на котором успокоюсь  
И осень назову своей сестрой?

### Любовь ХОРЕВА

#### 1

Московский, проводи меня в метро?..  
До «Чкаловской», до «Ленинской», «Заречной»...  
Мне быть в него влюблённой – нехитро,  
Здесь я была студенточкой беспечной,

И признавалась поездкам в любви,  
И мерзла у звенящего гранита,  
Чтобы делить с уставшими людьми  
Лихую силу этого магнита...

И чудом, притяженьем ли земным,  
Метро меня несет к местам иным,  
И мысли нет, чтоб сделать остановку,

Но мне тут дорог каждый уголок.  
Я, вынырнув, продолжу свой урок,  
И вот мы с Горьким смотрим на Покровку...

## Надежда КНЯЗЕВА

### 2

И вот мы с Горьким смотрим на Покровку,  
На глянцево-рекламный разворот.  
Здесь чувствуешь себя как полукровка,  
Инкогнито вступающий в народ.

Мой путь – насквозь, почти бесповоротен,  
Но мне известно, что хранят внутри  
Зияющие ямы подворотен  
Между цветными стеклами витрин.

Здесь столько прошлых жизней – сплошь и рядом!  
Не бойся – ни пронзительного взгляда,  
Ни странных встреч на холоде ветров.

И площадь впереди, как плащаница,  
Где среди прочих есть и наши лица,  
Где покрывало Нижнего пестро.

## Лариса БУХВАЛОВА

### 3

Где покрывало Нижнего пестро,  
Гуляют толпы праздной молодёжи,  
Витрины блещут солнечным ситро,  
И я стремлюсь в толпу людскую тоже.

Зайти в великокнижный «Дирижабль» –  
Листать страницы, трогать переплёты.  
Чтоб, напившись мыслями, бежать  
На новые ступени и высоты.

Покровкой, через дымковский узор,  
К картинам, обживающим забор,  
К матрёшкам пёстрым с тротуарной бровки,

В ритм города, летящий выше крыш,  
Где яркими раскрасками афиш  
Театр зовёт выгуливать обновки.

## Наталия ЗАБЕГАЛОВА

### 4

Театр зовёт выгуливать обновки,  
Летит со сцены резвый башмачок;  
А в опере, балетной постановке  
Возносится над нотами смычок.

На лавке задремавший Евстигнеев –  
За зрителя – а за актёров мы:  
Грядущего приоткрываем двери,  
Из жизни удаляя споры тьмы.

По выходным бредём в потоке людном,  
Друзей встречаем счастьем обоюдным.  
С Белинки на Ошарку и назад –

До полноты и нежности заката.  
Кафе влекут на сладости и траты.  
Смеются музыканты невпопад.

## Арсений ГЛАЗКОВ

### 5

Смеются музыканты невпопад,  
Точней рапиры попадая в ноты –  
Веди смычком пиратский свой фрегат  
Над рифами, над рифами до грота.

Забор не отделяет нас от вод –  
Но берега туманные безвидны.  
Крадётся в темноте автозавод –  
Метро ступает рядом шагом длинным.

В маршрутке, в филармонии – толпа  
В хитине вся – от локтя и до лба.  
Вороны в зиму вспархивают с лавки –

Затвором щёлкать не сочту за труд.  
В зубах щербинка, в Павлово маршрут,  
В ларьке конфеты сормовские сладки.

## Надежда РУЧКИНА

### 6

В ларьке конфеты сормовские сладки  
И сладок воздух за окном ларька,

Где башня старой выщербленной кладки  
Глядит на задремавшие цеха,

Как дом колдуньи: сахарный горошек,  
Глазурь на стенах – заходи давай!  
Но по следам из белых хлебных крошек  
Догонит нас спасительный трамвай.

Он вывезет по сказочному лесу.  
Гордеевка в кольцо замкнула рельсы,  
Метро до Волги тянет свой шпагат.

Ты вылезешь из кокона вагона.  
Там, освещая контур стадиона,  
Над Стрелкой распускается закат.

### Екатерина МАРКУС

7

Над Стрелкой распускается закат  
Во все сто сорок солнц – и даже двести.  
Реки бугрится шелковистый плат,  
Всегда стоит и не стоит на месте.

Два цвета, две воды, лазурь и синь  
В одно – рубедо огненной тропинки.  
От волн на город наплзает стынть,  
С Рождественской восходит по Ильинке.

На небе акварели облаков  
Пылающих сменяют мотыльков,  
Со снedyю закрываются палатки,

И в сумерках, немного в стороне,  
Насвистывая розовой луне,  
Играет ветер бусами канатки.

### Юльхен ГЛАЗОВА

8

Играет ветер бусами канатки,  
Рябит стальная Волги глубина.  
В кабине, затуманенной и шаткой,  
Октябрьским утром я сию одна.

Плывут внизу осенние пейзажи,  
Горит и рдеет поздняя листва.  
На набережной кто-то вывел сажей  
Простые и бессмертные слова.

О, город между Волгой и Окой!  
Как я люблю твой утренний покой,  
Туман, прохладу, чувство обновления,

Когда я будто снова рождена,  
Когда, как в детстве, словно добрый знак,  
Ступени Чкаловки струной дрожат в коленях.

### Татьяна АРАКЧЕЕВА

9

Ступени Чкаловки струной дрожат в коленях.  
Закатный луч причудливой канвой –  
По абрису лица, и светотени  
Безбожно искажают образ твой...

Танцуй со мной, души живое пламя,  
Покуда чувства пепел не укрыв,  
И бесконечность обрисуй шагами  
По трафарету каменных перил.

Пусть танец твой туда его зовёт,  
Где за пролётом стелется пролёт,  
Под облаков причудливые тени,

Где Волга преградила путь Оке,  
Где, волей нынче модного Жоке,  
Остры рога железного оленя.

### Никита ДОРОФЕЕВ

10

Остры рога железного оленя –  
Неровно режут бледный круг луны.  
Скользя по ветру, звуки и движенья  
В осенний сумрак тонко вплетены:

Гудки междугородних электричек.  
Прощанья телефонные гудки.  
И провода цепляются за птичек,  
Как струны за гитарные колки.

Легко минуя пробку на проспекте,  
Танцует целлофановый пакетик  
Над злой автомобильной толпой.

По набережной мечется с укором  
Мятежный призрак синего забора.  
Задумчив катер с именем «Герой».

## Павел ПИКОВСКИЙ

11

Задумчив катер с именем «Герой»,  
Блудущий тайну городского сердца,  
Когда рассвет над Дятловой горой  
Займётся кровью Бога-Страстотерпца.

Заутреней вздохнут монастыри,  
На благовест откликнутся Печёры,  
И первые паломники – смотри –  
К слиянью рек слетаются, как пчёлы,

О, город мой, покуда ты молчишь,  
Твою свободу воспевают чиж,  
И пьяненький полковник ждёт свой поезд,

Унять пытаюсь волжскую тоску,  
По лету, солнцу, небу и песку...  
Деревня Нижний, Нижний-Мегаполис.

## Юрий ФЕДОТОВ

12

Деревня-Нижний, Нижний-мегаполис –  
Два мира, сопряжённых так легко,  
Что льётся синь, летает птицей голос,  
И Волга обнимается с Окой.

Сию в кофейне. Терпкий аромат  
Корней рогоза вновь манит к озёрам.  
Дух прошлого, как я, по-детски рад  
Тому, что может он окинуть взором.

Взволнован снами Щёлоковский хутор,  
И небо льётся островами в утро –  
Ещё страница, вписанная в повесть.

Я путник, я исследователь света,  
Меня заносит ворохом билетов.  
Где полюс, на котором успокоюсь?

## Анастасия РОСТОВА

13

Где полюс, на котором успокоюсь?  
Подбрось меня в ладонях, материк!  
Высотомер в союзниках и скорость,  
За мигом мы отыгрываем миг...

Лечу я – под мостом, над мерзлотою,  
Мой фюзеляж дрожит, но держит цель,  
Врезают крылья море золотое:  
Я рву меридиан и параллель...

Мой пульс не пробивается сквозь китель,  
Но где-то не объезжен истребитель,  
И жарко покидающему строй...

Сквозь масло ночи, мрак мазутно-чёрный  
Весну своей увижу наречённой  
И осень назову своей сестрой...

## Дмитрий ТЕРЕНТЬЕВ

14

И осень назову своей сестрой,  
Поскольку кровью с осенью повязан.  
Мы пили с ней на холоде ветров  
Тоску и боль, покой и радость сразу.

Когда стоял у «школы Баррикад»,  
Молчал у горельефа Мочалова  
(Текла к заводу сонная река),  
Мне так хотелось, чтоб трубило слово.

Как новый Пастернак по лицам ближних  
Я твой читал завет, рабочий Нижний,  
И жгло огнём мартеновским нутро.

И будто бы стоял на баррикадах...  
Шумит рекой вокзал, и ехать надо.  
Московский, проводи меня в метро.

## Алексей ЕВСТРАТОВ

Родился в 1974 году в Горьком. Учился в Пермском государственном университете (филологический факультет). Работал грузчиком, санитаром в психиатрической клинике, сторожем, журналистом, копирайтером. В настоящее время консультант в сфере рекламы и PR.

Публиковался в журналах «Урал», «Луч», «Знамя», «День и ночь», «Арион», «Воздух», альманахах «Искусство войны» и «Литературная Пермь». Лауреат премии первого форума молодых писателей Приволжского федерального округа, всероссийской литературной премии им. В. П. Астафьева (2011) в номинации «Поэзия». Дебютировал в драматургии пьесой «Мужчина без меча как мышь без сыра», вошедшей в шорт-лист международного конкурса «Евразия-2011». Сооснователь товарищества поэтов «Сибирский тракт». Участник проекта «Российский творческий и исследовательский центр искусства Нью-Эйдж». Живет в Перми.

МАЛЕНЬКАЯ ЖЕНЩИНА,  
ШЛЯЮЩАЯСЯ ПО МИРУ

Монопьеса

На сцене чемодан – старый, выдавший виды. Рядом на пластиковом стуле сидит женщина, ей лет 60–65 на вид: седые, чуть вьющиеся волосы, юбка ниже колен, кофта с большими пуговицами, простые туфли. Женщина с любопытством разглядывает зал, сложив руки на коленях.

Уф. Ну всё, наконец! Я уж думала, ни за что не доберётесь! Сейчас начнётся. Ну как: уже началось. Это ненадолго! Часик потерпеть – и всё кончится.

Удивительно, да? Сидишь в зале: и вроде всё началось, столько впереди! А так посмотреть: кончилось всё, что было. Оно есть – только идёт своей дорогой без тебя, где-то там. Как – ты и знать не знаешь.

Всего и есть – что перед тобой. И вокруг, рукой подать, слева-справа: люди, люди... Тоже ждут чего-то. А чего ждут, когда всё началось – и кончилось уже? *(Достаёт из-под кофты стеклянную фляжку, делает глоток, прячет фляжку.)*

Хорошо, что дошли. Вы мои молодцы! Сейчас-то вы, конечно, не те. Раньше и танцы, прогулки. Очереди. Стоять сложнее, чем идти. Человечек вообще стоять не любит: лучше идти неизвестно куда, чем стоять. Ну или сидеть – как вы сейчас – тоже хорошо!

Интересно: когда человек сидит – ноги что делают? Тоже вроде сидят. Или стоят? *(Вытягивает ноги.)* А вот так – вообще лежат *(кладёт ноги)*. Вы мои молодцы! Добрались. Правая! Левая! Особенно пра... *(прислушивается)*.

Что-то объявляют... Не, не посадка. Родители ждут возле стойки регистрации. Ох, матери каково! В слезах! А отец? Сам рычит на неё – «потеряла ребёнка!» – а внутри вдвойне виноват. Отцы такие *(машет рукой)*. Найдётся малец, не на войне! *(Смотрит на часы.)*

Час ещё. Потом самолёт, и – встречай, Исландия! Да. Но это вряд ли. Шинед-то я написала, но без ответа. *(Пауза.)*

Я своего отца не помню. Мама рассказывала: кучерявый был. Да как-то на спор с мужиками ведро воды выпил. Только это и помню. Меня, значит, родил. Ведро воды выпил. И сбежал! Куда? *(Пожимает плечами.)* До ветру, видать. Шутка: ведро выпить! Пошёл пописать – да до сих пор и... Мне год был или около того – с тех пор мама его и не видела.

Да она и раньше его не видала. Мама у меня была слепая. Она вроде как оспой болела в детстве, десять лет ей было – и стала слепнуть. Ну и – так потом всю жизнь и прожила: в темноте.

И умирала в темноте, ничего не видя. Это, я думаю, очень страшно: всю жизнь не видеть солнечный свет и умирать в полной тьме, не видеть свою дочь. Своего мужчину. Как они познакомились, интересно? Она не рассказывала.

А ведь интересно ей, конечно, было: какая я, дочь? *(Пауза.)* Она и моего мужа не видела: а ведь новый человек в доме, считай чужой! Хотя с Иваном у них и так бы не сложилось: не нравилось ей, что он был до меня женат и развёлся. Про детей его слышать не хотела, пусть они и жили с его бывшей в другом городе.

Так подумать: ну увидела бы – стало б по-другому? Иван был очень обаятельный, настоящий мужчина. Но... А вот Генку моего, внука, очень любила и всегда заступалась, что бы ни натворил. Не глядя – в прямом смысле. Всё спрашивала, какой он. Волосики, глазки да как я его одеваю.

Цветы различала по запаху: я всё время приносила, люблю. Оказывается, одуванчики тоже пахнут! *(Пауза.)*

Мама говорила: самый большой страху неё был в детстве, когда сказали, что она ослепнет. Боялась засыпать: вот уснёт, проснётся утром – а уже ничего нет. Ничего не видно. Всё пропало. А как всё пропало – это она не рассказывала, нет.

Это ведь очень важно: чего ты больше всего боялся в детстве. Потому что с этим ты потом и живёшь.

Мне лет шесть было, когда меня из садика забрала соседка. Привела, и я сразу увидела много чужого народу, все толпились и делали какие-то дела – молча. Это мамина тётка, она с нами жила, померла.

Напугала меня не смерть – в силу возраста я ещё не понимала, что произошло, – а чужие люди вокруг. Много чужих молчащих и шепчущих людей.

Все вокруг чужие: ходят, стоят возле тётки, смотрят. Всхлипывают, курят. А тётка вот она – здесь! Лежит на кровати. А с ней никто не говорит, будто её нету. Вот же! – но нет.

Никто не обращает на неё внимания: вроде и глядят на неё – но не ради неё. А ради чего тогда?

Как на речку: мы же не на речку смотрим, когда глядим на речку. И не на воду. Просто куда-то... В никуда, которое выглядит как река.

Ведь если подумать – реки нет. Того, что мы называем рекой. Берегами. Это просто мы придумали. Ни одной реки нет.

Тогда, стоя среди чужих людей, я как-то остро поняла, что если ты умер – то тебя нету. И не было никогда. Поэтому умирать нельзя.

Достаёт фляжку, прихлёбывает, прячет фляжку. Спыхватывается, открывает чемодан, ищет там что-то. Достаёт пустой полиэтиленовый пакет, подворачивает края, кладёт перед собой на пол – как шапку для сбора мелочи.

Вот так, что ли... *(Смотрит на пакет, подвигает ногой чуть от себя.)* От так *(закрывает чемодан, складывает руки на коленях)*.

А мама умереть очень хотела. Сейчас, пишут, стало попроще. Лекарства, хостелы эти – ну, где живут, чтобы умирать не больно. Думаю, с этим и сейчас не всё ладно: страна у нас такая. Жить человеком тяжело, но можно. А вот умереть!

Я, как могла, договаривалась: потому и из поликлиники не уходила, хоть зарплата была маленькая. Но там можно было договориться, насчёт лекарств. Все знали. Кто-то помогал. С врачами договаривалась: тут ампула, здесь... Да только что это?

А я ходила, унижалась. Выпрашивала, на коленях стояла. На этих *(смотрит на свои колени, гладит их)*. Тогда тоже – взяла с собой маленького Генку и пошла. Знала: там есть. А у меня рецепт. А там – дефицит. Сейчас уж нет такого слова. И дефицита нет. Денег разве что? А тогда был дефицит всего. А в той аптеке было нужное лекарство. Мне наши в поликлинике шепнули, и я пошла.

Генку взяла, одела так – посимпатичнее, бедненько – но чисто. *(Пауза.)* Я ей рецепт – она мне нет. Я снова – она нет. Заведующая к нам вышла. Я не могу, слёзы: есть, есть у вас, есть! Я ж знаю! И она знает, что я знаю! Они все там меня знали... И про маму. А у них дефицит. Больше нормы не выдавать! Значит, нет.

Какая норма? Какая норма, я говорю?! Чего норма?! Сколько часов норма умирать, как... Я её боялась. Маму. Она страшная делалась тогда. Драла наволочки зубами, как сумасшедшая. Руки грызла. Ходить не могла, плакать не могла. Просила: Лидочка, солнышко... Помогите! Помогите, не могу больше. А я... Так ей помочь не могла. Не смогла бы. Никак не могла. *(Собирается, говорит сухо.)*

Я на колени: знала, что так будет. Генке дома наказала, чтоб жалостнее выглядел и тоже ревел. А он так перепугался – забыл, что я говорила. Дёргает меня: мам, пойдём! Я его на колени: стой, говорю, никуда отсюда не уйдём, пока не продадут! Не уйдём – и всё!

Что вы, женщина, истерику устроили? – она говорит. – Вы не одна. Много кому надо!

А я б не ушла. Генка сильно перепугался: заикается, за рукав тянет – вот упадёт. Пять лет ему было. И вот мне... Так жаль его стало: ему это за что?! И маму жаль. А кто нас жалел-то? Когда? Эти?! *(Кивает наверх.)* Нам от них и не надо. Любви нет – какая жалость? *(Пауза.)*

На следующий день мама умерла. Я была на работе. Иван, конечно, тоже. Генка в садике. Так одна и ушла. Уж как ей было – думать не хочу. Мамочка моя... Мама.

Мамулечка! Это меня Генка так звал. Вцепился – не оторвать. Только: «Мамулечка-красотулечка» – всегда так, когда приластиться хотел. Впился так ручонками: ручки худющие, тоненькие... *(Грубым голосом, почти мужским, резко.)* Синячищи от такенные! Одна не шевелится:

переломана в трёх местах, это мне доктор сказал в госпитале. В заключении, правда, другое написал.

Да только б руки! Я лица не узнала, и даже по голосу... Думала: ошиблась, – сначала. А медсестра в койку тычет: вот, мол. Это? – говорю. – Да нет! Не может быть! А он: мамулечка!

Не отходила от него. Когда в сознание приходил – говорила. А так – пела.

Частушки с детства люблю! Эстраду нашу, советскую. Шинед я потом уже начала петь, много позже.

Её я и на улицах исполняла, и в кафе. Смеялись сначала, потом приходили специально слушать. И на корпоративах: меня приглашали.

Нотин компэрс, конечно. Я её самую первую слышала тогда. Но и... и... и... *(Проговаривает названия русскими буквами транскрипцию названий песен, комично.)* Про зомби у меня тоже очень хорошо получается, но я её редко пою: страшно, и у людей мурашки по коже. Мало кто любит мурашки. Вы любите мурашки? Тогда я иду к вам.

Бегу. Долго я на одном месте не задерживаюсь. Я если долго в одном месте пою – маета подступает, ноет под сердцем. Жует дёснами беззубыми. А кто у нас беззубая? Она! *(Кивает за левое плечо, оглядывается.)*

Находит меня – а брать не хочет, дразнит. Гонит с места. И я бегу! Со всеми своими вещичками и мурашками – бегу. Уж я так просила, чтоб она прибрала меня – а та не-ет! Нравится ей так.

Идёт за мной – на песню. Как слепая на колокольчик. А я не петь не могу: нет хуже муки молчать мне, в себе держать!

Вот я и бегу, шляюсь по миру где-нито. Я маленькая, мне легко! Богатым пела и очень богатым. И так, чужим людям. На корпоратах зажигала, да. *(Кривляется, изображает танцевальные движения. Смотрит перед собой, переводит взгляд на пакет.)* Благодарю.

Смешные богатеи! Всё разудало так у них, этак разгульно. А я вижу: к ним она тоже идёт. Своими глазами: тот отойдёт скоро, этот уже, считай. Дура, даже сказать пыталась. Одному. Ради жены – та молоденькая такая была, пузатая.

На меня похожа, когда я с Генкой... Я с ним долго ходила, чуть не месяц лишку! Ленивый был, умненький. И верно: лучше, чем в мамке, – где ему ещё? Всё хорошо понимал! *(Пауза.)*

Говорю этому, с женой: идёт за тобой, гляди в оба! Отмахнулся: сама иди отсюда! Тебя не пить звали, а петь! А я и не пью – ну, так... А девчонка послушала, такое у неё было лицо. Схватила его за руку, плачет. Тот завёлся: прогнали меня чуть не пинками, не заплатили. Довела беременную, баба-дура, нажралась – пшла вон!..

Я и пшла. В новостях потом вижу: разбился. Вместе разбились. Троих она разом забрала. Я с тех пор никогда больше не говорила. Никому. Порой думаю: девчонка та, может, из-за меня? Про неё-то я ничего такого не видела – а она мужика, видно, оставлять не захотела. А беззубой – ей что? Коса косит, баба новых носит. *(Пауза.)*

Вот говорят: Шинед приняла ислам! Мол, чего ей там в Исландии со своим исламом? Не сидится? Всю жизнь пела – а тут на!.. А чего ислам? Дед у меня тоже в партию вступил: а кто его спросил – хотел он? Да и Иван. Но он потом вышел, когда меченый всю эту катавасию заварил.

Так что... Что исландцы – хуже татар? Татарам можно, а этим нельзя? Я так считаю: пускай. Пускай! Тяжко девке, не захочешь – под платок

полезешь. Под платком вроде как спокойно, тишина. Так повяжешь – и ровно под куполом, отгородилась, – и сама себе человек, и просто спокойней. Даже будто море в ушах шумит.

Шум. *(Пауза.)* Помню, на вокзале, на Урале было. Дли-и-инный такой поезд, вагоны старые. Народу вокруг! Плач, крики. Думала: солдатики, подошла. А нет – не солдатики! Окна зарешечены. Псы голосят, и вокруг уже – с автоматами мальчишки. И как начали людей с фургонов выгружать – матушки, сколько их!

Такие, сякие, молодые, старые. Да как же много их, господи! Неужто столько злодеев на Руси? Нарколыги понятно – этих я насмотрелась. На тех же корпоратах. Но здесь – на вокзале – я ни одного оттуда не видела.

И такая жуть! Гляжу – и будто никого. Нет их. Тени! Ни живые, ни мёртвые. Потому и псы лают: чуют, чего нам видеть не дано. Вычеркнули людей, кого осудили – всех вычеркнули. Нет их больше среди нас.

Вагонами тени везут, а ведь им вагон не нужен: махни рукой – полетел! А махнёт рукой человек в погонах – и тени не останется. Такая доля. Как же, думаю, так? Разве так можно?

И слышу – поёт кто-то. Я пою.

Поёт.

Ехал цыган на коне верхом:  
видит, девушка идёт с ведром,  
Посмотрел в ведро – там нет воды.  
Видно, мне не миновать беды!  
Ай-на-нэ, на-нэ, на-нэй, на-нэ!  
Ай-на-нэ, на-нэ, на-нэй, на-нэ!  
Ох, теперь не миновать беды!

Качает головой, шепчет что-то неразборчиво. Глядит на пакет, кивает.

И покуда пела – всё вагончики мимо меня. В куда уж неведомо, в какую чужую даль, в дальнюю тень смертную. На свою войну. И всё те смотрели в окна, всё слушали, головы непокрыты – прощаются. Вертхай только с собакой рыкнул на меня, да старший одёрнул. Ну, суди его бог, рыкающего! Суди его бог. Не родился же он таким, тоже был человек.

И везут их, и тянут. Едут и едут. В окнах глаза: ровно огоньки в сумерки. А больше ничего. Так рыбки светятся ночью под глубокими волнами, в чёрном море. *(Замолкает, прихлёбывает из фляжки, прячет.)*

Я была на море. По путёвке два раза с Генкой ездила в санаторий, в Анапу. А уж без меня Генка ездил в пионерский. Ой ревел! Он же такой, домашний у меня. Был. Слезами заливался, мне вожатая их говорила на родительский день: с утра до вечера! И пока я там была – всё ревел, даже гостинцев ему не надо. Только: заberi меня!

Миленкий мой, да я б тебя забрала! Отовсюду бы тебя забрала – да не смогла я, прости меня! Как же тебя заберёшь – теперь! *(Пауза.)*

На море шум другой. Люди, волны, кажется – даже солнце шумит, хорошо так! Когда уезжали, Генка учудил. Я с девчонкой там сдружилась, она работала в столовой на раздаче. Смешливая, сбитьш такая, егоза!

Генка ей глянулся: загорелый, он белобрысый был одуванчик. Застенчивый. Зина её звали. Она ему всё добавки норовила да вкуснень-

кого отложит: булку или там персик какой. Компот. А он сторонился её: он с незнакомыми людьми вообще не очень любил, ему больше книжки. Не разговаривал.

И вот на прощанье Зина расстаралась: сделала для него пирожное из крема. Красивое! Грибочки-листочки. Ягодки. Шедевр! А он съел молча, как всегда. Глянул на неё и звонко так – на всю столовую – говорит: Зина – корзина! Зина – корзина!

Шесть лет ему было. Ни слова не сказал ей за две недели – и тут на тебе! Зина корзина! Я смотрю: у неё слёзы на глаза, такие крупные. Я аж загляделась: красиво! Ну, жаль её, конечно.

Что ж ты, говорю, засранок такой, кто тебя так спасибо учил говорить? Всыпала ему. Так мне неловко было, так перед Зиной стыдно!

Потом он мне сказал, это уже когда дома были, когда вернулись. Это он стих для неё сочинил. Сам! Зина – корзина. Порадовать её хотел. Он же не знал, что это уже до него тыщу раз сочинили по другому поводу. Смех и грех! *(Пауза.)*

Море, я говорю, шумело. На море я с Иваном познакомилась. Вот кино! Он после развода приехал туда: нервы поправлять. А я с подружкой. Ну да, нервы. Видела я этих поправляльщиц! Он мужчина видный был такой – тридцать лет, брюнет, плечи!

Он же из деревни, пока в институт не поехал поступать, – всё там, на чернозёме своём. На молоке. И выхаживает такой по набережной. И я – с Урала: бледная, тонконогая, глазищи – во! Не уйдёшь! Он инженер, авиационный, почти космонавт! Я – студентка медучилища, детство в бараке, мать слепая, отца не помню! Дерзкая! Не уйдёшь!

Я с детства белобрысая была, как альбинос. Только у них глаза красные, а у меня серые. И брови: брови чёрные у меня были всегда. Сколько в школе меня ругали! Матери жаловались: опять она у вас брови красит! Мать не видит, но всыпет мне, понятное дело. Я реву: мама, честное слово, не красила я! Они у меня всегда такие! *(Смеётся.)*

В общем, познакомились с ним. Всё время гуляли: только на меня смотрел! На катере катались, экскурсии. Всё про себя рассказал: как жил, как учился-женился. Двое детей у него, мальчик и девочка, тогда уже были.

Жена гуляла, он всё сам с детьми водился. Ну, водись не водись, а если мать красиво жить хочет да по мужикам... Короче говоря, развёлся он с ней. Стихи мне тогда писал, один я помню:

Изгибается дугой,  
воду пробует ногой.  
Капли каплют с ноги,  
по воде идут круги.  
Мужики на берегу  
пялят зенки на дугу.

Пауза. Притопывает, взмахивает рукой, как после частушек.

Эх-ма! *(Качает головой, заглядывает в пакет, пересчитывает мелочь.)*

А вот Генке он не писал. Как в армию забрали – ни разу. Я от него приветы передавала, а он – ни в какую. Не хочу, говорит. Не буду, понимаешь. Чего рассусоливать? Только нервы мотать. Сама пиши!

Переживал страшно, ночами не спал. Засядет в туалете – и курит. И курит, курит. Я встану ночью, стучу: открой! Он открывает: господи! Дым-то аж падает на меня, стеной!

И этот сидит, как чёрт на насесте: чего тебе? А в дыму только глаза видать, больше ничего. Как ты, говорю, мимо рта-то сигаретой не промахнёшься? Чего ты устроил? Нормально, не промахиваюсь, говорит. За столько лет ни разу не промахнулся!

Он с первого класса курил, деревенский. Генка родился – хотел бросить, у него ж алименты были на двоих, жили бедно. Не, не как все сейчас: бедно! А вот прям: бедно. Я на двух работах: медсестрой у нас в поликлинике, там же полы мыла, дежурства брала сколько могла. *(Пауза.)*

Генка в третьем классе учился, помню, день рождения у него. Денег нет совсем – ну совсем. Да как же без подарка? Купила бутылку лимонада. Коржик молочный. И мяч для хоккея с мячом. Он ни в какую секцию не ходил, Генка, он всё такой был – то начнёт, то бросит. А почему для хоккея с мячом? Твёрдый такой, оранжевый.

Лимонад я купила, коржик. Но надо же что-то подарить? Не должен ребёнок в день рождения без подарка, это как... Замуж выходить без свадьбы. Как... В старости без детей. Вот так.

А в кошельке пусто. Иду мимо «Спорттоваров», зашла. Шашки-шахматы, клюшки-лыжи – да что говорить. Всё денег стоит. Я и не вижу ничего: слёзы на глазах, что ж я, думаю, за мать такая! Почему так?!

А продавец – дядька в возрасте – смотрит на меня, говорит: Чего тебе? Что у вас, говорю, самое дешёвое есть? Чтоб за три копейки – на подарок? Сама реву! Будто на похороны покупаю. Дядька не сразу понял. Покопался что-то, нашёл мне этот мяч: как апельсинчик маленький, яркий такой. Даже красивый! Где у вас, говорю, отбивать? Где касса?

Посмотрел так на меня, бровями помахал. Иди, отбивальщица, говорит. Касса тебе! С днём рождения! *(Пауза.)* Но я упёрлась. С детства такая: чужого не надо!

Мама так воспитала. *(Поправляет лежащий на полу пакет, провожает кого-то взглядом.)* Мы в деревне жили. А я всё бледная была – и мел, помню, жрала. Прям жрала! В школе дразнили все. А я дома наколупаю тайком от матери да в рот. Ей чего – не видит. А мне – надо! Организм просил, не хватало чего-то, значит. А чего? *(Задумывается, пожимает плечами.)* Мела и не хватало! Где у человека мел в организме? В волосах, наверно. Я белобрысая была – видать, для цвету надобился. В старости, выходит, переизбыток его. Надо, значит, сейчас уголь есть – от седины помогает. Должно помочь...

И вот я обколупала в гостях у соседей печку – как моль объела! Хозяйка увидела – и к матери. Твоя гусеница, говорит, бледная, печку нам обожрала. Только белили – хоть по новой опять! Мать мне: иди сюда! Я: мама, я не виновата! Оно само! А мама: иди, говорит, к печке – хоть все кирпичи обглодай! Только с нашей! Чужую – не трожь! Строгая была и нас так же учила. Кирпичи обглодай! Она ж не видит, а там и так всё... *(Смеётся, молчит.)*

Не надо, говорю, я сама куплю! А дядька смешной: я, говорит, ещё никогда девушке хоккейный мяч не дарил! Запомню этот день навсегда! Смеялся. Симпатичный, наверно, был – не помню. Копейки какие были высыпала, мяч схватила – и домой.

Оставила всё на столе: бутылку, коржик, мячик этот в бумагу цветную школьную завернула – вроде как сюрприз. Записку написала, что на дежурстве, и ушла. И с улицы гляжу, издали.

Смотрела, как пришёл Геночка, как свет в кухне зажётся. Какое у него лицо? Как он там? Думаю, плачет наверное. Один в день рождения, ни гостей, ни подарков. Господи, да пропади всё пропадом! Да лучше б я умерла! Зачем я замуж вышла за женатика бывшего: всё его детям отсылали, алименты проклятые, самим жрать нечего – а туда же! *(Прихлёбывает из фляжки, прячет.)*

А Геночка мне потом спасибо сказал. За что, сынок? – Такой у меня хороший был день рождения! – А что тебе понравилось? – А то, говорит: у меня всё было – и всё моё. Лимонад вкусный, коржик, и дома тихо так. Я книжку читаю – и вас с папой жду, когда вы придёте. Тихо так – и всё моё. Всё было – и всё моё. *(Пауза.)*

Я... Грела ему уши на присяге, ладонями. Их построили на плацу. Лютый мороз, на всех шинели, ушанки. На шапке, на плечах снег уже сугробиками. Я смотрю: уши у него синеть начинают, колотит всего.

Я сзади поближе протолкалась, тихонечко так подошла и ладонями – раз! – уши накрыла. А он так замёрз, что даже не сразу почувствовал. Потом понял, а головой вертеть нельзя! Я руки отняла и шепчу ему: Геночка, это я, я! Всё хорошо, стой. И снова – ладонями. И он стоял. Только иногда так шеей двигал, будто потереться пытался. Как кот. Котёнок мой, такой стриженный, худой.

Через полгода его и убили. Как котёнка. *(Долгая пауза.)*

После гречки... *(Осекается, откашливается с усилием.)* После гречки рот всегда полощи – это он мне перед смертью сказал. В госпитале. Чего, говорю? Что ты, сыночка?

А он мне: я, говорит, вижу, ты хочешь, чтоб я что-то сказал. Не знаю, мол, что сказать. Вот сказал, что в голову пришло. И больше он ничего не говорил. Не приходил в себя.

Я ведь пошла тогда гречку есть. Думаю, может, он чего имел в виду. Загадка какая или намёк. Сажу в столовой, на первом этаже, ем её и реву. Реву и ем. Так я её не очень люблю, а тут прям три порции – одна за другой. Вся уревелась!

Солдатик на раздаче, стриженный такой головастик, за третью уж денег с меня не взял. Может, чего другое возьмёте? Я головой мотаю и в гречку пальцем тычу: давай!

Думаю, сейчас доем – и рот полоскать пойду. Вдруг лучше станет? Тут врач заходит, видит меня... Такую всю. Вам кто уже сказал? – недовольно так. Я ему: чего? А сама уж поняла всё. Но не поняла, нет. Он так смотрит и говорит: идите попрощайтесь, потом не пустим, не положено.

Тут меня и не стало... Долго не было, говорят, два дня. Что я делала, где была? Не помню, не скажу. *(Пауза.)*

Гречку он не любил никогда. У него манная каша была любимая. Полкастрили мог умять! Я её сама не ем. И как я готовила, ему не нравилось. Вот когда Иван – да. Я всё гадала: что такое?

Сахара добавлю и вареньем чего-нибудь нарисую, рожицу или что. И двумя вареньями! Съест их, а кашу так: сидит, ковыряет. Ты почему кашу не ешь? Ты же её любишь? – Я у папы люблю. Свари как папа! Я к Ивану: что такое? Он хохочет, довольный, дразнится. *(Улыбается.)* Такой он. Не скажу, говорит! Потом!

Уж сильно после рассказал: варил кашу да отвлёкся – курить пошёл. Вернулся – не заметил, как подгорела. А Генка на эти поджарки и запал! Всё выскреб с самого доньшка, начисто!

Иван ему другой раз варит: тот нос воротит! Хочу как тогда! А как тогда? А там такие коричневые штучки вкусные были! Что ты будешь

делать! Ну Иван стал ему специально такую делать, с поджарками. И ведь, говорит, нарочно захочешь – не получится, а раньше, когда не надо, так хорошо подгорала!

Я думаю, в жизни часто так. Удивительно: как так получается, что не получается, когда очень нужно, чтобы получилось? А когда оно уже вроде и ни к чему... *(Хмыкает.)*

Вот я? С малолетства хотела двух вещей: быть артисткой и путешествовать. Когда мы в город переехали, мать меня в хоровое училище пристроила, по благу – через общество слепых. Два года проходила, потом маме тяжело стало самой по дому, пришлось бросить.

Да не ахти получалось. Так я вроде дерзкая была, а в пенье – как замыкало меня. Дома для себя – да, и маме нравилось. А на людях – покраснею, и как замок у меня на губах, будто дверь в голове закрывается, и – не пройти!

Разные страны хотелось повидать. Мечтала: стану артисткой – ну или, например, певицей – все страны объезжу! Орден получу от правительства. Буду трудящимся и детям всего мира помогать. Ездить в братские страны. В другие тоже. Вдохновлять их на борьбу! И про любовь буду петь, и танцевать!

В кино я не хотела – я хотела на сцену. Видеть всех, чтоб они меня видели – и я пою, танцую! Про любовь! Про мир во всём мире! Про детей и про счастье! И про детское счастье! Про счастливое будущее – которое вот-вот наступит, нужно только ещё чуть-чуть больше постараться и потерпеть! Всё, всё получится... *(Осекается.)*

Вызовут меня в Кремлёвский Дворец съездов, будут аплодировать. Орден дадут, конфет, почётную грамоту. С мамой в санаторий съездим. Жалела, что не увидит она меня.

Я в медучилище пошла, чтоб за ней ухаживать. И надеялась: выучусь дальше, стану врачом – а там, глядишь, что-то такое изобретут, чтоб она видеть начала.

Генка тоже. Маленький был, мы с Иваном кино смотрели, и он на полу играл. А там умер кто-то – в кино. Слышим: Генка ревёт. Тихонько так, но горько! Мы к нему: что? А он: папа, я вырасту, стану врачом – изобрету лекарство, и ты никогда не умрёшь! Не хочу, чтоб ты умирал! Ну, в общем, всё так и вышло.

Я пою. Страну объездила. Аплодируют. Чаше, конечно, наливают – да я не пью. Не, это *(показывает на кофту, где спрятана фляжка)* вы не смотрите. Не танцую – так это ноги болят. А стеснения нет – нет у меня замков. Лопнули железные обручи. И как отец умер, Генка тоже не увидел. А орден... С орденом ничего. Вместо ордена – пособие. Так они это называют. *(Пауза.)*

Они вообще всё по-своему называют. Для нас у них *(тычет пальцем вверх)* отдельный язык: чтоб мы понимали, что нечего с вопросами лезть. Полезешь – так ответят, что понятней не станет. Одно ясно: дурак ты, дурак и есть. Другой раз не суйся, делай что велено, правда вся в бумагах написана. Сколько бумаг – столько правды. *(Пауза.)*

Ведь вы же люди! Лю-ди! Или не люди? А кто? *(Пауза.)* Зомби. Кто ещё к детям может так? К матерям?! Мыслей своих нет, совести, памяти – ничего. Всё по указке. Сами, что ль, они детей на смерть посылают? Им это надо? Не-ет! Это внутри у них зудит: надо! Надо, давай! Давай, пока вперёд нас те не успели! Ничего не жалко, никого: только марш, только – давай! *(Пауза.)*

Как котики. У нас был Кузька: пальцем поскребёшь – он уши наводит, попой так водит – толстый был. Жирный. Резвый, но дурной – точно генерал. И – бежи-ит на палец! Прискачет, обнюхает... А дальше чего? Нужен он ему, палец-то? Кузьке?

Тут другим скребёшь: с другого боку, чтоб не видел. Этот опять скачет, в другое место. Весь вечер так бегать мог. А тоже, поди, думал, что главный. Может, думал: медаль дадут. Усищи такие!..

Сейчас у генералов усов нет. Не положено. Зачем зомби усы? Надо будет, наклеят. Подкрасят и рот зашьют. Чтоб черви не лезли оттуда, надо плотно зашить. Чтоб мысли, мысли никакие не отложились. Черви – бурлят у них там внутри! Мысли перемешивают, чтоб ни одна надолго не задержалась, чтоб не думать их. И так они – шевелятся, вперемешку. Черви-мысли, мысли-черви... Как же он сам? Он не сам. Черви за него! *(Пауза.)*

Кузька помер – прикопала его в огороде. У рябинки, где заборчик. Толстый был, а помер – тряпочка мохнатая. Как похудел сразу. Стала класть, а он твёрдый, не согнуть! Тьфу, пропасть, опять копать! Не влезают. Чуть спину надорвала, осень, декабрь уже вот, земля промёрзла.

Генку не помню как... Но я была там, мне говорили. Видать, не я это была. В койке лежал худой, бледненький – где синяков нет. Ни разу генерала с синяком не видела. Кто ему поставит? Маршал? Этот может. А маршалу?.. А тому кто? *(Пауза.)*

Я и мёртвого генерала не видела. Не бывает их! Генералы, они ж не умирают! А интересно бы поглядеть.

Поёт-голосит.

Зо-ом-би! Зо-ом-би!

Зо-ом-би! Би! Би!

Все зомби! *(Прислушивается, оборачивается, машет рукой.)* Да знаю, знаю! Да всё! *(Снова садится прямо. Заглядывает в пакет.)*

Вот спасибо. Это-то не то что... Это из-за бразильянцев всё. Ну они уже улетели: ждали тут, весёлые! Топчутся чего-то, смеются. Я помню: всей деревней мы эту «Рабыню Изауру» смотрели, я страсть как там песню любила!

Напевает.

Lere-Lere, Lere-Lere-Lere,

Lere-Lere, Lere-Lere-Lere...

Жизнь черного человека трудна.

Да, это реально очень тяжелая жизнь!

*(Прихлопывает в ладоши.)*

Ungazun garunge ungazun garunge,

ungazun garunge ungazun garunge.

Zambebe garunge ungazun garunge,

zambebe garunge ungazun garunge...

Эти-то, услышали, я пою – загорготали чего-то, хохочут, в ладоши бьют!

Раскачивается.

Лучше помереть в ночи,  
Нарваться на засаду убийц  
И быть забитым до смерти,  
Чем жить без тебя!

Оглядывается по сторонам, чуть сбавляет голос.

Lere-Lere, Lere-Lere-Lere,  
Lere-Lere, Lere-Lere-Lere...  
Жизнь черного человека трудна.  
Да, это реально очень тяжелая жизнь!

Кивает.

Негритосики-то эти танцуют ещё, да красиво так! Задорно! Народ в ладоши хлопает, весело!

Ungazun garunge ungazun garunge,  
ungazun garunge ungazun garunge.  
Zambebe garunge ungazun garunge,  
zambebe garunge ungazun garunge

Тут-то менты меня и приняли: «за нарушение общественного порядка»... Конечно, непорядок – когда у них дети не кормлены. А мне кого кормить? Получается, что их.

Я ухожу, моя любовь,  
Я умру прямо здесь  
И больше не увижу солнца,  
Я никогда не увижу тебя.  
Моя любовь, я уезжаю далеко  
и на той земле умру,  
и никогда больше тебя не увижу.

Закрывает глаза, сидит так.

Все мы чёрные люди. Какие ещё? Я, и ты... Жизнь чёрного человека очень трудна. Да. Такая жизнь. *(Открывает глаза, глядит на пакет.)* Это на автобус мне – там. Вдруг там тоже петь нельзя? Так я здесь – тихонько... *(Передразнивает.)* «Непорядок!» Петь им – непорядок. Спорить – непорядок. Послать... По улице шла: люди чего-то недовольные навстречу, но праздничные такие, даже и молодёжь – смотрю, всех по фургонам живенько распахали. Вот тебе и вся garunge! *(Качает головой.)* Кто ж запретит человеку недовольным быть, если он недоволен? Я? Нет. Ты, что ли? Или он? Нет, другой человек такое сказать не может. Только опять генерал... Кто вообще знает: как из человека получается генерал?

Вот ему звонят, полковнику: алё-алё! Поздравляем, тырщ полковник, вы теперь генерал! Тут у него душенька-то и воспарила! Отлетела. Тесно ей с генеральской звездой! Звезда так растопы-ы-ырится, как осьминог, – и ну её выталкивать! А душе не больно и надо уже. С генералом ей не жизнь будет: мука одна! *(Пауза.)*

Маршал был, помню, такой: Гречка. Тот вроде на «о». Гречко! Дал бог фамилию. Хотя когда ты маршал... У Генки сержант в роте был:

тоже Гречко. Уж не родственник? *(Задумывается.)* Да нет! *(Сидит, молчит.)*

Когда про Генку известие пришло, Иван очень быстро ушёл. Не умер – ушёл за Генкой. Так ему лучше, наверное, было. Я даже не почувствовала ничего: будто они оба вышли, вот-вот вернуться.

Не вернулись. А я к ним ходила. Счастье было на могилку зайти, поговорить с ними. Иван больше молчал, конечно. Слова от него не добьёшься. Я всё больше с Генкой. У-ух, с ним бывало вволю! Про него, про себя. Про политику, про пенсию. Всё слушал, улыбался.

А Иван так – бубнил чего-то. Ворчал. Да главное: что бы понимал! Вот чего спорить?! Ну, они там с Генкой без меня, я знаю, по-мужски. Секреты свои от меня держали. У Генки я вызнать хотела: чего с ним стряслось? Ни в какую! Злился на меня, если совсем приставала.

А отцу сказал – это я знаю. Так ведь не выспросишь у отца: могилки рядом! Что один слышит, то и другой! Вот... Мужики! *(Пауза.)* Однако, как отцу рассказал, полегче стало: я прям чувствовала, как ему полегчало.

Потом смыло их. Две недели вода стояла по весне, разлилась: море! Деревьев не видать. Я по берегу и так и сяк: нет, не слышат! Измаялась. Наводнение такое, что из области приезжали. Вспомнили! Где то Счастье?

Деревня наша так называлась: Счастье. Все шутили: вон счастье-то у нас... Не за горами! Там – в низинке! Где у нас все счастливые живут. Так и я жила – в счастье. *(Пауза.)*

Две недели счастье моё было под водой. А потом – ушло с половодьем. С могилками, со всем кладбищем. Мусор один остался. Ветки, хлам. И ничего – ровное место!

Все реки, говорят, рано или поздно впадают в море. Я хочу думать, что они сейчас там. Оба. Там, где мы познакомились с Иваном. Они вместе никогда не были на море – раньше. А я представляю: гуляют они там, по песчаному пляжу.

Ранним утром, когда ещё солнце так – просвечивает через до-о-олгую даль и глубину облаков. Дышат водорослями, это полезно.

Разговаривают. Держатся за руки. Иван серьёзный. Генка смеётся, белобрысые волосёнки так и вспыхивают на ветру. А там уже люди появляются, первые купальщики. Открываются ларьки. Можно и по пиву! А что? На море – считай, в отпуске! И что, что с утра?

Пауза. Кивает, глядя на пакет.

Я только Генку никак представить не могу: сколько ему лет? Иногда вроде взрослым его вижу – как почти Ивана. Но чаще вот таким вот, пяти-, может, шестилетним. Тут вот у меня не сходится. Тогда газировки! Газировку он любит!

Но вот каким его в армию забрали – нет, таким я его не вижу. Не пускает голова. Не место ему такому там – на море. Только так *(показывает рукой на уровне головы 5-6 летнего мальчика)*. Или так *(показывает рукой на уровне головы взрослого мужчины)*! Будто он вырос, как Иван. Так – или так. И никак иначе.

Но это сейчас. А тогда я решила умереть. Как говорится: вы не ждали нас – а мы припёрлись! Не хочет меня беззубая – я сама приду. Незванный гость хуже татарина – а мне что? Какая есть!

Долго не думала: взяла скотч, пошла на реку. Там обрыв небольшой, но крутой, мне хватит. Ноги-руки перемотаю, чтоб не развязаться. И – как чемодан! Без ручки.

Шла – на крыльях летела. Так мне было хорошо! Казалось – ветром сейчас сдует, и улечу, так хорошо! Легко! Светло! Чисто! Рада была, что – так. Что ушло всё с водой, всё смыло: всё, и я туда! *(Пауза.)*

По берегу проходила мимо компании – молодёжь гуляла чего-то, веселились. Девчата с ними. Меня напомнили, когда я в меде училась: особо одна – тощая, глазастая. Даже юбка как у меня была: чтоб задница не мёрзла, в ней только сидя можно было. На коленках у кого-нибудь. Хорошо!

Постояла рядом, послушала. Последние люди на земле – думаю. Последние, кого я вижу. Глаза закрыла: последние, кого не вижу. Смешно!

И тут слышу: поёт. ОНА! Я обмерла. Эти заметили меня, подошли.

А чего вы со скотчем, один спрашивает, – ночью? – Это я так, говорю. Чтоб спрашивали. Без скотча мимо иду – никто не заговаривает. А на скотч все липнут как мухи! Посмеялись.

Кто у вас, говорю, поёт? Что за деваха? Тоже смеются: деваха она была, когда у тебя ещё внуков не было! Да у меня и нету, говорю.

Написали мне на бумажке – как звать. Шинед. Так я её узнала. Винца предложили, да я не, что-то не захотелось. Так меня эта песня тронула. Иду – и думаю: тяжело ведь ей, а как поёт! Тоненько так, жалобно! Дочку я всегда хотела, да не вышло, а тут...

Стою над обрывом – а Шинед внутри поёт, и чувствую: не могу! Нельзя, пока эта песня поётся! С того вечера она у меня внутри и звучит. Я и сама её выучила, сначала про себя. Потом и петь начала. Другие песни – для всех, а эта – моя.

Пошла на другой день на почту: компьютер там у нас. Интернет. Уж я не буду говорить, чего стоило, – с грехом да с матами выучила я весь этот интернет! Нашла там её.

Имечко, конечно, не приведи бог дали девке родители. Смеяться грех. Шинед! Шина – ну что это? Куда с таким замуж? Дети к ней как, а соседи? Тётя Шина?... Еврейское имя, видно: у них всё такие. *(Качает головой.)*

Почитала я про эту Исландию, где она живёт: что сказать? Тоска! Человеку там жить никак – волком взвоешь! Так что всё понятно. Нет, климат, конечно, морской, умеренно-прохладный, но – с сильными ветрами, влажный и переменчивый.

У них и пословица есть: «Если вам не нравится погода, подождите пять минут, и станет ещё хуже». Ну, это нам понятно. В нашем-то Счастье лучше погоды не бывало.

Народу в Исландии почти нет, всей природы – камни, льды. Живут практически одной рыбой. Единственное дикое млекопитающее – песец. А самая распространённая птица – тупик! *(Смеётся.)*

Ну, и это как у нас. У нас тоже куда ни кинь: один песец да тупик. И Счастье наше – у болота в низинке, промеж холмов.

Оттого и песни что наши, что их, – печальные.

Но как увидела я её фотографии... Молоденькая тростиночка была, загляденье! Глазищи – во! Но лысая. Лысая певица – это как? Так-то не должно быть. Ну да поживи на одной рыбе! Может, болела?

А потом – заматерела! В наколках, раздалась! Хлебнула по полной. Остров маленький, а большая беда и там поместится. Где ты ни живи, на каких островах – свои вагоны, псы и начальники найдутся, жизнь такая. Везде свой тупик найдётся, своё счастье.

Встаёт, прохаживается, хромая. достаёт фляжку, смотрит на свет: фляжка пуста. Качает головой, достаёт из другого кармана полную, делает глоток, прячет фляжку.

Решила я ехать к Шине. Кто-то должен помочь? И я кому-то – должна. Страдает она, а рядом никого. Я видела её, в интернете. Плачет она. Просит, ждёт: хоть бы пришёл кто-то, кто любит. Пусть придёт и заберёт – только это.

Бьётся, как слепая, как муха об лёд. Как мама моя: в крошечной тьме. А просто надо, чтобы кто-то обнял и за руку держал. Как мама меня просила: потом стеснялась просить, знала, что я реву, – а я сама приходила и брала за руку её. Она прогоняла, когда начинала стонать, кричать. Я не уходила. Она прогоняла. А я... *(Пауза.)*

И эта, Шина, чудо лысое, такая же: всех послала, кто рядом с ней. А потому что больно. Все так: когда любим, гоним тех, кому можем сделать больно, когда у нас самих – боль. Это мужество надо.

Прислушивается к чему-то.

Вон, объявляют... Поеду, помогу ей! Нельзя чтобы человек было один. Вместе споём. Я могу. Песня та хорошая: нотин компэрс. Про маму – я в интернете перевела. Вообще язык их учила. Смешно! Исландский этот – на татарский похож! Сосед у нас в Счастье татарин был – хороший мужик, резкий только. Но хороший. Помер...

Пауза. смотрит в зал. садится. Поднимает с пола пакет, держит в руках.

Я думаю: вдруг я умру – а там ничего нет? Это значит, всех нас троих сразу не станет, совсем. Генки. Ивана. Ни меня не будет, ни их. Мы все насовсем умрём, будто не было нас никогда. Понимаете? Не было – никогда. А я хочу, чтобы мы были! Пока я живу – мы есть, а когда я умру – это ж я соглашусь, чтобы они умерли.

Выходит, я их своей смертью убью. Да как же я могу? Не дождётесь! Гуляйте, ребята, спокойно. Воздухом дышите. Там колесо обозрения, аттракционы.

А я здесь за вас – повоюю. Попрою! Обойдётся: я баба упрямая. Девке надо помочь: куда она?

Приеду, споём вместе: где бабы поют, там смерти нет. А придёт беззубая – заслушается. Косу свою перекинет на плечо да вдруг и подпоёт: тоненько так. По-бабьи. Она ведь тоже: одна. Тоже, как мы: ходит по миру... Шляется.

Женщина молчит, кивает головой, встаёт. Берёт чемодан, поднимает с пола пакет, заглядывает в него, шепчет: пересчитывает. Перекладывает мелочь в карман. Уходит.

## Стихи по кругу

**Вероника**

*Нижний Новгород*

### В Храме Светлом...

Я молилась в Храме Светлом –  
И обыденно, и просто,  
И являлись вдруг ответы  
На житейские вопросы...

А на клиросе звучали  
Голоса проникновенно,  
Утоляя все печали –  
И светло, и вдохновенно...

Я молилась в Храме Светлом:  
Словно в первый раз когда-то  
Он опять меня приветил  
По-отечески и свято...

Дав особенную милость –  
Просветления начало,  
И душа моя светила,  
Божье Слово величала...

### Грусть Её Успения

Робкое предчувствие души,  
Тихое природы увяданье –  
Некая законченная жизнь  
По законам древнего преданья...

Дева Богородица тогда  
Умерла, как будто бы уснула, –  
Женские недолгие года  
Вечностью посмертной обернулись...

Грусть Её Успения с тех пор  
Вместе с ранней осенью явилась:  
Листьев полыхающих костёр  
И небес спасительная милость...

### Звёздная дорога

Сияли звёзды в вышине –  
Переливались ярким светом,  
И не спалось подолгу мне –  
Порою даже до рассвета...

И было радостно, легко  
Писать стихи по воле Бога,  
И из пространственных стихов  
Слагалась звёздная дорога...

И я по ней как будто шла,  
Вершин далёких достигая,  
А за спиною – два крыла  
И сущность новая, другая...

Но снова наступал рассвет,  
И тихо гасли мои звёзды,  
И их, уже неясный, свет  
Напоминал мне: слишком поздно...

### Звучал романс...

*О. И.*

Звучал романс... Возвышенно-печально  
До сердца доходили его звуки,  
И в каждом слове музыка звучала  
Аккордами надежды и разлуки...

А голос, согревая наши души,  
Сквозь стены поднимался ко Вселенной,  
Где будут звёзды и созвездья слушать...  
Звучал романс... Светло и вдохновенно...

Звучал романс... И звуков переливы  
Соединялись в вечности мгновенья...  
Звучал романс признанием красивым  
И с неизменной нотой сожаленья...

### Моё музыкальное счастье

Романсы в зелёном и красном –  
Мелодии жизни и страсти:  
Оно, словно осень, прекрасно,  
Моё музыкальное счастье...

Летающие нежные звуки,  
Законы души и скольженья:  
Порхают по клавишам руки  
И падают в изнеможенье...

И долго ещё над роялем  
Дрожит и волнуется эхо –  
От гулкой тяжёлой педали  
И звонкого лёгкого смеха...

А бабочка света над сценой  
В замедленном танце кружится,  
И кажется, – счастье бесценно,  
Как дух музыкальных традиций...

### Женская осень

Моя жизнь, как погожая осень, –  
И тепло на душе, и печально,  
И она неспроста меня просит  
Сохранить её вечную тайну...

Словно сон женской осени диво,  
Только я в нём уже не царица:  
Наяву в переулках дождливых  
Мне дано, и не раз, заблудиться...

Пусть дождевики лицо омывают,  
Освежают усталые плечи –  
Осень женскую тайну скрывает  
И от зрелого возраста лечит...

### Владимир БЕЗДЕНЕЖНЫХ

*Нижний Новгород*

#### Про моего деда

Мой дед Василий (нет его в живых)  
С войны приковылял на деревяшке  
И без руки. Заделал пятерых  
Детей жене своей и нашей бабке Саше.

Я помню голос. Он записан на  
«Романтик-3». Скрипит катушка древней  
Магнитной пленки. А на ней война  
И голос деда из глухой деревни...

«Мы в окружение попали всем полком  
И шли к своим лесами две недели  
Почти без провианта. Нелегко:  
Крапиву, лебеду и щавель ели.  
С боями все же вышли до своих  
Десятка три, но выжили хотя бы.  
Вот нас – еще с солдатиком – двоих  
Послали в лазарет как самых слабых.

И там был врач – вражина из вражин,  
Как этот гад затерся среди наших?  
Я от недоедания был чуть жив,  
А он давал нам в час по ложке каши.

А те, кто вышел с нами из котла,  
Едали хлеба вволю, и по самый  
Край миски каша жирная текла,  
Да к ней законные наркомовские граммы!

Я спрятал нож, чтоб доктора кончать,  
И думал: только бы в руках достало силы,  
Чтоб ночью у иудова врача  
На тонкой птичьей шее взрезать жилы.

За то, что держит в черном теле нас,  
За то, что хлеба не дает и каши.  
И я убил бы... но в вечерний час  
Вдруг стали привозить солдаток наших –

Тех, что наелись, – скрюченных в дугу,  
Блюющих, в голос стонущих, смердящих,  
И что в бою не удалось врагу,  
То сделали тарелки с этой кашей.

Никто-никто не выжил, кроме нас  
Двоих – у всех заворотило брюхи.  
А доктор знал и нас обоих спас,  
Не дав наесться сразу с голодухи»...

Мой дед Василий (царствие ему  
Небесное) отдал стране что мог.  
Была война. Чтоб выиграть войну,  
Стране недоставало рук и ног.

### Михаил ВАХТИН

*Воронеж*

#### Мужичок

Шумит маршрутка, как смывной бачок:  
Благая феня, ругань злобных бабок,  
Зашёл на остановке мужичок,  
Уселся у окна, склонившись набок.

Пахал две смены с грыжами в спине,  
Чтоб жадный босс подкинул больше нала,  
Чтоб всё отдать разьевшейся жене  
И чтобы та опять сказала: «Мало!»

Домой придёт голодный, словно пёс,  
Вздохнёт и на диван устало рухнет,

Оставив без внимания вопрос:  
«Какого чёрта кран течёт на кухне?»  
Потом в экран уставится опять,  
И будет верить праведно и слепо,  
Что на народ властям не наплевать,  
А лужа в лифте – происки Госдепа...

Роддом, детсад, учёба, спорт, войска,  
Гулянки, пьянки, свадьба по залёту,  
А дальше – бесконечный день сурка:  
С работы в дом, из дома на работу.

Привить пытался детям он мораль  
И нравственность, не думая, что вскоре  
Сын будет в школе дуть с друзьями шмаль,  
А дочь – стонать в заниженной «приоре».

И лишь к субботе станет веселей  
От мысли той, что ждёт его награда –  
Как свет в конце тоннеля будних дней  
Флакон сорокаградусного яда.

На задний план проблемы отойдут,  
Печаль и грусть исчезнут до рассвета,  
Но в сердце износившийся сосуд  
Отменит продолжение банкета.

С утра начислит местная шпана  
На лавке у подъезда по рюмаше:  
– Давайте за Иваныча до дна!  
– Кто в курсе, как вчера сыграли наши?

А где-то в измерении другом  
Раздастся: «Нет! В раю таким не место!»  
И снова схема «дом – работа – дом».  
Без счастья. Без надежды. Без протеста.

\* \* \*

Сергей Александрович, как же Вы так  
Нелепо себя загубили?  
Зачем же Вы срезали через кабаки  
Дорогу к холодной могиле?

Зачем с головой уходили в грехи  
При звёздах и зареве алом?  
Зачем проституткам читали стихи  
И «жарили спирт» с криминалом?

Немногим даётся великий талант,  
Такой, чтоб его был ценитель  
И мент-вертухай, и блатной арестант,  
И гопник, и школьный учитель.

А может, и впрямь демиургом седым  
Придумано правило это,  
Что гений обязан уйти молодым  
И выбора нет у поэта?

Чтоб Дар, как не вовремя сорванный плод,  
До спелости так и не вызрел,  
И долго Ваш брат на Руси не живёт –  
Не важно, петля или выстрел.

## Инна ЛАРИНА

*Липецк*

### Колыбельная для бродячей собаки

Потише, я прошу, – собака спит,  
Найдя приют у старого забора.  
Во сне с дворнягой кто-то говорит  
Без гнева и ехидного укора...

Ей снится придорожная трава,  
Забытый миг щенячьего азарта,  
И ласковые, тёплые слова,  
И лето снится ей в начале марта.

Бездомная, она искала кров,  
Слоняясь по развалинам, подвалам...  
Казалось, каждый встречный был готов  
Ударить по её уставшим лапам.

Собака спит! Качают небеса  
Бродячий сон, заметный еле-еле...  
И плачут её добрые глаза,  
И целый мир у этой колыбели.

## Станислав АЙДИНЯН

Родился в 1958 году в Москве. Окончил филологический факультет Ереванского государственного университета. С 1984 по 1993 год был литературным редактором и секретарем А.И. Цветаевой. Редактор, составитель, автор вступительных статей к ее изданиям, а также ряда собственных книг, многочисленных статей и рецензий. Награжден медалью Лермонтова, медалью Чехова, медалью «За выдающиеся достижения в литературе», орденом «Честь и слава великой России».

Лауреат литературной премии имени Ю. Каплана (2012), литературной премии «Славянские традиции» (2016), премии «Писатель XXI века в номинации «Нон-фикшн» (2017). Живет в Москве.

## «СЛОВАРИКОМ, СВЕРКАЮЩИМ ВО ТЬМУ»...

Евгений Чигрин. *Невидимый проводник. Стихотворения.* – М.: Издательство «У Никитских ворот», 2018

Евгений Чигрин – поэт, сочинитель исключительно наполненных, плотно спаянных поэтических текстов, которые у многих и многих читающих сегодня вызывают живой эмоциональный отклик. И особенно стихи Евгения близки тем, кто действительно разбирается в поэзии и способен оценить вплетенные в поэтическую ткань неожиданные повороты смысла, меткие, порой до зримости, живорожденные метафоры...

Сборник «Невидимый проводник» вышел в 2018 году в издательстве «У Никитских ворот», которое выпускает уже вторую книгу поэта. Первая была «Подводный шар» (2015), тогда это издательство приняло «эстафету» у не менее известного издательства «Время», где в серии «Поэтическая библиотека» ранее вышли в Москве «Погонщик» (2012) и «Неспящая бухта» (2014).

Известный поэт Алексей Остудин (Казань) написал по поводу подборки стихов Чигрина (все они потом вошли в «Невидимый проводник») в журнале «Звезда» (2018, № 3): «Крепкие мужские тексты, такие стихи раньше гладиаторы перед боем писали!» И он по-своему прав, если учесть, что в стихах у Евгения бывает та самая поэтическая плотность, напор, которые даются лишь тем, кто обладает подлинным, ярким, сильным темпераментом. В этой книге есть воистину волшебные стихи, особенно те, начинающиеся – «Тончайший шорох листьев...»

Тут тонкость, даже изящество поэтического чувствования входят в «содружество» с упомянутой мускулистостью и создается то, что заколдовывает и привлекает. А вот третье стихотворение книги – «Деревянная Дудка», думаю, еще более может нравиться читателям. Оно пленяет тем, что в легком, звенящем, летящем, пританцовывающем размере, том самом, что использовала некогда М. Цветаева в поэме «Чародей», Чигрин уже не столько созерцает и размышляет, сколько рисует – строка за строкой – образ «астрального лирика» с дудочкой «как в цирке». Этот легкий старичок приходит к поэту. Он являет собою и взмах поэтической фантазии, и в то же время он – образ из полусна, видение «овеществленного» подсознания. Этот «астральный лирик» и есть малое и милое порождение «нетвердого сна», в котором поэт «выдумывает жизнь». Эта «выдумка жизни» – сокровенный удел поэта, однако парадокс состоит в том, что результат получается не выдуманный, не головной, а музыкально-лиричный, выпуклый, персонаж, «мультиашно» и «призрачно» видимый... Так отчего это возможно? Может быть, возможно потому, что у «астрального» старичка, созданного поэтом, – «В Боге голова», а потом уже «Уста иллюзий»...

Чигрин, мне кажется, останется в истории литературы сего века, потому что создание иллюзий, пусть даже и поэтически убедительных, не его основная цель. Он подсознательно стремится поместить читателя на время чтения в несущие потоки гармонии звезд и ветра, той самой гармонии, за которой живет Незримый, который нам «опустит осень», а та уж тихо дохнет музыкой и сведет часы двумя стрелками «на цифре восемь», то есть на бесконечности времени...

В другом стихотворении – «Глаза поднимешь – осень на дворе...» – создание «театра теней» продолжается. Нас встречает на фоне все той же осени – «в кепчонке желтой постаревший ангел», он, конечно, одинок, «как муха в янтаре»... По пути раскрытия образной системы стихотворения, создается и виртуозное четверостишие – «Дырявый лист в желтеющем огне / Плывет по суше, как по морю рыба»... А далее, вслед за строкою, за поэтом, мы «поднимаем глаза», и тогда театр теней уже расцветает и химерами туч, в которых сотворяются и гномы, и домики. Но главное, в самом конце – мы смотрим на... «На мальчика в летающем пальто, / На девочку, что облаком повисла». Как не сказать, что это «видение без смысла» вдруг, скрытым смыслом, являет нам Марка Шагала и полеты иллюзорных персонажей над домиками его Витебска... Нет, мы не настаиваем на таком именно прочтении, но с Чигриным часто именно так – то у него зашифрован меж строк фландрский собор, то звучат разные мелодии старинных композиторов, то читатель следует за поэтом из сна в другой рифмованный сон без желания скорей проснуться...

Стихотворение «Верченье вьюги, вспышки фонарей...» продолжает цельную и поступательную, как всегда у Чигрина, поэтическую импровизацию, в которой уже не желтеет осень, а настала зима, поэта потянуло к югу, как певчую птицу, и он выдумывает себе деву, для того чтобы войти в иной, южный «полнос» гения и места. Да и как поэту деву не «выдумать»!... Евгений пишет:

Я выдумаю в снегодекабре  
Похожую на яркий праздник деву,  
Чтоб жизнь другую вылепить во мгле,  
Поддавшись сочинительству и блефу.

И с нею выйду за какой-то круг:  
Мы попадем в ресничный праздник света,  
Вплетая Север в золотистый Юг,  
Включая жизнь в нефритовое лето.

И это великолепное поэтически «ресничное лето», и последующие строки тоже несут на себе явственную печать поэтической свободы и лирического изящества, как это нередко бывает в подборках стихов и в книгах Е. Чигрина.

В «Невидимом проводнике», в заключительном стихотворении книги «Маяк на мысе», мерцает строка – «Свет корабля, как память о земле». Интересен и автоэпиграф, в котором говорится о – «Смещении архаики и сленга», то есть о текстовой черте, свойственной Чигрину, чей словарь, что не раз отмечали критики, очень широк и разнообразен в своем богатстве, о чем бы он ни писал – об облаках, о море, которое «курит трубки», об игрушечных волках Мандельштама или о Павшинской пойме...

Видный патрист Адальбер Гюстав Амман как-то заметил: «Автор любого сочинения отчужден от нас самим своим творчеством. Перед нами – не сам человек, а только его книга, только то, что он написал». Чигрин, судя по отзывам на его поэзию, для читателей больше, чем «книга». Среди отзывов, например, такой: «Чудо поэзии необъяснимо, но уловимо, и в Ваших стихах, Женя, я это чудо улавливаю, и ловлю минуты счастья...» (Наталья Лясковская).

В своей книге Е. Чигрин, как и ранее, разнообразен в используемых поэтических размерах. Его строка может быть длинной, распространной («Вонзает осень мрак простуды – дождей нахлынувших клинок»), а в другом, может быть, следующем стихотворении он, сочинитель, уже предстает минималистом, таким, каким бывал временами Андрей Белый: Но стиль, неповторимый чигринский стиль все равно сохраняется, и это – главное!..

...Ангел, которого  
Вижу не в первый...  
Занавес морока:  
Осени верный

Вечер. Опалиха.  
Темени секта.  
В тыкве фонарика –  
Обморок света.

– так заканчивается одно из «кратких» стихотворений сборника – и, как видим, в самом конце «атмосферного» стихотворения из минимизированной строки выступает образ «тыквы фонарика», который мертвенно струит «обморок света». Так подтверждается мысль критика и писателя Нины Гейде о том, что «Чигрин, несомненно, в поэзии импрессионист...», поскольку красочно мерцающие полусвет, полутень, – есть неперенные черты импрессионизма. Однако, вслушавшись больше, чем взглядевшись в страницы книги, все же убеждаешься, что не меньше импрессионизма здесь постоянно присутствует и постмодернизм, любящий варьировать уже давно вошедшие в литературу узнаваемые вечные поэтические и жизненные мотивы. Чигрин их неустанно дополняет «экзистенциальной рефлексией и неустанным культурным бдением» своего лирического героя. Эту черту у поэта заметил и отметил

Юрий Кублановский, который также верно сказал, что поэт этот «литературоцентричен». Это можно понимать и так, что Евгений в процессе импровизационного потока создает литературно и культурно оснащенные тексты, с другой стороны, рождаясь, они сразу и естественно становятся литературой. Он же, Кублановский, сказал о порою характерной для Чигрина «тактичной деформации образа».

Таковыми и многими другими способами Чигрин создает изобретательные и вдохновенные игровые фантазмагории, несущие лирико-раздумчивый мотив, но еще строка – и все стремительно меняется, и мир поэта становится диаметрально иным...

По поводу структуры книги автор пояснил: «Здесь 107 стихотворений, разбитых на восемь циклов». Думается, что даже названия циклов у Чигрина – это тоже поэзия. Вслушаемся – с первой части по последнюю, чем звучны названия этих циклов, – первый раздел – «Старый кочевник», он напоминает название его давней книги – «Погонщик», второй раздел – «Демоны водостока», и сразу на память приходят химеры с собора Нотр-Дам. И впрямь цикл прямо и непосредственно «настоян» на Париже, «прохваченном временем старым». Потом идет импрессионистичный «Барочный морфий», в котором нас встречает Адриатика с ее небом «в сквозистой слюде», нарисованной ангелами, встают образы Балкан... Следом третий раздел – «Лампа над морем». От этой лампы будто веет ночной тревогой... Там образы фантастики сменяются дальневосточными воспоминаниями поэта, тут мелькают острова, маяки, совсем близко – Япония, яхты, корабли... Раздел четвертый – «Музыка с листа», – он полон поэтически организованных отнесений к ощущениям автора – от пейзажей Поля Синьяка, от цветов Поля Сезанна, что «вышли на балконы». И вот, наконец, музыка – это барочные органские композиции Дитриха Букстехуде... В пятом разделе – «Летающий мальчик» – о иронично понятом «эротизме» перуанца Хорхе Варгаса Льоса, о котором «ходят легенды»... И снова музыка, на сей раз это венецианец Алессандро Марчелло... А в строках – «...Это осень, и не патриархом / Я влияюсь в осенний расклад...» – мы, конечно, прочитываем, как это часто у Чигрина бывает, то самое, упомянутое «отражение» мировой культуры, – на сей раз от «Осени патриарха», романа великого колумбийца Габриэля Гарсиа Маркеса. В стихотворении «Слова» нас особенно пленяет такое находчивое двустушие – «Целует смерть любой летящий лист, / И дуют ветры в северные дудки». Раздел шестой – «Мойры глиняных флейт» сразу впечатляет по-блоковски горячим стихотворением «Старый демон», в котором есть такие строки – «Плоть всё чаще болеет бесправи-ем... / Ночь несут. Зажигают огни. / Фонари не ослепли над гравием, / Но – мрачней последние дни». Тут вспыхнула искра Серебряного века, тонко характерная для более ранних книг Е. Чигрина. (Несколько раньше, в стихотворении «Диптих», есть тоже серебряная нить – строчная цитата из Блока – «Живи ещё хоть четверть века...»)

В «Желтеющем фокстроте» – ни много ни мало – эпизодический разговор с Богом, для которого поэт – «Субстанция твоих забот, всего лишь», он «только вещество», но это всё слова, мнения поэта. Бог в ответ мудро и вселенски молчит... «Посмейся, Бог. / И больше ничего. / И не поспоришь...» – так заканчивается стихотворение. Во все времена к богам взывали поэты, и лишь избранным отвечал Бог...

В этот раздел входит стихотворение «Предновогоднее», пленяющее особо пронзительной по виртуозной поэтичности строкой – «И плюшевое заячье ушастье»... Это чигринское название «Предновогоднее»

как-то невольно относит к названию стихотворения М. Цветаевой «Новогоднее», о котором И. Бродский написал целое эссе, трактат... Это очень емкий, богатый раздел, полный многого достойного и ёмкого, поэтически полноценного. Всего, что в нем содержится, не опишешь. Хочется читать построчно, и разнообразие стихов уверенно ведет по развивающейся канве. Седьмой цикл – «Сплошной сюжет» встречает нас стихотворною Ночью – Никтой, и как будто с высей горы увиденным поэтом средневековым бестиарием. Нам видится – через замыленное стекло – почти босховский динамичный, роящийся пейзаж. Следующие стихотворения продолжают подобное впечатление, обогащаясь еще и гоголевскими образами – тут и философ Хома Брут, Панночка, старый сотник. Но это был бы не Чигрин, коли он сюда же не вплел и некоторые атрибуты современности, приметы компьютерного нового века – «Ставят лайки “ВКонтакте” то старому сотнику, то / Неприкаянной птице...»

Потом мы мимоходом заезжаем в Индию, оттуда к Петрову-Водкину в Хлыновск, на «Купание красного коня». Цепи ассоциаций и «парафразы» поэта множатся и дробятся, проникаясь той самой естественной деформацией образов, которую, как мы уже сказали, заметил Ю. Кублановский.

Последнее, уже упомянутое нами стихотворение в книге «Маяк на мысе» – оно «О маяке, сигналищем во мгле», и сам поэт понимает, что, завершая, становится – «Словариком, сверкающим во тьму»...

Евгений об этой своей книге сам сказал следующее: «...Слово “проводник” есть в Библии. Христос – проводник тайн, знаний, метафор, смыслов. Библия и сама – невероятная метафора. Именно поэтому: обложка цвета новозаветных песков. “Невидимый проводник”, потому что любой человек может открыть книгу, и автор как бы ведет его по неизвестному для читателя миру своих вдохновений, аллегорий, неожиданных образов, многоточий. Ну, и наконец, это словосочетание вписывается в другие названия моих поэтических книг: “Погонщик”, “Неспящая бухта”, “Подводный шар”».

В заключение можно сделать такой вывод: поэзия Евгения Чигрина рассчитана на тех, кто еще не потерял провиденциальную способность удивленно поднимать голову к небу или отрывать душой от земли и улетать в царство гармонии, литературы, фантазии – эти три «компонента» празднично живут и дышат в книге «Невидимый проводник»...

## Сергей НОСОВ

Историк, филолог, литературный критик, эссеист, поэт. Родился в Ленинграде в 1961 году. Окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета. Доктор филологических наук и кандидат исторических наук.

С 1982 по 2013 год являлся ведущим сотрудником Пушкинского Дома (Института русской литературы) Российской академии наук. Автор многочисленных работ по истории русской литературы и мысли, в том числе книг о русских выдающихся писателях и мыслителях: Аполлоне Григорьеве, Василии Розанове, Владимире Соловьеве, основателе русского славянофильства И.В. Киреевском. Публиковал произведения разных жанров во многих ведущих российских литературных журналах. Стихи переводились на несколько европейских языков.

Живет в Санкт-Петербурге.

## О ЧУДЕСАХ

Человек всегда тянулся к чудесному. И всегда чудесное вносило свет, красоту и радость и его жизнь.

Что же человек понимал под чудесным? То, что не укладывается в обыденные представления о жизни и является при этом светлым и радостным, вносит в жизнь неизъяснимую красоту и счастье... И чудесного люди традиционно искали ранее на путях религии и веры в Бога.

Сейчас времена изменились. Прежняя вера в божественные по своей природе чудеса поблекла. Многие из них разоблачила наука как вымысел. Многие оказались легендами и имеют истоки в наивном мифотворчестве прежних времен.

Но тяга человека к чудесному не иссякла и не исчезла – она лишь переместилась от религии к искусству.

Суть искусства, суть той же Поэзии, например, – создание чудесного. Именно чудесного.

Не безусловно правильного, непогрешимого с точки зрения науки и здравого смысла или равным образом, например, с точки зрения нравственности. А Чудесного. Чудесного с Большой буквы.

Ну вот написал Пушкин однажды чудесное вдохновенное стихотворение «Я помню чудное мгновенье...»

То что оно – чудесное... с этим никто не спорит.

Но пытаются уже более сотни лет выяснить и «расшифровать» предполагаемую природу чудесного в знаменитом пушкинском шедевре. И – тщетно, конечно.

То пишут, что никаких прозрений в этом стихотворении на самом деле и нет... Так почему же оно тогда чудесное?

То начинают усердно исследовать жизнь и нравственные достоинства предполагаемого адресата этого стихотворения (Анны Петровны Керн) и приходят к выводам часто неутешительным даже по меркам много более свободной морали нашего времени. Что, мол, высококонраственной девицей Анна Керн в молодости отнюдь не была и спала при случае с кем попало.

Например, с Пушкиным.

Какой срам, конечно... Посвятить такой девице чудесные стихи! Шедевр любовной лирики!

И тем более чудесное в ней самой увидеть!

Это последнее – вообще недопустимо.

Даже по нынешним «свободным» нормам любовной жизни.

И начинается вымысел в благих целях – что Пушкин, мол, вовсе не Анне Керн посвятил это стихотворение, а ей просто случайно его передал, когда к ней «просто так» заехал в Тригорское от «нечего делать»...

Но дело-то ведь в том что Поэзия, настоящая Поэзия с Большой буквы видит чудесное в обыденном... И потому созидает чудо!

Часто из самого обычного и «невзрачного» материала. Казалось бы, «из ничего».

Вот летят осенью журавли на юг... Обычные птицы нашей страны. Они совершают свой ежегодный перелет в теплые края осенью. И в былом СССР поэт Марк Бернес: «Мне кажется порою, что солдаты, // с кровавых не пришедшие полей, // не в землю нашу полегли когда-то, // а превратились в белых журавлей...»

И советских людей эти простые слова берут за душу и как бы околдовывают – как чудо.

Потому что чудесное в них есть и на самом деле.

Причем чудесное в истинном смысле.

И не только советских людей магически заколдовывали эти слова старой славной песни – колдовство этих слов (духовное, и эстетическое, и нравственное) живо и сейчас.

Чудесным человек именует то, что приносит ему наслаждение и счастье и при этом рационально необъяснимо.

Ну что это такое – какие-то простые слова «Я помню чудное мгновение» обращенные, как говорят факты, при этом к девушке достаточно легкого поведения... Какой скандал, если разобраться!

Но при этом с таким кажущимся «скандалом», который очень часто порождает настоящее искусство, разобраться не могут уже полтора столетия – в чем его эстетическое (и только ли эстетическое?) колдовство...

Что нашел великий Пушкин в девице Анне Керн, чья нравственность под вопросом... И тому подобное.

Однако оставим Пушкина.

Смешно мучить вопросами о нравственности нашего великого Поэта, примерного семьянина в зрелые годы и так далее...

Но ведь и скандально прославившийся русский эмигрант Набоков свою замечательную «Лолиту» создал в свое время на «пустом месте», если следовать фактам его биографии...

Никакой такой девочки двенадцати лет у Набокова никогда не было – он ее выдумал.

А были у писателя законная жена и сын... Ну, один бурный роман случился у него с некой поэтессой из России в годы жизни в Европе. Роман, за который его супруга еврейского происхождения чуть было с ним не разошлась...

Тем не менее эротический вымысел Набокова в «Лолите» чертами чудесного явно наделен. Это в наше время после, хотя бы тех же многочисленных экранизаций набоковской «Лолиты» в разных странах, отрицать не приходится.

И в то же время и близко нет в «Лолите» Набокова никакой нравственности.

Как в Африке на равнине никогда снега не бывает, например... И как на Северном полюсе цветы на открытом воздухе не растут. Так нет никаких признаков официально уважаемой современным обществом «нравственности» и в «Лолите» Набокова.

Хотя что есть истинная нравственность на самом деле? По своей непреходящей сути, например...

Нам и самим не по вкусу любовь взрослых мужчин к юным девочкам. Это аномалия, конечно.

Но неизъяснимым образом удалось найти Набокову в этой любви притягательность и красоту... Даже трагизм, даже возвышенное и духовно высокое...

Как это получилось? – Никто не знает.

Чудо искусства. Чудо поэзии жизни, которую искусство воплощает своим существованием.

И если мы искусство осудим... Даже за предполагаемую безнравственность например – мы осудим чудесное в нашей жизни на смерть и небытие.

И потом выяснится, через очень много долгих лет, что все наши нынешние так называемые «нормы нравственности» – вот они-то и есть вымысел... Настоящий и пагубный, лишаящий жизнь красоты и счастья.

А вовсе не то, что вызывает вопросы и недоумение у нынешних усердных историков литературы, – вот как это «нравственно неустойчиво» посвящал Пушкин девице «сомнительного поведения» чудесные, непревзойденные по красоте стихи, даже если она таковой и была на самом деле, создав замечательный шедевр русской любовной лирики.

## ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

**О. А. Рябов**

ШЕФ-РЕДАКТОР

**Андрей Иудин**

МАКЕТ

**Арсения Костромина**

ДИЗАЙНЕР ОБЛОЖКИ

**Анатолий Гришин**

КОРРЕКТОР

**Лев Зелексон**

## РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

**Валерия Белоногова**

**Николай Бенедиктов**

**Дмитрий Бирман**

**Ирина Горюнова (Москва)**

**Диана Кан (Новокуйбышевск)**

**Елена Крюкова**

**Захар Прилепин**

**Андрей Рудалёв (Северодвинск)**

**Роман Сенчин (Екатеринбург)**

**Евгений Эрастов**

## ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

**Сергей Горин**

**Олег Захаров**

**Людмила Калинина**

**Александр Котюсов**

**Ольга Лисятникова**

**Владимир Седов**

**Выпуск издания осуществлен  
по заказу**

**правительства  
Нижегородской области**

**Издание осуществлено  
при финансовой поддержке  
Федерального агентства по печати  
и массовым коммуникациям**

**Свидетельство о регистрации  
средства массовой информации  
в Федеральной службе по надзору  
в сфере связи, информационных  
технологий  
и массовых коммуникаций  
ПИ № ФС77-60285  
от 19 декабря 2014 г.**

## УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ

**ООО «КНИГИ»**

**Адрес редакции:  
603057, Нижний Новгород,  
ул. Бекетова, 24/2, ООО «Книги»  
Тел. (831) 412-16-04**

**Рукописи принимаются в редакции  
или по электронной почте:  
jurnalnn@yandex.ru**

**Сайт журнала: [www.jurnalnn.ru](http://www.jurnalnn.ru)**

Тексты для публикации присылаются  
отдельным файлом Word с указанием ав-  
торства, наименования произведения и  
краткой биографической справкой. Неот-  
корректированные рукописи с большим  
количеством ошибок не рассматриваются.

Редакция не вступает в переписку.  
Рукописи не рецензируются и не возвраща-  
ются. Ответственность за достоверность  
фактов несут авторы материалов. Мнение  
редакции может не совпадать с мнением  
авторов.

При перепечатке материалов ссылка на  
журнал «Нижний Новгород» обязательна.

**Подписано к печати 04.06.2020.**

**Выпущено в свет 26.06.2020.**

**Формат 70×108 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Усл.-печ. л. 21.**

**Тираж 800 экз. Свободная цена.**

**Отпечатано в типографии  
АО «ИПК «Чувашия»  
428019 Чувашская Республика,  
Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, д. 13**